

13161

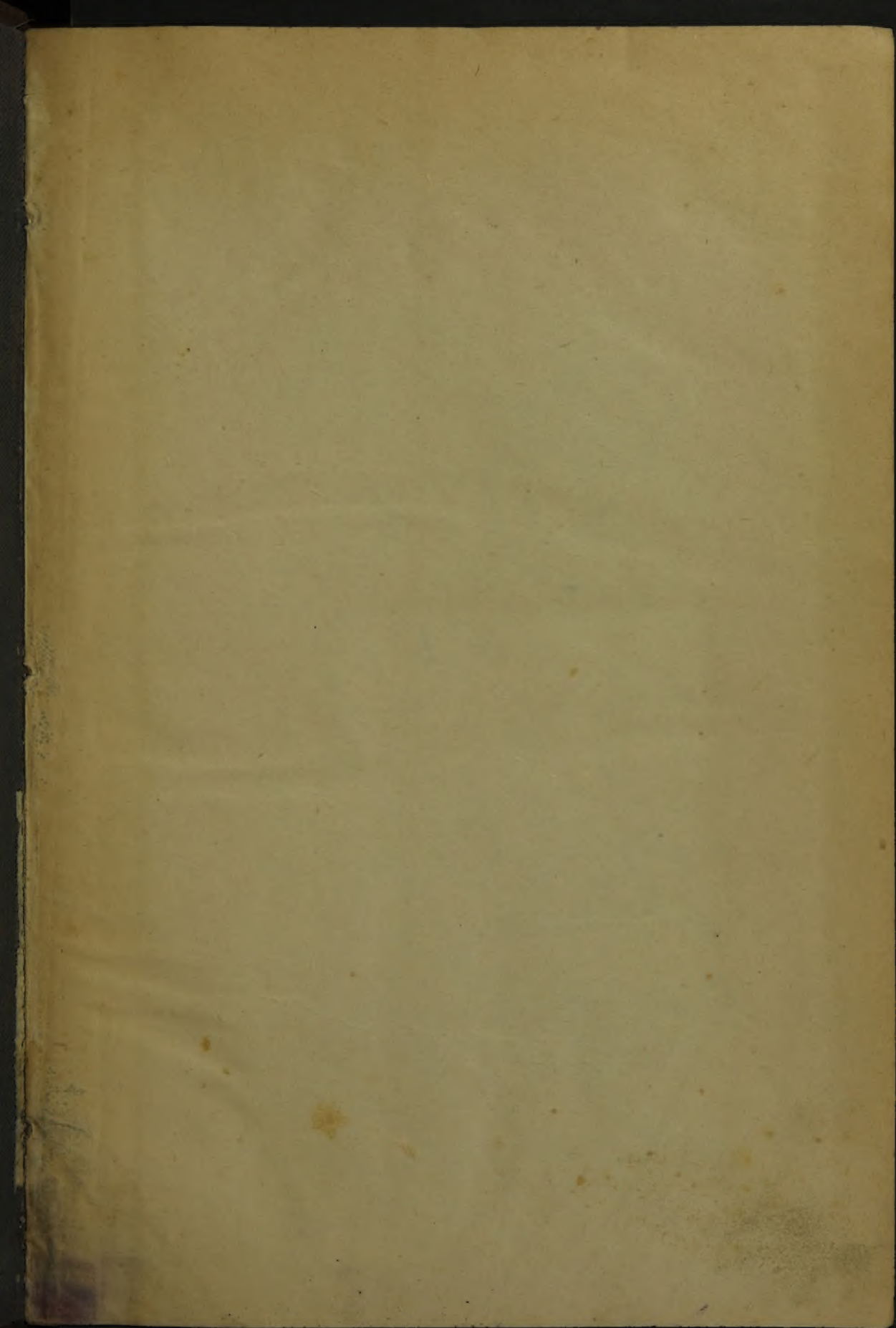
БЫЛОЕ

№ 19

1922

и лирически
этомъ „злымъ властямъ“

Да, переходю наше
Лукавъ, коваренъ этотъ въ
И современный человекъ
Несетъ, какъ крестъ тяжелый, бремя
Самолубивыхъ, злыхъ властей...
Для нихъ народъ—пустое слово,
Они не сжали, но жнутъ,
Съ живого, съ мертвого дерутъ...



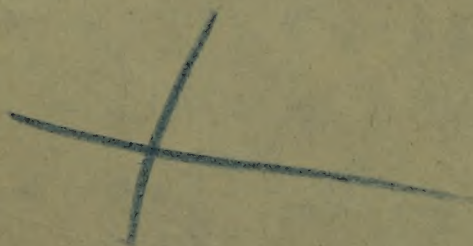
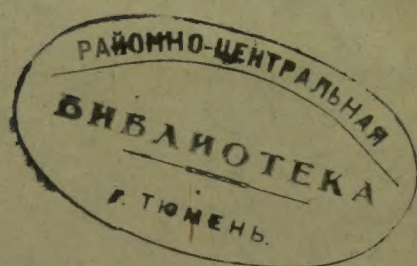
947(05)
595.

БЫЛОЕ

45

~~13214~~ 13161

37



№ 19

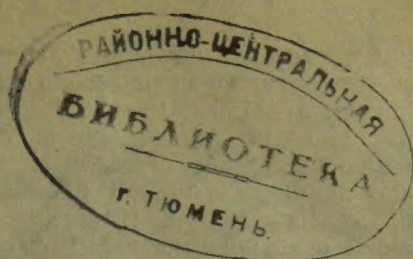
1922

Р. Ц. № 1001.

Москва.

Тираж 10.000

7-я типография „Моспечать“ (б. Мамонтова), Филипповский пер., д. 11.



Новый текст „Путешествія“ Радищева.

I. Происхождение рукописи и особенности ее текста.

„Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“ приняло ту окончательную редакцію, которую мы имеем в печатном тексте, после сложной и длительной работы автора как над изменением состава своего сочинения, так и над его стилем. Эту переработку своей книги Радищев производил уже и после того, как она прошла через цензуру, и вследствие этого окончательный, печатный текст представляет довольно значительные отличия от текста, бывшего в цензуре. Те сотни рукописных копий, в которых „Путешествіе“ быстро распространилось по России, вскоре после своего выхода в свет, были, конечно, обыкновенно сделаны с тех немногих печатных экземпляров, которые, по разным причинам, оказались неуничтоженными.

Но не исключена была возможность существования списков книги, отличных, по тем или иным основаниям, от печатного текста,—и, в частности, таких, которые отражали бы на себе более раннюю стадию работы автора¹⁾. В настоящее время такая вероятность переходит в действительность,—и мы имеем счастливую возможность опубликовать новые строки и даже целые страницы, принадлежащие перу Радищева.

Новый список „Путешествія“, который открывает дополнительные страницы и многие варианты к печатному тексту, сохранился в библиотеке известного исследователя русской литературы М. Н. Лонгинова, оставшейся после его смерти († 1875 г.), вплоть до сего времени, неприкосновенной и в настоящее время принадлежащей Пушкинскому Дому при Российской Академии Наук.

Этот список—книга в большую восьмую долю листа, на 368 страницах, в старинном кожаном переплете; написана хорошим старым почерком²⁾. Имеющиеся на бумаге водяные знаки „1794“ и „1796“ указывают предельный возможный наибольший возраст копии; надпись

¹⁾ В недавнее время проф. Д. Н. Анучин в своей работе „Судьба первого издания „Путешествія“ Радищева“ (М. 1918 г., издательство „Пролетарии“, стр. 46) сообщил краткие сведения о списке книги Радищева, имеющем двойное заглавие: „Проницающій Гражданинъ, или Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“; в этом списке, помимо мелких разночтений, имеются две фразы, отсутствующие в печатном тексте. Д. Н. Анучин полагал, что эти фразы вставлены владельцем списка.

²⁾ Заглавный лист рукописи имеет позднейшее происхождение: он вставлен М. Н. Лонгиновым

на книге (не представляющая по содержанию своему интереса) имеет дату: „1800 г.“. Из этого можно заключить, что копия написана приблизительно между 1796 и 1800 г.г.

Рассматриваемый список, до поступления к М. Н. Лонгинову, находился в библиотеке москвича П. В. Голубкова¹⁾; из библиотеки же Лонгинова список временно побывал в руках сына А. Н. Радищева, Павла Александровича²⁾, когда последний занимался собиранием сведений о жизни отца и задумывал даже издание всех его сочинений, — издание, не осуществившееся, вероятно, потому, что на возбуждавшиеся П. А. Радищевым просьбы о разрешении переиздать „Путешествие“ всегда следовал отказ.

Для определения характера всякого списка „Путешествия“ Радищева мы имеем два основных текста. Это — текст издания 1790 г., и текст рукописи, отобранной у Радищева при его аресте, и представляющей собою рукопись, бывшую в цензуре, пополненную некоторыми новыми страницами, вставленными уже после цензуры. К сожалению, рукопись, бывшая в цензуре, сохранилась далеко не в полном составе³⁾: значительная часть страниц ее была утрачена самим Радищевым. Не представляя автографа автора, рукопись, однако, имеет некоторые его исправления и заметки. Несмотря на сделанную Радищевым попытку замаскировать сделанные после цензуры вставки, сохранилась тем не менее возможность отделить позднейшие дополнения от более раннего текста и определить таким образом тот состав „Путешествия“, который оно имело при поступлении в цензуру. Это произведено было П. Е. Щеголевым, который дал обстоятельное обследование всего этого текста⁴⁾. Из этого обследования видно, что после цензуры, кроме нескольких мелких вставок, были добавлены такие крупные отрывки, как посвящение А. М. Кутузову, рассказ о наместнике, любителе устриц (в главе „Спасская Полѣсть“), рассказ о встрече с семинаристом и привлечение из его тетради (в главе „Подберезье“), беседа с Карпом Дементьевичем (в главе „Новгород“) и, наконец, повествование о цензуре и слово о Ломоносове⁵⁾.

¹⁾ Это видно из следующей надписи М. Н. Лонгинова на чистой странице, предшествующей задней крышке переплета: „Этот экземпляр превосходен по верности списка и четкости почерка. Он был в библиотеке известного Платона Васильевича Голубкова, здесь в Москвѣ, и куплен отсюда книгопродавцем Зайцевским, который продалъ мнѣ оный за пятнадцать рублей серебромъ въ Москвѣ же, 9 февраля 1856 года“. Упоминаемый здесь П. В. Голубков, московский купец († 1855 г.), известен изданием нескольких переводов, относящихся до Индии.

²⁾ Этот факт определяется из сохранившегося в архиве Лонгинова следующего письма к нему П. А. Радищева: „Милостивый Государь Михаилъ Николаевичъ. Я подалъ сегодня на почту вашу рукопись, за которую васъ премного благодарю. Я въ ней нашелъ пѣсноговореніе, или маленькую поэму: *Сотвореніе міра*, еще нигдѣ не напечатанную, и которая въ свое время присоединится къ полному изданію всѣхъ сочиненій автора. Я пріѣхалъ благополучно 14 октября въ деревню, въ 50 верстахъ отъ Бахмута, а теперь поселился опять на непремѣнное житіе въ Таганрогъ, куда и прошу написать и извѣстить меня о полученіи вашей рукописи. Съ почтеніемъ и преданностію остаюсь вашъ почкорный слуга Павелъ Радищевъ. Таганрогъ. Ноября 12-го 1861“.

³⁾ В Государственном архиве. Эту рукопись мы везде далее называем „цензурной“.

⁴⁾ Статьи „Рукопись „Путешествія“ и „Добавленія и разночтенія изъ рукописи“ при изданіи „Путешествія“, под редакціей Н. П. Сильванскаго и П. Е. Щеголева (СПБ. 1905 г.). Дальнейшіе ссылки на эти статьи обозначаются нами: Щеголев. — „Путешествіе“ цитируется по этому изданію.

⁵⁾ Щеголев, стр. LXXXIV.

Изучаемая нами рукопись включает в себя и те дополнения, которыми были сделаны Радищевым после цензуры, и по общему составу примыкает к печатному тексту; это — первый вывод, который можно сделать из рассмотрения рукописи и сопоставления ее с двумя указанными текстами. Единственным в этом отношении фактом, связывающим нашу рукопись с цензурной, является заголовок „Подберезье“, имеющийся в рассматриваемой рукописи не только там, где ему следует быть согласно печатному тексту, то-есть при начале главы с таким названием, но и после рассказа о судебной несправедливости, перед текстом, в котором изображается явление Истины „сѣдѣщему на престолѣ“¹⁾; здесь в цензурной рукописи было начало главы „Подберезье“, ничего общего с печатным текстом этой главы не имеющей²⁾; свидетельством этого остался и находящийся в нашей рукописи другой заголовок.

При предыдущем сопоставлении, говоря об общем составе рукописи, мы имели в виду два текста: цензурный и печатный. Но рассматриваемая нами рукопись имеет в своем составе и существенное отличие как от того, так и от другого текстов. В ней находится, во-первых, полный текст оды „Вольность“, приведенной и в цензурной рукописи и в печатной книге в сокращении, и ставший известной в полной форме лишь по списку, полученному П. А. Ефремовым от сына Радищева³⁾; вторым важным отличием является новый вариант размышлений Радищева по поводу этой оды. Наконец, мы имеем в рукописи произведение в стихах „Творение міра. Пѣснопоеііе“, — отрывок совершенно до сего времени неизвестного радищевского текста. Мы не упоминаем здесь о нескольких дополнительных местах, находящихся в нашей рукописи, но отсутствующих в сохранившихся частях рукописи цензурной, — не упоминаем потому, что присутствие их в полном тексте этой рукописи можно считать вполне вероятным.

Но если, по общей концепции, рассматриваемая рукопись, за отмеченными важными отличиями, примыкает к печатному тексту, то по многим вариантам и по отдельным местам текста, которых нет в печатной книге, она, во многих своих главах, чрезвычайно близка к рукописи цензурной. В этом заключается и авторитетность изучаемой рукописи: ибо совпадение вариантов ее с вариантами рукописи цензурной, а также присутствие в рассматриваемой рукописи полного текста таких фраз, которые не вошли в печатный текст, а в сохранившихся частях рукописи цензурной обрываются иногда на полуслове, является лучшим доказательством того, что список наш является копией, в основе своей имеющей подлинные рукописи самого Радищева.

Однако, эта близость к цензурному тексту замечается не во всех главах рассматриваемой рукописи. Работа по сличению нашей рукописи с особенностями рукописи цензурной⁴⁾, — поскольку они отмечены П. Е. Щеголевым, — и с печатным текстом, приводит нас к выводу, что отдельные главы рукописи, в отношении их к цензурному и печатному тексту, весьма различны, и в то время как одни главы

¹⁾ В главе „Спаская Поѣѣсть“ перед абзацем „Повѣсть спутника моего“ (стр. 35 печ. текста). Этот заголовок перечеркнут в рукописи карандашом.

²⁾ Щеголев, стр. LXXVIII

³⁾ Впервые, без всяких сокращений, ода была напечатана, по этому списку, только в 1906 г. (издание „Сиріус“).

⁴⁾ См. ниже, глава III — „Обзор рукописи“.

имеют особенности цензурного текста, другие—близки к тексту печатному. В зависимости от этих особенностей все главы рукописи могут быть разделены на две главных категории. К первой относим те главы или отделы их¹⁾, текст которых включает все отмеченные в цензурной рукописи варианты, или хотя бы часть их (обыкновенно большую), заменяясь в другой части некоторыми разночтениями печатного текста; таковы, в общем, следующие главы: Выѣздъ, Софія, Тосна, Любави, Чудово, Спасская Полѣсть (2—3 часть), Новгородъ (1-я часть)²⁾, Бронницы, Зайцово, Крестьяны (1-я половина главы), Хотилово, Выдропускъ, Торжокъ (кроме „Повѣствованіе о цензурѣ“), Мѣдное, Тверь, Городня (начало главы).

Вторую группу составят те главы, текст которых не имеет цензурных вариантов и совпадает, в общем, с печатным, отличаясь от него большею частью незначительными изменениями. Сюда относятся главы: Посвященіе А. М. Кутузову, Спасская Полѣсть (1-я часть), Подберезье, Новгородъ (2-я часть), Крестьяны (2-я половина главы), Яжелбицы, Вышний-Волочокъ, „Повѣствованіе о цензурѣ“, Городня (большая часть главы, кроме начала), Завидово, Клинь, Пѣшки, Черная Грязь и „Слово о Ломоносовѣ“.

Ближайшее изучение глав, следующих цензурному тексту, приводит нас, во-первых, к тому заключению, что присутствие всех без исключения цензурных вариантов имеет место лишь во 2-й части главы „Спасская Полѣсть“, в главах „Зайцово“ и „Мѣдное“. Во-вторых, мы находим, что в нашей рукописи сохраняются иногда и те первоначальные редакции, которые перечеркнуты уже и в рукописи цензурной. В-третьих, замечаем, что во всех почти главах (или отделах их) первой группы, при наличии рецитительного большинства цензурных вариантов, встречаются и разночтения, не отмечаемые Щеголевым в цензурной рукописи³⁾. Наконец, мы усматриваем, что некоторые варианты нашей рукописи, отличаясь и от печатного текста и от цензурной рукописи, иногда представляются в форме переходной, от одного из этих текстов к другому⁴⁾.

Присутствие в нашей рукописи, в главах, имеющих цензурные варианты, также и некоторых разночтений, находимых уже только в печатном тексте, а также нескольких вариантов переходного типа, позволяет нам сделать тот вывод, что данная рукопись, в тех своих главах, которые близки к цензурному тексту, представляет посредствующую стадию работы Радищева над текстом своей книги, между той формой, которую он имел по выходе из цензуры, и будучи по-

¹⁾ Говоря об отделах глав, мы имеем в виду те случаи, когда такое подразделение вполне естественно вытекает из самого содержания главы.

²⁾ В цензурной рукописи из всей первой части главы сохранилось только несколько строк, а потому, хотя нельзя произвести сравнения, но есть все основания думать, что наша рукопись очень близка в данном случае к цензурной.

³⁾ Ближайшее выяснение этого вопроса может быть сделано только при непосредственном сравнительном изучении нашей рукописи и рукописи цензурной, чего мы не можем ставить себе целью в данной работе. Отметим только, что П. Е. Щеголев, относительно своего описания цензурной рукописи и приводимых им вариантов, замечает: „Считаемъ нужнымъ сказать, что не отмеченными остались совершенно ничтожные описки и поправки рукописи“ (стр. 259). А потому тот факт, что в некоторых местах нашей рукописи, имеющих большинство цензурных вариантов, находятся и такие, которые не отмечены Щеголевым, но вместе с тем несколько не менее значительные, чем те, которые им указаны, мы объясняем отличиями нашей рукописи от рукописи цензурной.

⁴⁾ Примеры этого даны ниже в „Обзоре рукописи“.

полнен указанными Щеголевым вставками,—и между печатным текстом. Такой текст мог быть получен посредством снятия копии с цензурной рукописи, или хотя бы с некоторых ее глав, при чем эта копия подверглась уже новой обработке Радищева и могла включать после этого некоторые варианты, не отразившиеся ни в цензурной рукописи, ни в печатном тексте. Часть вариантов, отличающих печатный текст от цензурной рукописи, могла быть внесена Радищевым во время корректуры и печатания книги, но другая часть, несомненно, была введена уже ранее—на тексте, представляющем копию с цензурной рукописи. Таким образом был зафиксирован новый средний текст, отличающийся и от цензурного, и от печатного. Копией с этого текста и является изучаемая нами рукопись.

С другой стороны, сохранение в тексте рассматриваемой рукописи некоторых первоначальных редакций, перечеркнутых уже в рукописи цензурой, указывает вместе с тем, что и последняя подвергалась стилистической обработке уже после того, как с нее, или с некоторых глав ее была снята копия, легшая в основу нашей рукописи.

До сих пор мы говорили о главах, близких к цензурному тексту; что же касается тех глав, которые даны в нашей рукописи в тексте, соответствующем печатному и не имеют цензурных вариантов, то главы эти, несомненно, отражают окончательную стадию работы Радищева над текстом. Если является доказанным, что с некоторых глав была снята копия, представляющая текст средний между цензурным и печатным, то почти наверное это можно утверждать и относительно всех глав вообще, потому что совершенно необъяснимым был бы факт снятия копии только с некоторых глав. Если же копия была снята со всех глав, то к определенному моменту отдельные главы могли быть обработаны в разной степени: одни представляли еще текст близкий к цензурной рукописи, другие—к окончательной, печатной редакции. Совершенно не доказано, чтобы книга Радищева печаталась именно с той рукописи, которая была в цензуре; гораздо вероятнее, что она печаталась с копии, с нее снятой и обработанной автором для печати. Копией с текста таких, окончательно отделанных к печати, глав и является, вероятно, текст тех глав нашей рукописи, которые близки к печатной книге ¹⁾.

¹⁾ Большая близость, а иногда и полное совпадение второй группы глав нашей рукописи с соответствующими главами печатного текста, дает возможность для теоретически допустимого предположения, что эти главы представляют копию уже с печатного текста. В пользу такого предположения может, как будто, говорить и пометка „Съ дозволенія управы благочинія“, имеющаяся в конце текста рукописи, непосредственно после „Слова о Ломоносовѣ“. Но пометка эта, которую можно во всяком случае относить не ко всему тексту книги, а только к одному „Слову“, в действительности ничего еще не означает, так как „Слово“ было цензировано отдельно, и подобная пометка была сделана самим Радищевым на заглавии „Слова“ (Щеголев, стр. LXXXVI); ясно, что она была во только в печатном тексте, но и в рукописи. Вообще же предположение, что некоторые главы нашей рукописи скопированы с печатного текста, представляется нам крайне затруднительным прежде всего по практической несообразности этого. Кроме того, против такого предположения говорит тот факт, что иногда главы нашей рукописи в тех случаях, когда они удобно разбиваются на отдельные рассказы, или эпизоды, следуют, в общем, в одном отделе цензурному тексту, в другом—печатному, что, по нашему мнению, прямо указывает на пользование здесь рукописным текстом разных стадий обработки: допустить, что одна часть главы скопирована с печатного текста, другая—с рукописи, представляется нам едва ли возможным. К этому надо

Сравнение текста нашей рукописи с печатным текстом приводит нас еще к одному выводу, который, помимо своего самостоятельного интереса, важен для нас и как мотив для объяснения причин составления того комбинированного из двух редакций текста, который мы имеем в нашей рукописи. Этот вывод заключается в том, что, несмотря на всю необычайную смелость книги Радищева, он все же сделал в ней несколько смягчений по сравнению с рукописным текстом. Можно привести ряд примеров этого. Так, в главе „Тосно“ был выпущен в печатном тексте пронический и резкий отзыв о самодержавной власти; в главе „Новгородъ“ сокращены в печатном тексте замечательные места о подавлении в новгородцах „духа свободы“; резкие выражения пропущены в главах „Крестьян“ и „Хотилонъ“; есть пропуск, сделанный по таким же соображениям, в главе „Торжокъ“ (насмешливый отзыв о „мудромъ правителѣ—Екатерине). Приводимые нами дополнения к печатному тексту представляют подробно все эти, и некоторые другие, примеры сокращения резкости текста. Если мы прибавим к этому уже известный факт сокращений в печатном тексте оды „Вольность“, и вновь устанавливаемый нами факт пропуска в нем „Творения міра“, которое также, вероятно, из опасения цензуры—но духовной—не было включено в печатный текст, то — полагаем — вывод наш о факте сделанных Радищевым сокращений мест, казавшихся ему наиболее резкими, делается вполне ясным. Следует отметить также, что полный текст оды „Вольность“ и „Творение міра“ даже не были представляемы Радищевым в цензуру; остальные же невключенные в текст места, нами перечисленные выше, в цензурной рукописи, несомненно, были. Но хотя Радищев и получил цензурное дозволение, — которое было дано полицейским цензором даже без ознакомления с текстом сочинения, — он вполне правильно уяснил себе, хотя, несомненно, уже позднее, что цензурное дозволение не избавит автора от тяжелых последствий, в том случае, если на книгу, по выходе ее в свет, обратится внимание власти. Потому-то Радищев и смягчил некоторые резкие места, выпустил, конечно, с болью в сердце, кое-какие дорожки для него строки, хотя и бросил в печать ряд других, может быть, по его мнению, менее резких, но все же необыкновенно сильных, чрезвычайно смелых страниц. Наше заключение, что Радищев, именно для смягчения резкости текста, выпустил из книги некоторые из находившихся в рукописи строк, делается еще более ясным из того факта, что все такие строки, из числа тех, которые были в цензурной рукописи, оказались, при отобрании ее у Радищева, утраченными; несомненно, они были сознательно уничтожены Радищевым из боязни, что заинтересуются и рукописью и найдут в ней ряд лишних, безусловно, с точки зрения власти преступных фраз. Потому-то в цензурной рукописи оказались отсутствующими некоторые отрывки, начинающиеся иногда как раз с того слова, где заключались „преступные фразы“; по миновании же текста этих фраз, рукопись снова сохранялась¹⁾.

Этот факт, сделанных Радищевым в печатном тексте, по сравнению с рукописным, приводит нас к следующему выводу: прибавить еще, что хотя варианты в главах второй категории в общем не велики, по сравнению с печатным текстом, но думаем, что их нельзя объяснить изменениями, внесенными переписчиком, особенно принимая во внимание большую тщательность выполнения копии.

¹⁾ Это касается, например, отмеченных нами выше мест в главах „Тосно“, „Крестьян“, „Хотилонъ“, „Торжокъ“ (см. „Обзор рукописи“).

нию с рукописью, сокращений и смягчений, дает нам возможность найти одну из причин сохранения в нашей рукописи первоначального текста. Предыдущие разъяснения делают понятным, что Радищев, сократив, скрепя сердце, некоторые места своей книги, несомненно, имел основание желать сохранения измененных ее глав в их полном, первоначальном составе. Этот мотив ясно доказывается присутствием в нашей рукописи полного текста оды „Вольность“, двух вариантов размышлений о ней Радищева и „Теоретия міра“: этим, вероятно, должно быть объяснено сохранение в нашем тексте и других мест, не включенных в печатную книгу.

Но этот повод объясняет сохранение в рукописи первоначального текста только тех глав, которые подверглись в печатном тексте урезкам. Остается еще ряд глав („Вызвезд“, „Софія“, „Либани“, „Чудово“, „Спасская Полѣсть“—2 и 3 часть, „Зайцово“, „Выдропускъ“, „Мѣдное“, часть главы „Городня“), отличия которых в вашей (и, вероятно, в полном тексте цензурной) рукописи от печатной книги сводятся к небольшим изменениям, преимущественно стилистического характера. Сохранение в нашей рукописи цензурного (или близкого к нему) текста этих глав может быть объяснено, по нашему мнению, той причиной, о которой мы уже упоминали,—именно, что к моменту составления того оригинала, с которого снята наша копия, одни главы (и, в частности, только что указанные) сохраняли еще редакцию, близкую к цензурной, не получив окончательной обработки, другие же имелись уже в тексте почти окончательном,—и в зависимости от этого, отдельные главы сочинения вошли в текст вашей рукописи в разных редакциях.

Здесь мы подходим к вопросу о времени составления оригинала, с которого снята наша рукописная копия. Отражение в ней промежуточного текста, между цензурным и печатным, заставляет все различные редакции отдельных глав относить ко времени между получением цензурного до воления (оно дано 22 июня 1789 г.)¹⁾ и началом печатания, или ближайшим к нему сроком (к печатанию было приступлено в начале января 1790 г.)²⁾. К этому же времени следует отнести и составление оригинала нашего списка, в его полном составе. Теоретически допустимо, однако, и предположение, что этот оригинал скомбинирован из отдельных текстов Радищева даже позднее отпечатания „Путешествия“; но предположение это требует ряда маловероятных допущений, и между ними возможности сохранения у Радищева черновых текстов разных редакций, возникновение у него мысли вновь воссоздать книгу по таким текстам и пр. Потому, упоминая об этом предположении, мы тем не менее высказываемся против него вследствие его практической маловероятности.

Нашу копию, как мы видели ранее, следует относить к 1796—1800 гг. Возможно, что она является копией с другой копии (и даже не первой) с того прототипа нашего текста, который был обработан самим Радищевым; но допустимо, что она и непосредственно скопирована с этого текста, где-либо уцелевшего. В пользу того, что список наш передает радищевский текст почти из первых рук, говорит прежде его верность и точность, выясняющаяся из сопоставления с соответствующими особенностями цензурной рукописи.

¹⁾ Щеголев, стр. LXXV.

²⁾ Письмо Радищева к Шешковскому.—„Полное собрание сочинений“, ред. Каллаша, т. II, стр. 603.

Все приведенные нами данные позволяют признать высокое значение этого списка для изучения текста „Путешествія изъ Петербурга въ Москву“. Ближе подходя в некоторых главах к цензурному тексту, наш список представляет возможность в некоторых случаях заменить его утраченные страницы, и даже дает новые тексты Радищева, не имевшиеся и в цензурной рукописи. Внося новые страницы, чрезвычайно характерные для Радищева, новые, его пылающе-духом свободы и вражды к рабству строки, рукопись представляет вместе с тем многочисленные варианты, характеризующие работу Радищева над текстом. Рукопись дает также ряд данных для критики этого текста, искаженного многими ошибками, вкравшимися в книгу, вследствие тех ненормальных условий, при которых происходило тайное печатание. Эти ошибки сохранялись—и вполне правильно,—во всех позднейших изданиях „Путешествія“, но они подлежат авторитетному исправлению в примечаниях к тексту, в будущих изданиях, чтобы не затенять мысли Радищева и не относить типографских ошибок на счет неправильности его слога. Что же касается новых страниц и строк Радищева, выпущенных им по цензурным соображениям из печатного текста, то они, конечно, в той или иной форме должны быть восстановлены во всех будущих изданиях „Путешествія изъ Петербурга въ Москву“.

II. Дополнения к печатному тексту „Путешествія изъ Петербурга въ Москву“.

1.

Первое, очень важное дополнение к тексту „Путешествія“ представляет глава „Тосно“, где в нескольких строках, выпущенных из печатного издания, несомненно с целью устранения резкости текста, Радищев дает новый, прощеский отзыв о самодержавном правлении. В этом отзыве Радищев, как и везде, остается верен своей молодости, когда он впервые высказал, что „самодержавство есть наипротивнѣйшее человѣческому естеству состояніе“.

Вот что пишет о том же Радищев, рассуждая в самом начале главы „Тосно“ относительно дороги, по которой он ехал ¹⁾:

„Поѣхавши изъ Петербурга воображалъ я себѣ, что дорога была наилучшая. Таковою ее почитали всѣ тѣ, которые ѣздили по ней въ слѣдъ Государя. Таковою она была дѣйствительно, но на малое время. Земля, насыпанная по дорогѣ, здѣлавъ ее гладкою въ сухое время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лѣта и здѣлала ее непроходимую. Есть ли бы г. намѣстники не лицемъ только продавать хотѣли, и для всякаго гражданина, по большой дорогѣ ²⁾ проѣзжающаго, по-

¹⁾ При всех цитатах новых отрывков из рукописи „Путешествія“ приводим и часть предшествующего текста везде, где это представляется необходимым для уяснения содержания. Новый текст отмечается разрядкой. При воспроизведении цитат из рукописи, мы соблюдаем особенности языка; неустойчивые же, чисто-орфографические особенности и неопределенная пунктуация переписчика нами не сохраняются.

²⁾ Печатный текст заканчивается здесь на слове „непроходимую“; в цензурной рукописи этот отрывок обрывается на словах „большой дорогѣ“, окончание же находилось на утраченном листе (Щеголев, стр. 260).

ступали бы съ исправниками земскими покапальски, какъ то они сами поступаютъ, то дороги наши вразсужденіи короткаго времени, въ которое они портятся, были бы наилучшія въ свѣтѣ. Но в самодержавномъ правленіи государь подобенъ солнцу: въ естествѣ, гдѣ оно грѣет, тамъ есть и жизнь; гдѣ его нѣтъ — тамъ все умираетъ. Самодержавный государь одинъ въ государствѣ своемъ имѣетъ право слѣдовать разсудку; всѣ другіе обязаны слѣдовать повелѣнію, всегда слѣдовать тому, какъ другой мыслить, а не такъ, какъ самому хочется. Скучно, — и отъ того дорога, по которой я ѣхалъ, была дурна. Но клячи почтовые, съ помощію всесильнаго кнута, до почтоваго стана меня дотащили¹⁾.

В одной из ближайших, велед за этой, глав, — „Новгородъ“ мы находим повне, также безусловно по мотивамъ смягченія содержанія, не включенные в печатный текст строки, проникнутые характернымъ радищевскимъ „духомъ свободы“. Подъезжая к Новгороду, Радищевъ вспоминаетъ о томъ, что, какъ известно по летописямъ, новгородцы имели „народное правленіе“:

„Хотя у нихъ были многія князья, но ихъ можно было почитать полководцами только, мало власти имѣющими; вся сила правленія заключалась въ посадничихъ и тысяцкихъ²⁾. Народъ въ собраніи своемъ на вѣчѣ былъ истинный государь. Область Новгородская простиралась даже за Волгу. Сіе вольное государство состояло въ Ганзейскомъ союзе. Старинная рѣчь: кто можетъ стать противъ Бога и великаго Новгорода служить можетъ доказательствомъ его на Сѣверѣ могущества“³⁾.

После этого Радищеву приходит на память поступокъ царя Ивана Васильевича по взятіи Новгорода. В рукописномъ тексте здесь — важныя дополненія, которые мы и отмечаемъ⁴⁾.

„Уязвленный сопротивленіемъ сея республики, сей гордый, звѣрскій, но уминый властитель хотѣлъ ее раззорить до основанія. Мнѣ зрится оная съ долбнею на мосту стоящъ, такъ нны повѣствуютъ, приносяи на жертву ярости своей старѣйшихъ⁵⁾ и начальниковъ новгородскихъ. Были и есть люди, которые его гнѣвъ почитали и почитаютъ.

¹⁾ Далее текст следует печатному — „Обезпокоенъ дурною дорогою“... („Путешествіе“, стр. 8).

²⁾ В печатномъ тексте эта фраза сокращена, именно: „Хотя у нихъ были князья, но мало имѣли власти. Вся сила правленія заключалась въ посадничихъ и тысяцкихъ“ (стр. 58).

³⁾ В приведенномъ отрывкѣ (от слова „Народъ“) есть варианты противъ печатнаго текста. Именно, вторая фраза читается в немъ такъ: „Область Новгородская простиралась на Сѣверѣ даже за Волгу“; зато далее слова „на Сѣверѣ“ в печатномъ тексте выкинуты. Текстъ рукописи, судя по смыслу, в этомъ случаѣ более точен. Вместо „состояло въ Ганзейскомъ союзѣ“ в печати. тексте „стояло“.

⁴⁾ Разрядкой.

⁵⁾ В печ. текстѣ — „старѣйшихъ“.

справедливымъ. Новгородцы въ ихъ мнѣніи были бунтовщики; но какое оному доказательство? Какое оны имѣли право свирѣпствовать противъ ихъ; какое ¹⁾ имѣли право присвоить Новгородъ? То ли, что первые великіе князья Россійскіе жили въ семъ городѣ? Или что оны писались царемъ всея Россіи? ²⁾

Переходя къ размышлению о „правѣ народовъ“, Радищевъ говорит: „Много было писано о правѣ народовъ; нерѣдко имѣютъ на него ссылку; но ³⁾ законоучители не помышляли, можетъ ли быть между народами судія. Когда возникаютъ между ими вражды, когда ненависть, или корысть, устремляетъ ихъ другъ на друга, судія ихъ есть мечъ. Кто палъ мертвъ или обезоруженъ, тотъ и виновенъ; повинуются непрекословно сему рѣшенію, и апелляціи на оное нѣтъ... Сей государь столько успѣлъ въ своемъ предпріятіи, что въ новгородцахъ не осталось малѣйшей искры духа свободы, за которую они съ толикимъ сражались жаромъ. Съ вѣшнымъ колоколомъ рушилось въ нихъ даже и зыбленіе, такъ сказать, — волюности, нерѣдко по усмирении бури остающееся. И дѣйствительно, не видно, чтобы после того новгородцы дѣлали какое покушеніе на возвращеніе своей свободы. Вотъ почему Новгородъ принадлежалъ царю Ивану Васильевичу. Вотъ для чего оны ⁴⁾ раззорилъ и дымящіяся его остатки себѣ присвоилъ“ ⁵⁾.

Перейдемъ къ едущей главѣ — „Бронницы“. Здѣсь выражено дептическое исповѣданіе веры Радищева. В печатномъ текстѣ глава эта заканчивается цитатой из трагедіи Аддисона „Смерть Катонна“ ⁶⁾. В рукописи после этого следуетъ еще фраза, вносящая новую черту въ характеристику отношенія Радищева къ вопросамъ веры. Продолжая свое обращеніе къ Богу, которое и составляло главное содержаніе главы Радищевъ въ послѣдней фразѣ, отсутствующей въ печатномъ текстѣ, говоритъ:

„Но что ты, гдѣ ты, что ты въ насъ и что мы въ тебѣ, не вѣдаю, Всесильный, не вѣдаю, и смиренный въ певѣдѣніи моемъ, не дерзаю подъяти тяжкую завѣсу отъ бранныхъ моихъ взоровъ, тебя сокрывающую“.

¹⁾ В печ. текстѣ — „Но какое оны“.

²⁾ В печ. текстѣ — „Русіи“.

³⁾ В печ. текстѣ — „ни“.

⁴⁾ В печ. текстѣ после „оны“ — „его“.

⁵⁾ Печ. текст стр. 58—59. Интересно здѣсь кстати отметить, что воспоминанія о древней вольности русской, которымъ здѣсь предается Радищевъ, вдохновляли также и декабристовъ. Кн. С. Г. Волконскій подказывалъ Пушкину этотъ поэтический сюжетъ: „Сосѣдство и воспоминанія о Великомъ Новгородѣ, о вѣшномъ колоколѣ и объ осадѣ Пскова будутъ для насъ предметомъ поэтическихъ занятій“ (письмо Волконскаго къ Пушкину отъ 18 октября 1824 г. — в „сочиненіяхъ Пушкина. Изданіе Академіи Наукъ. Переписка, подъ ред. В. И. Саитова“, т. I, 1906 г., стр. 139). К. Ф. Рылеовъ въ январѣ 1825 г. писалъ Пушкину: „ты около Пскова: тамъ задушены послѣднія искры Русской свободы; настоящій край вдохновеній“... (тамъ же, стр. 166). Те же воспоминанія, правда, относящіеся къ болѣе отдаленному времени, вызвали „думу“ Рылеова, рисующую Вадима, и неоконченную поэмѣ Пушкина съ такимъ же названіемъ.

⁶⁾ Печ. текст, стр. 68.

В главе „Крестыцы“ Радищев приводит свои размышления по поводу виденного им там расставания отца с детьми, идущими на службу. „Одно назчаніе сіе привоитъ всю кровь въ необычайное движеніе, — говорит Радищев. — Сто противъ оного дерекать можно, что изоста дворяничковъ, вс уаюющихъ въ службу, 98 становятся повѣсами“.

Затем Радищев говорит, что у него при взгляде на своего старшего сына, который скоро должен идти в службу, „волосы дыбомъ становяся“. К даънейшим словам Радищева рукопись дает много дополнений против печатного текста и против цензурной рукописи, как раз в этом месте обрывающейся на полуслове ¹⁾; все эти дополнения и изменения отмечаются:

„Иной скажетъ, а кто такихъ молокососовъ толкаетъ въ шею. — Кто? Примѣръ общій. Штабъ офицеръ 17 лѣтъ; полковникъ 20 лѣтъ, генералъ 25 лѣтъ ²⁾; камергеръ, сенаторъ, намѣстникъ, начальникъ войскъ. И какому отцу не захочется, чтобы на его миломъ дяткѣ не было овѣшенныхъ шелковыхъ лоскутковъ ³⁾. Смотря на сына моего, представляется мнѣ: онъ началъ служить, познакомился съ вертопрахами, распутными игроками, щеголями, забылъ онъ меня и букварь свой, выучился чистенько наряжаться, играть в карты на чужія деньги, и картами доставать свое пропитаніе ⁴⁾, говорить обо всемъ и ничего не стыдяся ⁵⁾, таскаться по дѣвкамъ, иль врать чепуху барынямъ; а букварь свой, повторяю, забылъ. Какимъ-то образомъ фортуна, вертяся на куріей ножкѣ, приглубила его, и сынокъ мой, не брѣя еще бороды, чрезъ гвардейскую службу, или адъютанство, или богъ вѣсть какъ началъ ѣздить въ шесть лошадей уже и возмечталъ что знатный онъ баринъ, что умнѣе всехъ на свѣтѣ ⁶⁾. Чего добраго ждагъ отъ такого полководца, или градоначальника? Скажи ⁷⁾, отецъ чадолюбивой, скажи, о истинный гражданинъ! скажи, о человекъ! не захочется ли тебе сына твоего лучше удавить, нежели отпустить въ службу? Не больно ли сердцу твоему, что сынокъ твой, знатной баринъ ⁸⁾, презираетъ заслуги и достоинство, для того, что ихъ участь пресмыкаться въ стезѣ чиновъ, пронырства гнушающаяся? Не возрыдаешь ли ты, что сынокъ твой любезной съ пріятною улыбкою отнимать будетъ имѣніе, честь отравлять и рѣзать людей, не своими всегда барскими ⁹⁾ руками, по посредствомъ лапъ своихъ раболѣпцовъ ¹⁰⁾, и отходя

1) Она обрывается на слове „молокососовъ“ (см. ниже приводимую нитату) и начинается снова со слов „Крестницкой дворянинъ“ (стр. 88—89 печ. текста).

2) В печ. тексте „двадцатилѣтний“ (несомненно, ошибочно).

3) Предыдущая фраза в печатном тексте читается так: „И какому отцу не захочется, чтобы дѣти его, хотя въ малолѣтствѣ, были въ знатныхъ чинахъ, за которыми идутъ въ слѣдъ богатство, честь и разумъ“.

4) В печ. тексте вместо „свое пропитаніе“ — „прокормленіе“.

5) В печ. тексте вместо „и ничего не стыдяся“ — „ничего не мысля“.

6) В печ. тексте после слов „еще бороды“ следует „сталъ знатнымъ бояриномъ. Возмечталъ онъ о себѣ, что умнѣе всѣхъ на свѣтѣ... и т. д.“

7) В печ. тексте после „Скажи“ — „по истиннѣ“.

8) В печ. тексте „баринъ“.

9) В печ. тексте вместо „барскими“ — „боярскими“.

10) В печ. тексте вместо „раболѣпцовъ“ — „любимцевъ“. Затем, после отме-

отъ вѣка сего дать въ наслѣдіе внукамъ твоимъ село, зовомое село крови.—Но послушаемъ крестецкаго дворянина“¹⁾.

Одной из самых значительных глав книги Радищева является глава, названная „Х. тиловъ“: она посвящена вопросу об уничтожении рабства в России. Для правильного понимания текста этой главы и приводимого нами ниже важного к нему дополнения, необходимо прежде всего выяснить, что весь текст главы, по замыслу автора, исходит от имени будущей высшей государственной власти. После названия главы указано: „Проектъ въ будущемъ“, — и этому вполне соответствуют первые строки текста, где говорится: „Доведа по теиенно отечество наше до цвѣтущаго состоянія, въ которомъ оное нынѣ находится... съ неизреченнымъ радованіемъ сказати можемъ, что отечество наше есть пріятное божеству обиталище... Неизвѣстны намъ вражды, столь часто людей раздѣлявшія за их исповѣданіе, неизвѣстно намъ въ ономъ и принужденіе. Равновѣсіе во властяхъ, равенство въ имуществѣхъ, отъемлютъ даже корень гражданскихъ несогласій“. Ясно, что все это относится к отдаленному будущему, в котором рисовалось Радищеву даже „равенство въ имуществѣхъ“. Что этот проект, представляющий обращение к гражданам, по мысли автора, идет именно от высшей власти, видно и из дальнейшего текста, где Радищев говорит: „Державные предки наши, среди могущества силъ скипетра своего, немощны были на разрушеніе оковъ гражданскія неволи“.

Но, однако, Радищев не выдерживает по всей главе этого тона; в некоторых местах он начинает говорить уже лично от себя, и вообще, вводя в это обращение различные отступления, не проводит последовательно своего замысла, о котором можно судить по цитированным местам.

Следует отметить, что в этом длинном обращении Радищев, в рукописном тексте, два раза намекает на Пугачева, именно во фразах²⁾: „Приведите себѣ на память плачевныя повѣствованія прошедшаго столѣтія“³⁾ (в печ. тексте—„прежнія повѣствованія“) и „Влудитесь, да опять посѣчены не будете“ (в печ. тексте только—„Влудитесь“⁴⁾). После этого следует воззвание к согражданам о смирении рабства, призыв идти в жилища крестьян и возвестить им о перемене их жребия. Далее текст по рукописи гласит так:

„Се будетъ глаголь вашъ; се слышится онъ уже во внутренности сердець вашихъ. Не медлите, возлюбленніи мои. Время летить; дни наши переходятъ въ недѣйствіи. Да не скончаемъ жизнь нашу⁵⁾, возымѣвъ едину“⁶⁾ только мысль

чаемого разрядкой пропуска, идет новый абзац: „Крестичкой дворяннѣ, казался мнѣ, былъ лѣтъ пятидесяти“...

¹⁾ В рукописи везде „крестецкой“, тогда как в печ. тексте—„крестичкой“. Далее текст следует печатному—„Крестичкой дворяннѣ“ и т. д. (стр. 89 печ. текста).

²⁾ Оба эти варианта уже были известны на основании повзурной рукописи (Щаголев, стр. 272).

³⁾ Хотя это и касается, несомненно, Пугачева, но „прошедшаго“ сказано потому, что все это обращение относится, по мысли автора, как видно из ниже-следующего, уже к XIX веку.

⁴⁾ Печ. текст, стр. 146.

⁵⁾ Там же.

⁶⁾ В печ. тексте „жизни нашей“.

⁷⁾ В печ. тексте „едину“—нот.

благую и не возмогши ее исполнить. Да не воспользуется тѣмъ потомство наше, да не пожнетъ вѣнца нашего, и с презрѣніемъ о насъ да не скажетъ: они были... дано въ... 18... года¹⁾.

В печатном тексте этот отрывок заканчивается словами: „они были“,—и в таком виде заключительная фраза очень неясно выражает мысль автора. „Они были...“ (с многоточием) уже дает понять определенный смысл: несомненно, на месте точек подразумевается какое-либо оскорбительное выражение по отношению к власти, державшей в рабстве народ, и к самим рабовладельцам. Слова „дано въ... (хотя бы в Петербурге) 18... года“ мы понимаем, как намек на акт высшей государственной власти (каковым, как мы видели, и является, по замыслу автора, весь предшествующий текст),—акт, возвещающий призыв к освобождению крестьянства.

При таком понимании текста, и нового, вносимого в него, дополнения, можно видеть, что Радищев, изыскивая мыслью пути крестьянского освобождения, допускал, что оно может последовать со стороны высшей государственной власти. Но Радищев не напрасно откинул этот конец фразы, определенно подчеркивающий мысль автора. Вероятно, указанный здесь исход он считал маловероятным; в других местах „Путешествія“ он предвидит другие пути падения рабства. „Всѣ ты,—говорит Радищев в главе „Мѣдное“,—кто бы могъ свободѣ побороть, всѣ великіе вотчинники, и свободы не от ихъ совѣтов ожидать должно, но отъ самой тяжести порабощенія“²⁾. И соответственно с этою мыслью Радищев, в главе „Городня“, восклицает: „О! если бы рабы тяжкими узами отягченные, яряся въ отчаяніи своемъ разбили железомъ, вольности ихъ преплетствующимъ, главы наши, главы безчеловечныхъ своихъ господъ, и кровію нашею обагрили нивы свои...! Не мечта сіе, но взоръ проникаетъ густую завѣсу времени, отъ очей нашихъ будущее сокрывающую; я зрю сквозь цѣлое столѣтіе“³⁾.

Переходим к главе „Торжокъ“, где говорится о свободном книгопечатании и цензуре. Радищев в начале главы вспоминает о том времени, когда не разрешалось иметь типографии частным лицам. Приводим подлинныя слова Радищева, дополняя их по рукописному тексту:

1310/ „Типографіи у насъ всѣмъ заводить дозволено, и время то прошло, въ которое боялися поступаться онымъ дозволеніемъ частнымъ людямъ, для того, что въ вольныхъ типографіяхъ ложные могутъ печатаны быть пропуски. И страха ради будущаго зла, которое само по себѣ и не есть зло, удерживалися отъ общаго добра и полезнаго установленія“).

Далее Радищев приводит большую цитату из Гердера, после которой в цензурной рукописи имелась фраза, отсутствующая в печатном тексте; конец этой фразы не сохранился в цензурной рукописи, так как на этом как раз месте она обрывается. Рассматриваемая нами рукопись восстанавливает всю фразу целиком, именно:

„Отъ того то истинно великіе государи столь рѣдки. Мудрый правитель (боюсь назвать великимъ: ибо

¹⁾ Печ. текст, стр. 147.

²⁾ Печ. текст, стр. 194.

³⁾ Печ. текст, стр. 217.

⁴⁾ Печ. текст, стр. 162.

прилагая таковыя именования государю живу, почтенъ буду или рабомъ, или льстецомъ, или ханжею, или корыстолюбцемъ; хвалитель будетъ скаредный подлець, а хвалимый въ опасности будетъ замазаться въ хвалѣ мерзавца, и предъ свѣтомъ всегда потеряетъ) мудрый правитель отечества нашего, дознавъ полезность книгопечатанія, оное дозволилъ всѣмъ, но паче еще дознавъ, что запрещеніе въ мысляхъ ущетитъ благо намѣреніе вольности книгопечатанія, поручилъ цензуру, или прсмотръ за изданіями, управѣ благочинія"... (далее, как в печатном тексте¹).

Глубокая иронія, скрытая в этом отзыве о „мудромъ правителѣ“ делается еще виднее из того, что далее Радищев приводит яркіе примеры нелепости установленной Екатериной полицейской цензуры.

От этой главы мы переходим к главе „Тверь“, которая открывает нам целые страницы нового радищевского текста. В том месте главы, где Радищев говорит о русском стихотворстве, о Ломоносове и Сумарокове, мы находим следующий вставной текст, в той именно части рукописи, которая соответствует утраченным строкам рукописи цензурной:

„Но не одни Ломоносовъ и Сумароковъ установили²) российское стихосложеніе. Неумолимой возовикъ Тредяковский немало къ тому способствовалъ своею Телемахидою. Есть ли бы онъ изъ Фенелонава романа извлекъ токмо, такъ сказать эссенцъ, оставивъ все скучное и поэмѣ неприличное³), то и онъ бы могъ имѣть подражателей⁴). Теперь сделать примѣръ очень трудно“⁵)...

Излагая в этой главе свои мысли о стихотворстве, от лица встреченнаго им в дороге собеседника, Радищев приводит его слова: „Что такое ямбъ, хорей, дактиль или анапестъ, всякъ знаетъ, если немного кто разумѣетъ правила стихосложенія. Но то бы было излишнее, если бы я могъ дать примѣры въ разныхъ родахъ достаточные. Но силы мои и разумѣніе коротки“. Как пример стихов, писанных ямбами, приводит-

¹) Печ. текст, стр. 164. Приведенная вставная фраза обрывается в цензурной рукописи на полуслове „хвалѣ мерзав...“ (Щеголев, стр. 273). Полный текст этой фразы уже был приведен Д. Н. Анучиным в его брошюре „Судьба перваго изданія „Путешествія“ Радищева“. В той же брошюре приведена и сообщаемая нами ниже дополнительная фраза в главе „Тверь“ (о фенелоновом романе). Но автор брошюры, вне всякаго сомнѣнія ошибочно, предполагает, что эти фразы могли быть вставлены владельцем списка.

²) В печ. тексте „установили“.

³) В рукописи „непримѣнное“, но это несомненная описка, исправляемая нами по тексту, данному в вышеупомянутой брошюрѣ Анучина.

⁴) Мысль, выраженная Радищевым в этой опущенной в печатном тексте „Путешествія“ фразѣ, была развита также в другом, позднейшем, сочиненіи Радищева — „Памятникъ дактилохореическому вѣтязю“. Здесь говорится про творца Телемахиды: „Есть ли ты разсудишь, что вымыселъ сей книги не его, что онъ отвечать не долженъ ни за ненужное и къ героической пьесѣ неприличное, ни за мѣста слабыя или растянутыя... то о немъ должно судить развѣ какъ о человѣкѣ, полюбившемъ страстно Фенелонава Телемака, захотѣвшемъ одѣть его въ Русской кафтанъ"... („Собраніе сочиненій, оставшихся послѣ покойнаго А. Н. Радищева“, часть IV, М. 1811 г., стр. 33 — или „Полное собраніе сочиненій“, ред. Каллаша, т. II, стр. 395).

⁵) После отсутствующей в печати. тексте фразы, отмеченной разрядкою, печатный текст гласит так: „Теперь дать примѣръ новаго стихосложенія очень трудно“... (стр. 196).

ся через несколько строк ода „Вольность“, данная в печатном тексте „Путешествія“ в сокращении. Рассматриваемая нами рукопись представляет текст оды полностью.

2. 13151-

Полный текст оды „Вольность“, которую следует признать первым произведением русской революционной литературы, появился в печати только в 1906 г., когда эта ода была издана отдельной брошюрой, по списку, полученному еще в 1860-х годах П. А. Ефремовым от сына Радищева, Павла Александровича ¹⁾. Наш текст отличается от этого списка большим количеством стилистических вариантов, а в нескольких случаях дает новые чтения, исправляющие крупные ошибки до сих пор известного текста ²⁾. Что касается вариантов, то они в значительной степени должны быть объяснены тем, что публикуемый нами список представляет, несомненно, другую, более раннюю редакцию, подвергшуюся впоследствии стилистическим исправлениям. Наше заключение о раннем происхождении рассматриваемого текста основывается на том факте, что все отмеченные Щеголевым варианты для тех многих строф, которые сохранились в цензурной рукописи, имеются и в нашем тексте, в отличие уже и от печатного текста 1790 г. Что касается более позднего текста вообще, то его можно считать безусловно авторитетным только для тех именно строф, которые были приведены самим Радищевым в этом издании; список же, полученный от П. А. Радищева, не обладает, по нашему мнению, полной достоверностью как ввиду нескольких грубых ошибок, в него вошедших ³⁾, так и вследствие возможности присутствия в нем исправлений, сделанных не самим А. Н. Радищевым. Вследствие этого наш текст, хотя и более ранний, но зафиксированный, безусловно, самим Радищевым, имеет особое значение.

Текст оды в нашей рукописи имеет несколько мелких поправок карандашом, старинным почерком; они, кроме исправления явных ошибок переписчика, дают некоторые изменения текста, иногда соответствующие тем разночтениям, которые имеются в списке оды, полученном от Павла Александровича Радищева. Поэтому возможно, что эти карандашные исправления сделаны им, имевшим, как мы упоминали, в своих руках эту рукопись; но может быть и то, что сам П. А. Радищев воспользовался для своего текста поправками, бывшими ранее на нашем списке ⁴⁾.

¹⁾ Издание „Сиріусъ“. СПб. 1906 г. 8°, 23 стр. (напечатано в небольшом числе экземпляров). Отсюда ода была перепечатана (но с ошибками) во 2-м томе „Полного собрания сочинений Радищева“, под ред. В. В. Каллаша (Москва 1917 г.).

²⁾ Для двух стихов переписчиком в рукописи было оставлено чистое место, заполненное карандашом старинным почерком; это — стихи 8-й в строфе 37-й и 9-й в строфе 53-й; по тексту, написанному карандашом, Лонгинов в первом случае возобновил текст чернилами, а во втором — Лонгинов, видимо, мог прочесть только первое слово — „Придѣтъ“, которое и написано чернилами.

³⁾ Укажем, например, совершенно бессмысленный стих в строфе 43-й, „Дойдет до лести совершенства“, тогда как в действительности, согласно нашему списку, следует „Дойдет до мѣты совершенство“. Слово „мѣта“ — обычное в лексиконе Радищева, не раз упоминаемое в „Путешествіи“ и в трактате „О человеку“. Или другой пример: в строфе 39-й шестой стих гласил: „Иль жизнь, иль мѣду ниспосылай“, между тем как в нашем списке этот стих читается: „Иль казнь, иль мѣду ниспосылая“, как, несомненно, и надлежит быть по сопоставлению со смыслом дальнейшего текста.

⁴⁾ Особого значения эти поправки не представляют, так как они могли

Следует также указать, что замечаний Радищева относительно первой строфы, непосредственно после нее следующих в печатном тексте, в рукописи нет ¹⁾. Но при дальнейших строфах (вплоть до строфы 38-й) имеются в рукописи, в выносках внизу страниц, и те краткие прозаические изложения строф, которые были помещены Радищевым непосредственно в тексте относительно строф, или сокращенных, или вовсе не приведенных ²⁾.

В нашей рукописи непосредственно предшествующий оде текст заканчивается так: „Если вамъ не в тягость будетъ прочесть нѣкоторыя строфы, сказалъ онъ мнѣ, подавая бумагу... Я ее развернулъ и читалъ следующее“.

Далее следует текст оды ³⁾.

1.

О! даръ небесъ благословенный,
Источникъ всѣхъ великихъ дѣлъ,
О! вольность, вольность, даръ безцѣн-
ный!
Позволь, чтобъ рабъ тебя воспѣлъ.
Исполни сердце твоимъ жаромъ,
Въ немъ сильныхъ мышцъ твоихъ уда-
ромъ,
Во свѣтъ рабства тьму претвори ⁴⁾.
Да Брутъ и Телль еще проснутся,
Свѣдѣй во власти, да смѣются
Отъ гласа твоего царя.

2.

Я въ свѣтъ нашелъ и ты со мною;
На мышцахъ нѣтъ моихъ заклепъ;
Свободною могу рукою
Пріяти данный въ пищу хлѣбъ.
Стопы несу, где мнѣ пріятно;
Тому внимаю, что понятно;
Вѣщаю то, что мыслю я.
Любить могу и быть любимымъ;
Творю добро, могу быть чтимымъ;
Законъ мой—воля есть моя.

3.

Но чтожъ претитъ моей свободѣ?
Желаньямъ зрю вездѣ въ предѣлахъ;
Возникла обща власть въ народѣ,
Соборной всѣхъ властей удѣлъ.
Ея общество во всемъ послушно,
Повсюду съ ней единодушно;
Для пользы общей нѣтъ препонъ:
Во власти всѣхъ своей зрю долю,
Свою творю, творя всѣхъ волю:—
Родился въ обществѣ законъ!

4.

Въ срединѣ златорыбныя долины,
Среди тягченной жатвы пивъ,
Гдѣ нѣжны процвѣтаютъ кривы,
Среди мирныхъ подъ сѣнми оливоу.
Паросска мрамора бѣлье,
Яснѣйшихъ дня лучей свѣтлѣе,
Стоитъ прозрачный всюду храмъ;
Тамъ жертва жива не курится,
Тамъ наданъ пламенная зрится:
„Конецъ невинности бѣдамъ!“

быть сделаны вполне произвольно; например, переправлен стих в строфе 1-й: „Во свѣтъ раба тьму претвори“, который именно в такой форме (а не „тьму рабства“, как исправлено) отставался самим Радищевым. То из поправок, которые не имеют характера исправления ошибок переписчика, нами указываются в выносках при соответствующих стихах оды.

¹⁾ Мы пока говорим о первом тексте, имеющемся в рукописи; далее в ней следует вариант.

²⁾ После строфы 38 (в печатном тексте 39-й) сокращенных изложений тех строф, которые не были помещены в печатном тексте, в выносках уже нет, и текст оды следует далее без всяких примечаний. Ниже, при передаче текста „Вольности“, мы все вообще упомянутые выноски опускаем.

³⁾ В печатном тексте, после приведенной нами фразы, до текста оды, есть еще слова: „Вольность... Ода... За одно названіе отказали мнѣ изданіе сихъ стиховъ. Но я очень помню, что въ Наказѣ о сочиненіи новаго уложенія, говоря о вольности, сказано: „вольностью называть должно то, что все одинаковымъ повиновенъ законамъ“. Слѣдственно о вольности у насъ говорить вмѣстѣ. При-веди далее весь текст оды, как не вошедшей полностью в изданіе 1790 г., мы не считаемъ здесь необходимымъ оговаривать все разночтенія, имеющіяся в нашемъ тексте по сравненію со спискомъ изданія „Сириуса“; иные ошибки переписчика мы исправляемъ по сравненію с этимъ последнимъ текстомъ.

⁴⁾ Переправлен карандашомъ порядокъ словъ: „тьму рабства“ вместо „рабства тьму“, но верна послѣдняя форма.

5.

Оливной вѣтвью вѣнчанно,
На твердомъ камени сѣдая,
Безъ слуха аритя хладноравно,
Глухое божество судая,
Вѣдѣ снѣга во хламидѣ,
И въ неизмѣнномъ всегда видѣ,
Зерцало, мечъ, вѣсы предъ нимъ.
Тутъ истина стрежетъ десную,
Тутъ правосудіе ошую:
Се храмъ Закона ясно зримъ.

6.

Возводить строгія зѣнницы,
Льетъ радость, трепетъ, вкругъ себя,
Равно на всѣ взираетъ лица,
Ни ненависть, ни любя.
Онъ лести чуждъ, лицепріятства,
Породы, знатности, богатства,
Гнушаясь жертвенныя тли;
Родства не знаетъ, ни пріязни;
Равно дѣлитъ и меду и казни;
Онъ образъ Божій на земли.

7.

И се! чудовище ужасно,
Какъ гидра, сто имѣя главъ,
Умилно и въ слезахъ всечасно,
Но полны челюсти отравъ,
Земныя власти попираетъ,
Главою неба досязаетъ,
Его отчуждена тамъ, гласить,
Призраки, тьму повсюду свѣтъ,
Обманывать и лести умѣетъ,
И слѣдо вѣрить намъ велитъ.

8.

Покрывши разумъ темнотою
И всюду вѣя ползкій лѣдъ,
Троюкою обнесъ стѣною
Чувствительность природы чадъ;
Повлекъ въ ярмо порабощенья,
Облекъ ихъ въ броню заблужденья,
Бояться истины велѣлъ.
Законъ се Божій, царь вѣщаетъ;
Обманъ святыи,—мудрецъ взываетъ,—
Народъ давить что ты обрѣлъ.

9.

Сей былъ, и есть, и будетъ вѣчной
Источникъ лютей рабства оковъ:
Отъ золь всѣхъ жизни скоротечной
Пребудетъ смерть единый покровъ.
Всемогущий Вождь! благъ податель,

Естественныхъ ты благъ создатель,
Законъ свой въ сердца основалъ:
Возможно ль, ты чтобы измѣнился,
Чтобъ ты, Богъ силъ, столь упод-
лился,
Чужимъ чтобъ гласомъ намъ вѣщалъ?

10.

Воззримъ на области обширны,
Гдѣ тусклый тронъ стоитъ рабства.
Градскія власти тамъ всѣ мирны,
Въ царѣ зря образъ божества.
Власть царска вѣру охраняетъ,
Власть царску вѣра утверждаетъ:
Союзно общество гнетутъ:
Одинъ сковать разсудокъ тѣтитъ,
Другая волю стерть стремится¹⁾;
На пользу общую, рекутъ.

11.

Покою рабскаго подъ сѣнью
Плодовъ златыхъ не возрастетъ:
Гдѣ все ума претитъ стремленью,
Великость тамъ не прозябеть.
Тамъ нивы запустѣютъ тучны,
Коса и серпъ тамъ несподручны,
Въ сохѣ уснетъ лѣнивый вождь,
Блестящий мечъ померкнетъ славы,
Минервинъ храмъ сталъ обветшалый,
Коварства сѣтъ простерлась въ долъ!

12.

Чело надменное вознеси,
Пріявъ желѣзный скипетръ, царь,
На грозномъ тронѣ властно сѣвши,
Въ народѣ зрѣть лишь подлу тварь.
Животъ и смерть въ рукѣ имѣя:
„По волѣ, рекъ, шажу злодѣя;
„Я властію могу дарить,
„Гдѣ я смѣюсь, тамъ все смѣется;
„Нахмурюсь грозно, все смятется;
„Живешь тогда, велю колы жить“.

13.

И мы внимаемъ хладнокровно,
Какъ крови нашей алчный гадъ,
Ругаясь всегда безспорно,
Въ веселы дни намъ сѣетъ адъ.
Вокругъ престола всѣ надменна
Стоять колыпопреклоненно.
Но мститель, трепещи, грядетъ.
Онъ молвитъ, вольность прорекая—
И се, молва отъ край до края,
Глася свободу, протечетъ.

¹⁾ В нашем списке: „Одно сковать разсудокъ чтится, Другое волю стерть стремится“, но мы считаемъ это ошибкой и даемъ эти строки в редак-
ции текста П. А. Радицева, так как во всякомъ случаѣ болѣе правильно „одинъ“
(допускаю согласованіе с „царемъ“) и „другая“ (вѣра).

14.

Возникнетъ рать повсюду бранна.
Надежда всѣхъ вооружить;
Въ крови мучителя вѣнчана
Омыть свой стыдъ ужъ всякъ спѣшитъ.
Мечъ острѣ, я зрю, вездѣ сверкаетъ,
Въ различныхъ видахъ смерть летаетъ,
Надъ гордою главою царя.
Ликуйте склепанны народы!,
Се право мщенное природы,
На плаху возвелъ царя.

15.

И ночи се завѣсу лживой
Со трескомъ мощно разодравъ,
Кичливой власти и строптивой
Огромный истуканъ поправъ,
Сковавъ сторучна исполнина,
Влечетъ его, какъ гражданина,
Къ престолу, гдѣ народъ возсѣлъ.
Преступникъ власти мною данной,
Вѣщай, злодѣй, мной увѣнчанный,
Противъ меня возстать какъ смѣлъ?

16.

„Тебя одѣкъ я во порфиру
„Равенство въ обществѣ блюсти,
„Вдовицу призирать и сиру,
„Отъ бѣды невинность чтобъ спасти;
„Отцомъ ей быть чадолюбивымъ;
„Но мстителемъ непримиримымъ
„Пороку, лжи и клеветѣ;
„Заслуги честью награждать,
„Устройствомъ зло предупреждать,
„Хранити нравы въ чистотѣ.

17.

„Покрылъ я море кораблями,
„Устроилъ пристань въ берегахъ,
„Дабы сокровища торгами
„Текли съ набиткомъ въ городахъ;
„Златая жатва чтобъ безслезна
„Была оратаю полезна;
„Онъ могъ вѣщать бы за сохой:
„Вразды своей я не наемникъ,
„На пажитяхъ своихъ не плѣнникъ.
„Я благоденствую тобой.

18.

„Своихъ кровей я безъ пощады—
„Гремящую воадвинулъ рать;
„Я мѣдны изваялъ громады,
„Злодѣевъ вѣнчавъ чтобъ карать;
„Тебѣ велѣлъ повиноваться,
„Съ тобою къ славлѣ устремляясь;
„Для пользы всѣхъ мнѣ можно все;
„Земныя вѣдра раздираю,
„Металлы блестящій извлекаю
„На украшеніе твое.

19.

„Но ты забывъ мнѣ клятву данну
„Забывъ, что я набралъ тебя
„Себѣ в утѣху быть вѣнчану,
„Возмнилъ, что ты господь, не я.
„Мечемъ мои расторгъ уставы,
„Безгласными повергъ всѣ права,
„Стыдиться истины велѣлъ;
„Расчистилъ клеветѣ дорогу,
„Взывать сталъ не ко мнѣ, но къ Богу
„А мной гнушаться восхотѣлъ.

20.

„Кровавымъ потомъ доставая
„Плодъ, кой я въ пищу насадилъ,
„Съ тобою крохи раздѣляя,
„Своей натуги не щадилъ.
„Тебѣ сокровищъ всѣхъ мало!
„На чтожъ, скажи, ихъ недостало,
„Что рубище съ меня сорвалъ?
„Дарить любимца полна лести,
„Жену чуждающа чести?
„Иль злато Богомъ ты призналъ?

21.

„Въ отличность знакъ избрѣтен-
ный

„Ты началъ наглости дарить;
„Злодѣю мечъ мой изощренный
„Ты сталъ невинности сулить.
„Сгруженные полки въ защиту
„На брань ведешь ли знамениту
„За челоуѣчество карать?
„Въ кровавыхъ борешься долинахъ,
„Дабы, упившись, въ Аѳинахъ:
„Герой!—зѣвавъ, могли сказать.

22.

„Злодѣй, злодѣевъ всѣхъ лютей-
шій!

„Превзыде зло твою главу.
„Преступникъ, изъ всѣхъ превѣйшій!
„Предстань, на судъ тебя зову!
„Злодѣйства всѣ скопилъ въ едино,
„Да ни едина пройдетъ мимо
„Тебя изъ казней, супостаты!
„Въ меня дерзнулъ острить ты жало!
„Единой смерти зато мало—
„Умри, умри же ты стократно!“

23.

Великій, мужъ, коварства полный,
Ханжа, и льстецъ, и святотать,
Единъ ты въ свѣтъ столь благотвори-
тельный

Примѣръ великій могъ подать!
Я чту, Кромвель, въ тебѣ злодѣя,
Что власть въ рукѣ своей имѣя,
Ты твердъ свободы сокрушилъ;
Но научилъ ты въ родѣ и роды,
Какъ могутъ мстити, себя народы:
Ты Карла на судѣ казнилъ.

24.

Низпославъ припаракъ, мглу густую
Свѣтильничъ истинны погралъ;
Личину, что зовутъ святою,
Разсудокъ съ пагубы сорвалъ.
Ужъ Богъ не аритя въ чуждомъ видѣ,
Не метить ужъ онъ своей обидѣ,
Но въ дѣйствіи распростерть своею.
Не спасшему отъ бѣды насъ мнимыхъ,
Отцу предвѣчному всѣхъ зримыхъ
Побѣдную мы пѣснь поемъ.

25.

Внезапу вихри воашумѣли,
Прервавъ спокойство тихихъ водъ,
Свободы гласы такъ загремѣли,
На Вѣче весь течетъ народъ,
Престоль чугуный разрушаетъ,
Самсонъ какъ древле, сотриваетъ
Исполненный коварствъ чертогъ;
Закономъ строить твердь природы:
Великъ, великъ ты, духъ свободы!
Зиждителемъ, какъ самъ есть Богъ.

26.

Сломивъ опору духовной власти,
И твердой мщенія рукою
Владычество расторгъ на части,
Что лжей воздвигнуто святой;
Вънецъ трезубый затмѣвая
И жезлъ священный преломляя,
Проклятій молнии утишилъ;
Смѣлся мнимаго прещенья,
Подъялъ лучъ Лютеръ просвѣщенья,
Съ землею небо помирилъ.

27.

Какъ Сый всегда, въ началѣ вѣка
На вся простерту мочь явилъ,
Себѣ подобна человекъ
Создани съ міромъ, положилъ,
Пространства изъ пустыней мрачныхъ
Исторгъ—и твердыхъ и прозрачныхъ
Первыи сѣмена всѣхъ тѣлъ;
Разруша древию смѣсь, покоилъ;
Стихами онъ все устроилъ,
И солнцу жизнь давать велѣлъ.

28.

И далъ превыспренно стремленье
Скривленному разсудку лжей;
Внезапу мощно потрясеніе
Поверхъ земли ужъ аритя всей;
Въ невѣдомы страны отважно
Летитъ Колумбъ чрезъ поле влажно;
Но чудо Галилей творить
Возмогъ, протекши пустотою,
Зиждительной своей рукою
Свѣтило дневно утвердить.

29.

Такъ духъ свободы, разоряя
Вознесшійся неволи гнѣтъ,
Въ градахъ и селахъ пролетая,
Къ величію онъ всѣхъ зоветъ,
Живить, родить и созидаетъ,
Препоны на пути не знаетъ,
Вождаемъ мужествомъ въ степяхъ;
Нетрепетно съ нимъ разумъ мыслить,
И слово собственностью числить
Невѣжства что развѣтъ прахъ.

30.

Подъ древомъ, зноемъ упоенный,
Господне стадо пастырь пасъ;
Вдругъ новымъ свѣтомъ озаренный,
Вспрянувъ, свободы слышитъ гласъ;
На стадо звѣрь, онъ видитъ, мчится,
На бой съ нимъ ревностно стремится.
Нечуждый вождь брежетъ свое.
О стадѣ сердце не радѣло.
Какъ чуждо было, не жалѣло;
Но нынѣ, нынѣ ты мое.

31.

Господню волю исполняя,
До востока солнца на поляхъ
Скупую ниву раздирая,
Волы томились на браздахъ;
Какъ мачиха къ чуждоутробнымъ
Исходить съ видомъ всегда злобнымъ,
Рабамъ такъ нива мзду даетъ.
Но духъ свободы ниву грѣтъ,
Безслезно поле вмигъ тучнѣтъ;
Себѣ всякъ свѣтъ, себѣ жнѣтъ,

32.

Исполнивъ кругъ дневной
Свободный мужъ домой спѣшитъ;
Невинно сердце; безъ заботы
Въ объятіяхъ супружнихъ спитъ,
Но господа рукою надменна,
Ему для казни подаренна,
Невинныхъ жертвъ чтобъ размножалъ;
Любовію вождаемъ пѣжной,
На сердцѣ бракъ воздвигъ надежный,
Помощницу себѣ избралъ.

33.

Онъ любить и любимъ онъ сю;
Труды—веселье, потъ—роса,
Что жизненностію своею
Плодитъ луга, поля, лѣса,—
Вершинъ блаженства достигаютъ,
Горячностію изъ плодомъ стягчаютъ
Всецѣдра Бога; въ простотѣ
Возбѣдны дойдутъ до кончины,
Не зная алчной десятины,
Птенцевъ что кормить въ наготѣ.

34.

Воззри на безпредѣльно поле,
Гдѣ стерта звѣрства рать стоитъ:
Не скотъ тутъ согнанъ поневолю,
Не жребій мужество дарить,
Не гряда правильно стремится,
Вождемъ тутъ воинъ каждый зрится,
Кончины славной ищетъ онъ.
О воинъ непоколебимый,
Ты есть и былъ непобѣдимый¹⁾,
Твой вождь—свобода, Вашингтонъ!

35.

Двулична бога храмъ закрылся,
Свирѣпство всякъ съ себя сложилъ,
Се богъ торжествъ межъ насъ явился
И въ рогъ веселья вострубилъ.
Стекаются тутъ громки лики,
Но видать грознаго владыки,
Законъ веселью кой даетъ;
Свободы зрится тутъ держава;
Награда тутъ²⁾ едина слава,
Во храмъ безсмертья что ведетъ.

36.

Сплетаясь веселымъ хороводомъ,
Различности³⁾ надменность снявъ,
Се паки подъ лазурнымъ сводомъ
Естественный встаетъ уставъ;
Погрязла въ тинѣ властна скверность;
Едина личная отмѣнность
Вънецъ возможетъ восхитить;
Но не пристрастію державну,
Опытностью лишь⁴⁾ старцу славну,
Его довлѣетъ подарить.

37.

Вънецъ Пиндару возложенный
Художества сотканъ рукой;
Вънецъ наукой сплетенный
Носимъ Невтоновой главой;
Таковъ, себѣ всегда мечтая,
На крыльяхъ разума взлетая,
Духъ бодръ и твердъ возможетъ вся;
По всей вселенной пронесется;
Міровъ до края вознесется:
Предметъ его—суть—мы, не—я.

38.

Но страсти, изощряя злобу,
Враждебный пламенникъ страсутъ;
Кинжалъ воззять себѣ въ утробу
Народы пагубно влекутъ;
Отца на сына воздвигаютъ,
Союзы брачны раздираютъ,
Въ сердца гражданъ лютъ боязнь;
Рождается несътна власти
Алчба, зиждущая напасти,
Что обществу устроить казнь.

39.

Крутится вихремъ громоноснымъ,
Одѣвшись облакомъ густымъ,
Свѣтиломъ озарясь поноснымъ,
Снянемъ ядъ прикрыть святымъ.
Зоя, прельщая, угрожая,
Иль казнь иль мзду ниспосылая—
Се мечъ, се злато: избирай!
И свѣтъ на камени зхидны,
Лестей облекъ въ вооръ миловидный,
Шлетъ молнію изъ края въ край.

40.

Такъ Марій, Сулла, возмутивши
Спокойство шаткое Римлянъ,
Въ сердцахъ пороки возродивши,
Въ наемну рать вмѣстилъ гражданъ
Ругаясь всѣмъ, что есть свято⁵⁾,
И то, что не было отъято,
У Римлянъ откупить возмогъ;
Въсы златые мзды позорной
Предательству, убійству сродной,
Воздвигъ нечестья средь чертогъ.

41.

И се, скончавъ граждански брани
И свѣтъ коварствомъ обольстивъ,
На небо простирая длани,
Тревожну вольность усыпивъ,
Чугунный скиптръ обвивъ цвѣтами,
Народы мнили—правлять сами,
Но Августъ выю ихъ давилъ;
Прикрылъ хотъ звѣрство добротою,
Вождаемъ мягкою душою:
Но царь когда безстрастенъ былъ?

42.

Сей былъ и есть законъ природы,
Неизмѣнимый никогда,
Ему подвластны всѣ народы,

¹⁾ Поправлено карандашомъ: „О воинъ мой непоколебимый“.

²⁾ Поправлено карандашомъ: „Награда ей“.

³⁾ Поправлено карандашомъ: „Различія“.

⁴⁾ Поправлено карандашомъ: „Лишь опытностью“.

⁵⁾ Поправлено карандашомъ: „Ругаясь всѣмъ, что есть тутъ (? это слово неразборчиво) свято“. Но в списке П. А. Радищева сохраняется та же неудачная форма, которая приведена и в нашей рукописи.

ИОННО-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БИБЛИОТЕКА

Незримо править онъ всегда:
Мучительство, стряся предѣлы,
Отравы полны свои стрѣлы,
Въ себя, не вѣдая, вонзаетъ;
Равенство казню возставитъ;
Едину власть, всеяся, раздавитъ;
Обидой право обновитъ.

43.

Дойдетъ до мѣты совершенство,
Въ стезяхъ препоны прескочивъ,
Въ сожитіи найдетъ блаженство,
Несчастныхъ жребій облегчивъ.
И паче солнца возблистаешь,
О вольность, вольность! да скончаешь
Со вѣчностью ты свой полетъ:
Но корень благъ твой истощится,
Свобода въ наглость превратится,
И власти подъ ярмомъ падетъ.

44.

Да не дивимся превращенью,
Которое мы въ свѣтѣ зримъ;
Всёобщему во слѣдъ стремленью
Не косвенно стремглавъ бѣжимъ.
Огонь въ связи со влагой спорить,
Стихія въ насъ стихію бореть,
Начало тлѣньемъ тѣнится дать;
Прекраснѣе въ міру творенье
Въ веселіи начать рожденье
На то, чтобъ только умирать.

45.

О вы! счастливые народы,
Гдѣ случай вольность даровалъ!
Блюдите даръ благой природы,
Въ сердцахъ что вѣчный начерталъ.
Се хлябь разверстая, цвѣтами
Усыпанная, подъ ногами
У васъ, готова васъ сглотить.
Не забывай ни на минуту,
Что крѣпость силъ въ немощность
люту,
Что свѣтъ во тьму льзя претворить.

46.

Къ тебѣ душа моя вспаленна,
Къ тебѣ, словутая страна!
Стремится, гнетомъ гдѣ согбенна
Лежала вольность поправа;
Ликуешь ты! а мы здѣсь страждемъ!
Того жъ, того жъ и мы всѣ жаждемъ;
Примѣръ твой мѣту обнажилъ.
Твоей я славы не причастенъ—
Позволь, коль духъ мой неподвластенъ,
Чтобъ брегъ твой неплать хотя мой
скрылъ!

1) Поправлено карандашомъ: „И“.

Но нѣтъ! гдѣ рокъ, судилъ родиться
Да будетъ томъ и днѣмъ предѣлъ;
Да хладный прахъ мой осѣнится
Величествомъ, что днесъ и пѣлъ;
Да! юноша, вѣзлавый славы,
Пришедъ на гробъ мой обвѣшанный,
Дабы со чувствіемъ вѣшалъ:
„Подъ игомъ власти, сей, рожденный,
„Нося оковы позлащенные,
„Намъ вольность первый прорицалъ“

48.

И будетъ, вслѣдъ гремящей славы
Направи бодрственно полетъ
На западъ, югъ, востокъ державы
Своей ширить предѣлы; но нѣтъ
Тебѣ предѣла ни отколъ,
Въ счастливой ты ликуя долъ,
Гдѣ ты явившись, тамъ твой тронъ.
Отечество мое драгое,
На чреслахъ поясъ силъ, въ поковъ
Въ окрестность ты даешь законъ.

49.

Но далѣ чѣмъ источникъ власти—
Слабѣ членовъ тѣмъ союзъ,
Между собой всѣ чужды части,
Всякъ тяжесть ощущаетъ узъ.
Лучу истекшу отъ свѣтила
Сопутствуетъ и блескъ и сила;
Въ пространствѣ—онъ теряетъ мощь;
Въ ключѣ—хотя не угасаетъ,
Но бѣгъ его ослабѣваетъ;
Ползущаго глотаетъ ночь.

50.

Въ тебѣ, когда союзъ прервется.
Стончаетъ мнѣній крѣпка власть;
Когда закона твердь шатнется,
Власти всякъ будетъ свою часть;
Тогда, растерзано мгновенно,
Тогда сложенъе твое бrenно,
Содрогнись внутренно, падетъ,
Но праха вихри не коснутся,
Животны сѣмена проснутся,
Затускло солнце вновь дастъ свѣтъ.

51.

Изъ нѣдръ развалины огромной,
Среди огней, кровавыхъ рѣкъ,
Средь глада, звѣрства, язвы темной,
Что лютый духъ властей возжегъ—
Возникнуть малыя свѣтила;
Незыблемы свои кормила
Украшать дружба венцемъ,
На пользу всѣхъ ладью направлять,
И волка хищнаго задавить,
Что чтилъ слѣпецъ своимъ отцемъ.

52.

Но не приспѣ еще година,
Не совершились судьбы;
Вдали, вдали еще кончина,
Когда изсякнутъ всѣ беды.
Встрѣчать заклепы тяжкой ночи;
Упруга власть, собравъ всѣ мочи,
Вкатыся, гдѣ потщится пасть,
Да грузнымъ махомъ вся раздавить,
И стражу къ словеси приставить,
Да будетъ горшая напасть.

53.

Влача оковъ несносно бремя,
Въ вертепѣ плача воззреть.
Придетъ возжелѣнно время,
На небо смертность воззоветъ;

Направлено въ стеаку свободой,
Десную ополча природой,
Качнется въ доль—и страхъ предъ ней;
Тогда всѣхъ силъ властей сложенье
Придетъ во изнеможенье—
О день! избранный всѣхъ дней!

54.

Мнѣ слышится ужъ гласъ природы
Начальный гласъ, гласъ Божества,
Трясутся вѣчна мрака своды,
Се мигъ рожденю вѣщества.
Се медленно и въ стройномъ чинѣ
Грядетъ зиждатель наединѣ—
Рекъ—яркій свѣтъ пустилъ свой лучъ,
И ложный плѣна скиптръ поправши,
Сгущенную тьму разогнавши,
Блестящій день родилъ изъ тучъ.

Таков полный первоначальный текст оды, представляемый нашей рукописью.

3.

В нашей рукописи, кроме тех замечаний, которые сделаны Радищевым в печатной книге по поводу этой оды непосредственно перед ее текстом, мы находим чрезвычайно важный вариант этих замечаний Радищева, идущий в рукописи сразу же за полным текстом оды. В этом новом варианте Радищев прямо перечисляет те строфы оды, которые могли бы быть заподозрены,—как говорит автор,—в „нелѣпности мыслей“. После разговора об этой оде, собеседник Радищева подает ему другое свое сочинение и говорит: „Прочтите сію бумагу и скажите мнѣ, не посадятъ ли из-за нее“... Из этих слов ясно видны те опасения, которые испытывал Радищев за судьбу свою и своей книги; видна и та сознательность, с которой Радищев шел на свой литературно-общественный подвиг, представляя себе возможные по следствия своего шага, и все-таки смело делая его, в надежде, что если он найдет „сочувственниковъ“, то сугубый произойдет плод от подъятого им труда¹⁾.

Мы видели выше, что Радищев намеревался дать примеры в разных родах стихосложения. Но в печатном тексте плодом этого намерения была только ода „Вольность“; в рукописи же мы находим кроме того целый большой отрывок, под названием „Твореніе міра. Пѣснословіе“.

После этих предварительных замечаний, мы приводим текст варианта размышлений Радищева об оде „Вольность“ и непосредственно за ним следующий в рукописи текст „Творенія міра“. По смыслу текста, приводимый нами вариант является продолжением находящегося в печатном тексте разговора спутника, в котором тот сообщает, что едет в Петербург, чтобы просить об издании его оды, которую в Москве не хотели печатать. Радищев передает его слова: „Если вамъ не въ тягость будетъ прочесть нѣкоторыя строфы, скажите он мнѣ, подавая бумагу“²⁾. Непосредственно за этой фразой должен следовать новый текст:

¹⁾ Печ. текст, стр. 2—посвящение А. М. Кутузову.

²⁾ Печ. текст, стр. 198, строка 9.

„Читаль я вслухъ: Вольность.—Ода.—За одно названіе отказали мнѣ изданіе сихъ стиховъ, но я очень помню, что въ Наказѣ о сочиненіи новаго уложенія говорится о вольности, и сказано: вольностью называть должно то, что всѣ одинаковымъ повинуются законамъ.—Слѣдовательно, о вольности у насъ говорить вмѣстѣ¹⁾. Сю строфу обвиняли для двухъ причинъ, за стихъ Во свѣтъ рабства тьму претвори. Онъ очень тугъ и труденъ на изреченіе, ради частаго повторенія буквы *т*, и ради сонтиа частаго согласныхъ буквъ; бѣства тьму претв—на десять согласныхъ (три гласныхъ), а на руссiйскомъ языкѣ толико же можно писать сладостно, какъ и на латинскомъ.—Согласенъ... хотя иныя почитали стихъ сей удачнымъ, находя въ негладкости стиха изобразительное выраженіе трудности самого дѣйствія.— Но вотъ другой: Да смятутся отъ гласа твоего царя. Желать смятенія царю есть тоже, что желать ему зла. Чудо.—Но продолжайте безпрепятственно, я не хочу вамъ наскучить всѣми примѣчаніями на стихи мои здѣланными; многія, признаюсь, изъ нихъ справедливы²⁾.—Строфы 3. 4. 6. 7. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 30. 31. 32. 35. 38. 39. 40. 41. 42 прочитавъ, я ему сказал: есть ли вы, государь мой! ни зачѣмъ другимъ ѣдете въ Петербургъ, какъ дабы истребовать дозволеніе на напечатаніе вашихъ стиховъ, то возвратитесь въ покоѣ домой, и потщитесь исправить ихъ отъ двухъ погрѣшностей: отъ нелѣпости выраженій, и сказать вамъ могутъ, отъ нелѣпости мыслей³⁾.—Онъ поглядѣвъ⁴⁾ на меня съ презрѣніемъ: прочтите сію бумагу, и скажите мнѣ, не посадятъ ли и за нее... Читайте: сіе должно было быть, для великаго поста, нѣкоторымъ случаемъ не докончано. Да будетъ оно примѣръ, какъ можно писать не одними ямбами. Развернувъ прочелъ следующее:

Твореніе Міра.

Пѣснословіе.

Хоръ.

Тако предвѣчная мысль, осѣняясь собою и проч.

¹⁾ Текст от слова „Вольность“ до „...вмѣстѣ“ имеется в изданіи 1790 г. и непосредственно предшествует там тексту оды „Вольность“. Как видно из следующей далее фразы „Сю строфу обвиняли...“, несомненно, пред этой фразой должна была находиться первая строфа оды (опущенная в нашем варианте, потому что ранее был дан весь текст оды полностью).

²⁾ Текст от слов: „Сю строфу“ до „справедливы“ также имеется в изданіи 1790 г., где он дан в видѣ примечанія к 1-й строфѣ, но с небольшими вариантами, именно: вместо „какъ и на Латинскомъ“—в печ. т. „какъ и на Итальянскомъ“. После слова „зла“—печатный текст имеет такую форму: „желать ему зла; слѣдовательно... Но я не хочу“ (и далее как в рукописи). После „справедливы“—в печ. т. следует фраза „Позвольте, чтобы я вашимъ былъ чтецомъ“.— Но отсутствію в этой части текста этой последней фразы и вследствие нахождения здесь слов „Но продолжайте безпрепятственно“, эта часть варианта (то есть от слов „Сю строфу“) примыкает к цензурной рукописи, где также имеются эти отличія от печатного текста (Щеголев, стр. 275). Слов, поставленных в скобки (три гласных), в нашей рукописи нѣтъ, и они вставлены нами для смысла, по сравненію с печатным текстом.

³⁾ Относительно оды „Вольность“ мы будем говорить в особой работѣ, где рассмотрим как вышеприведенные намеки Радищева, так и вообще все обстоятельство, по поводу которых эта ода была написана.

⁴⁾ Может быть здесь описка: вероятно, следует „поглядѣлъ“

Вы уже улыбаться начинаете, вамъ кажется уже, что читаете Телемахиду. Но смѣйтесь какъ хотите; чудище обло, огромно, стризебно¹⁾ и лаяя не столь дурной стихъ. Но о семъ теперь не къ стате, продолжайте и смѣйтесь.

Твореніе Міра.

Пѣсно-словіе.

Хоръ.

Тако предвѣчная мысль, осѣняясь со-
бою
И своего всемогущества во глубинѣ,
Тако въшала, егда всѣ покрытыя мглою
Первенственные сѣмена, опочивъ въ
тишинѣ,
Дѣйствія чужды и жизни восторга ле-
жали,
Времена²⁾ круга міры когда не намѣ-
ряли.

Богъ.

Единъ повсюду и предвѣченъ,
Всесиленъ Богъ и безконеченъ;
Всегда я буду, емь и былъ,
Единъ вездѣ вся исполняя,
Себя въ себѣ я заключаю,
Днесь всѣ во мнѣ, во всемъ я
жилъ.

Но неужель всегда пребуду,
Всесиленъ мыслью, мыслью Богъ?
И въ недрахъ божества забуду
То, что бѣ начати я возмогъ?
Или любовь моя блаженна
Во мнѣ пребудеть невозженна,
Безгласна, томна, лишь во мнѣ
Всевѣчна жаръ ея пылая,
Ужель безплодно истлевая
Пребудеть божество во днѣ?
Разширимъ себѣ предѣлы,
Тьмой умножимъ божество,
Совершимъ совѣта мѣры,
Да явится вещество.

Хоръ.

Вострепещи днесь, упругое древле ни-
что;
Ветхи се деньми грядетъ во могуще-
ствѣ стройномъ,
Да сокрушитъ навсегда смерть въ по-
койномъ царствѣ,
Всюду да будутъ жизнь, радость, утѣ-
хи.

Богъ.

Но что
Начнемъ?—
Речемъ—

Возлюбленное слово,
О первенецъ меня,
Ты искони готово,
Во мнѣ я ты, ты я.

Тебѣ я на всегда вручаю
Владычество и власть мою,
Въ тебѣ любовь я заклю-
чаю,

Тобою Міръ да сотворю.

Исполнъ божественны обѣты,
Яви твореньемъ божество,
Исполнъ премудрости совѣты,
Твори жизнь, силу, вещество.

Тобою я прославлюсь,
Бездѣйствія избавлюсь,
Ты то явишь, что я возмогъ,
А я въ себѣ почию Богъ.

Хоръ.

Мертвыя днесь развѣвайтесь сѣны,
Жизни начало зжидитель дастъ;
Въ жизни всегдашней не будетъ пре-
мны,
Мрачна пустыня познаетъ что свѣтъ.

Слово.

Начнемъ творить—что медлю я?
Иль воля вѣчнаго безсилна?
Иль мысль его не избыльна?
Иль зрѣть препону власть моя?

Часть хора.

Нѣжная любовь тревожитъ
Безконечныя судьбы,
И гаданье скорби множитъ
Міра будущи бѣды.

¹⁾ „Стризебно“—в рукописи, и хотя в эпиграфе на заглавном листе „Путешествія“ Радищев, цитируя тот же стих, говорит „стоазбно“, но и в „Памятникъ дактилохоренческому витязю“ этотъ стихъ цитируется такъ: „Чуд(ов)ище обло, озорно, огромно, съ триазбно и лаяя“ („Собрание оставшихся сочиненій покойнаго А. Н. Радищева“, часть IV, М. 1811 года, стр. 81, или „Полное собр. сочин.“, ред. Каллаша, т. II, стр. 419).

²⁾ Может быть, нужно „времени“?

Часть хора.

Отверзись мрачная пучина,
Грядущаго пади покровъ,
Явися будуща судьбина,
Предѣль тебѣ положить Богъ!

Хоръ.

Се исчезаетъ предъ взоромъ все аря-
щимъ
Вѣка не суща есть темнота,
Се знаменуютъ рокъ, словомъ горя-
щимъ
Мира грядуща всевѣчный¹⁾ уста.

Богъ.

Единымъ взоромъ все объемля,
Что было, есть и можетъ быть,
Закоу моему не внемля
Во страхъ господа ходить,
Я зрю, что тварь не пожелаетъ,
Кичася гордостью замечаетъ,
Что всей она природы царь.
О брэнна и не мощна тварь!
Почто противъ отца деразаетъ?
Или ослушна быти чаешь
Блаженноу сама собой?
Я могъ бы днесъ предъупрежда
И мысль мою перемѣня,
Быть твари повелѣтъ иной.
Не ярый слабостей я мститель,
Отецъ всецѣдый и зиждатель:
Любовію къ тебѣ горю.
Чуждаться будешь совершенства,
Но корень твоего блаженства
Въ тебѣ неотлѣненъ сотворю.

Часть хора.

О любовь несказанна,
Прежде вѣка избранна,
Въ тебѣ жизнь и начало
Въ мірѣ все воспріяло.

Хоръ.

Взора пространство пустыни всѣ съ
трепетомъ вѣчна
Въ стретенье радостнымъ ликомъ
идуть,
Бездну безъ вещей зыблетъ днесъ мочь
безконечна,
Мертвыя жизнь сѣмена съ нетерпѣн-
емъ ждуть.

Часть хора.

Божественна утроба рдѣетъ
Клубы²⁾ въ рожденіе вещество,
Любовь начальна сѣмь грѣетъ,
Твореньемъ узришь божество.

Слово.

Мысль благая совершайся,
И превѣчно исполняйся
Отца мудрости совѣтъ,
Да окрѣпнетъ втвердь пучина,
Не измѣрима равнина,
Гдѣ пространство днесъ живеть..
Оживись тѣлесно сѣмь,
Прими начало время
И движеніе вещество,
Твердость тѣломъ
Жизнь движеніемъ—
Се вѣщаетъ божество.

— Конца нѣтъ. — Что жъ вы скажете о употребленіи въ од-
номъ сочиненіи разнаго рода стиховъ? — Но сіе смѣшеніе не
только прилично малому и для пѣнія опредѣленному сти-
хотворенію, то³⁾ удачно будетъ и въ эпопен. Не мой сей
есть совѣтъ; но Мармонтелевъ. — Я, собравъ мои мысли, хо-
тѣлъ ему на его стихи сказать нѣчто, можетъ быть ему и
не пріятное. Но колокольчикъ на дугѣ возвѣстилъ мнѣ, что
въ дорогѣ складнѣе поспѣшать на почтовыхъ клячахъ,
оставляя Пегаса въ парнасской конюшнѣ, и для того я по-
спѣшно съ новомоднымъ моимъ стихоплетчикомъ прости-
ся⁴⁾.

¹⁾ Вероятно следуетъ: „всецѣдный“.

²⁾ Не следуетъ ли: „Клубы“?

³⁾ Не следуетъ ли „но“?

⁴⁾ Окончание этого варианта подобно окончанию печатного текста главы
„Творъ“, где произведена ода „Вольность“ (стр. 207). Там, за последней ее стро-
фой, следуютъ такіе заключительные слова: „Вотъ и конецъ, сказалъ мнѣ по-
номодной стихотворецъ. — Я очень тому порадовался и хотѣлъ было ему ска-
зать, можетъ быть, не пріятное на стихи его возраженіе, но колокольчикъ воз-
вѣстилъ мнѣ, что в дорогѣ складнѣе поспѣшать на почтовыхъ клячахъ, нежели
карапкаться на пегаса, когда онъ съ норовомъ“.

Новый радищевский текст—„Твореніе міра“ представляется нам имеющим значение в различных отношениях. Вопросы о производящих причинах бытия весьма интересовали Радищева, и идеи, подобные тем, которые выражены в „Твореніи міра“, можно найти и в других местах его сочинений, установив таким образом родство с ними этого нового радищевского произведения. Так, в печатном тексте „Путешествія“, в „Словѣ о Ломоносовѣ“, Радищев, говоря про действие „великой души надъ душами современниковъ или потомковъ“, сопоставляет с этим картину творения. „Прежде начатія временъ,—говорит Радищев,—когда не было бытію опоры, и все терялося въ вѣчности и неизмѣримости, все Источнику силъ возможно было; вся красота вселенныя существовала въ его мысли, но дѣйствія не было, не было начала. И се рука всемогущая, толкнувъ вещественность въ пространство, дала ей движеніе. Солнце возсіяло. луна пріяла свѣтъ, и тѣlesa, крутящіяся горѣ, образовались. Первый махъ въ твореніи всесилень былъ; вся чудесность міра, вся его красота суть только слѣдствія“¹⁾.

В трактате „О человѣкѣ, о его смертности и безсмертіи“ Радищев не раз касается этой же темы. Так, в одном месте он пишет: „Локкъ или его истолкователь, жедая изъяснить созданіе, говоритъ: вообразимъ себѣ пустое пространство и всемогущество, вращающееся подъ нимъ, рекло: да раздѣлится оно и отвердѣтъ! и се явились непроницаемость, протяженность, образъ. Дополнимъ сію стихотворную и метафизическую картину и вмѣсто слова явимъ мысль всемогущую. — О дерзновеніе! изрекать словомъ, звукомъ, збыленіемъ воздуха, мысль предвѣчную!—Да будетъ сила въ каждой точкѣ пространства! и се дѣйствіе началось“²⁾.

Радищев начинает „Твореніе міра“ изображеніем того, как вѣчала „Предвѣчная мысль“, когда „первенственныя сѣмена, опочивъ въ тишинѣ, дѣйствія чужды и жизни восторга, лежали“. В рассужденіи „О человѣкѣ“ Радищев излагает семенную теорию, отголоском которой является и в „Твореніи міра“ это упоминаніе о „первенственныхъ сѣменахъ“.

В другом месте трактата „О человѣкѣ“ Радищев пишет: „Мнѣ кажутся аллегоріи тѣхъ народовъ весьма глубокомысленными, кои представляютъ первую причину всяческаго бытія произведшее прежде всего слово, которое, одаренное всесиліемъ Всевышняго, раздѣлило стихіи и міръ устроило. Если оно въ человѣкѣ столь чудодѣтельно, то что возможно рѣчь Предвѣчнаго?“³⁾

Весьма возможно, что изображенная Радищевым картина творения міра и заимствована из каких-либо аллегорій, о которых он здесь упоминает. Знакомство с такими аллегоріями проявилось уже и в тогдашней нашей литературѣ, незадолго до выхода „Путешествія“: в журнале „Растущій Виноградъ“, 1786 г., мы находим „пѣснопловіе“ же, под названіем „О Богѣ и вселенной“, приписанное Орфею, с мифическим именем котораго связано начальное развитіе греческой

¹⁾ Печ. текст, стр. 253—254.

²⁾ „Полное собраніе сочиненій Радищева“, ред. Каллаша, т. II, стр. 202

³⁾ Там же, стр. 278—279.

поэзии; оно было переведено с греческого Л. П. Сичкаревым¹⁾. Непосредственных точек соприкосновения с этим именно „пѣснословіемъ“ в сочинении Радищева нет, но оно указывает между прочим на то, что самый оригинальный термин для обозначения внешней формы сочинения—„пѣснословіе“ был принят в тогдашней литературе. Сам Радищев определяет этот термин, как можно было видеть из приведенных выше слов, следующих непосредственно после текста „Творенія міра“,—в качестве „малаго, для пѣнія опредѣленнаго стихотворенія“. В печатном тексте „Путешествія“ Радищев употребляет этот же термин, говоря о пении слепым стариком народной песни об Алексее, человеке Божиим²⁾.

Но помимо того значения, которое представляет „Твореніе міра“, для характеристики метафизических идей Радищева, оно интересно и с внешней стороны, как попытка искания новых форм стиха. Несмотря даже на многие неудачные выражения, порою синтаксически неправильные и затуманивающие мысль автора, „Твореніе міра“ свидетельствует все о том же стремлении вырабатывать новые внешние формы, которое не раз проявлялось у Радищева: теоретически в его „Памятникъ дактилохоренческому витязю“, практически—в некоторых известных его стихотворениях, которые, с этой точки зрения ценились даже Пушкиным.

Мы хотели бы сказать еще несколько слов также о тех мотивах, по которым „Твореніе міра“, весьма интересное по замыслу, не было включено в печатный текст „Путешествія“. Мы склонны думать, что, не помещая сюда этого сочинения, Радищев руководился все теми же соображениями избежания лишних цензурных затруднений. Автору „Путешествія“ приходилось писать под двуким взглядом цензуры—и светской, и духовной. „Твореніе міра“ трактовало такую тему, которая близко касалась взоров духовных властей; всякое сочинение, относившееся к таким вопросам, должно было идти, кроме светской, еще и в духовную цензуру, а напечатанное без цензуры, несомненно, обратило бы на себя чьи нужно блящие очи. Это усложнило бы и без того трудное дело издания „Путешествія“ и могло бы вызвать лишние неприятные последствия со стороны духовного начальства. Что у Радищева были такие сомнения, видно из приведенных выше его слов по поводу второй, переданной ему его спутником бумаги („Твореніе міра“): „не посадят ли и за нее“... Намек на то, что сочинение не было закончено „для великаго поста“, также как будто указывает на скользкость, с цензурной точки зрения, трактуемой в „Твореніи міра“ темы. В намерении избежать излишних тяжелых последствий и лежит, вероятно, причина невключения в печатный текст „Творенія міра“, которое, с точки зрения Радищева, пожалуй, могло бы даже несколько оживить текст „Путешествія“, к чему Радищев стремился, включая в него, даже после цензуры, некоторые дополнительные главы и эпизоды.

В. Семенчиков.

¹⁾ „Растущій Виноградъ“ 1786 г., августъ, стр. 34—40.

²⁾ „Путешествіе“, стр. 226.

Декабрист Ивашев и его семья.

Из семейной хроники¹⁾.

Внучка декабриста и дочь одной из виднейших деятельниц женского освободительного движения 60-х годов, я, как участница революционного движения 70—80-х годов, являюсь представительницей третьего поколения революционно-настроенной семьи, о старших членах которой я, главным образом, и хочу рассказать, что помню и знаю.

О. К. Буланова.

1) II. 1921 г.
Петроград.

I.

Дед мой, декабрист Василий Петрович Ивашев, был сыном богатого помещика Симбирской губернии, Петра Никифоровича Ивашева. Сам Петр Никифорович был незаурядной личностью. В течение восьми лет он состоял начальником штаба фельдмаршала, графа А. В. Суворова, участвовал в его походах и пользовался таким доверием и расположением фельдмаршала, что тот вверил ему на сохранение свои записки. Выйдя в отставку в чине генерал-аншефа, Петр Никифорович поселился в Ундорах, прекрасном, благоустроенном имении жены своей Веры Александровны, рожденной Толстой. Там он устроил большую суконную фабрику и разные другие заводы и фабрики и развил обширное хлебное хозяйство. Со свойственной ему деловитостью, стремлением к нововведениям и улучшениям, клявшимся к общественной пользе, он принимал деятельное участие в разных сельско-хозяйственных обществах, как отечественных, так и иностранных (сохранился диплом Лейпцигского Экономического Общества об избрании его 14 марта 1814 г. в почетные члены), вводил в свое хозяйство улучшен-

¹⁾ При составлении настоящей биографии я пользовалась семейным архивом, доставшимся мне от матери моей М. В. Трубиновой, рожденной Ивашевой, и заключавшем переписку деда с его родителями и сестрами. Кроме того, в моем распоряжении находились материалы для биографии деда моего и всей Ивашевской семьи, собранные покойным Г. Ф. Юнкером, который много лет работал над задуманной биографией, но за смертью не успел закончить свой труд. *О. Б.*

ные машины и в 1838 г., как видно из переписки с сыном, был поглощен опытами над изобретенной им самим жатвенной машиной.

У Петра Никифоровича было пятеро детей: единственный сын, Василий Петрович, и четыре дочери: 1) Елизавета, в замужестве за Петром Михайловичем Языковым (братом поэта Н. М. Языкова), 2) Екатерина—за камер-юнкером, кн. С. Ю. Хованским, 3) Мария (глухонемая)—за Л. В. Дроздовским и 4) Александра—за помещиком Александром Ивановичем Ермоловым.

Василий Петрович, ротмистр кавалергардского полка, служил адъютантом при главнокомандующем Южной Армией, князе Витгенштейне; увлеченный либеральными стремлениями той эпохи, он вступил в члены тайного общества—„Союза Благоденствия“,—основанного в Тульчине, при главной квартире, в котором участвовал весь цвет высшей аристократии, все лучшие люди из интеллигенции того времени.

В день 14 декабря Ивашева не было в Петербурге; он еще с февраля 1825-го года находился в отпуску в Симбирской губернии у своих родителей. Когда его назвал Комаров, последовал приказ об его аресте, но приказ этот уже не застал его в Симбирске.

Повидимому, узнав о разыгравшихся в Петербурге событиях, он решил ехать на место службы в Тульчин, куда и выехал 14 января.

Просадом через Москву он был арестован и 26 января доставлен в Петропавловскую крепость при записке государя: „Содержать хорошо и посадить по усмотрению“.

Ивашев не отрицал своей солидарности с товарищами и подвергся общей с другими декабристами участи. Согласно сентенции Верховного уголовного суда от 12 июля 1826 года, он, как преступник II-го разряда („участвовал в умысле на цареубийство согласием и принадлежал к тайному обществу со знанием цели“), был осужден на политическую смерть с положением головы на плаху и к бессмысленно в каторжную работу, каковое наказание, по конфирмации Николая I-го, было заменено 20-летней каторгой с последующим поселением.

Повидимому, еще до отъезда из Симбирска Ивашев признался родителям о своем участии в тайном обществе. Так заставляет думать, с одной стороны, то обстоятельство, что отец, ввиду грозившей любимому сыну опасности, поехал вместе с ним в Москву, а после его ареста, следом за ним, в Петербург, откуда уже 3-го февраля пишет жене; а с другой стороны, из слов сестры Василия Петровича—Лизы Языковой, которая в письме от 6-го февраля говорит о своем отчаянии „lors de notre cruelle séparation“ (со времени нашего ужасного расставания).

Ивашеву довольно скоро разрешили переписываться с родителями, и уже 11-го февраля он мог написать матери, которая уведомляет мужа, что письмо Василия доставило ей чрезвычайную радость.

Письма В. П. из крепости рассчитаны на прочтение их начальством и потому не могут служить показателем его действительного настроения, но одна записочка, повидимому, переданная непосредственно отцу, заслуживает внимания. В. П. пишет:

„Не зная степени своей виновности и в то же время желая убедить судей в своей полной искренности, я признавался в вещах, о которых не имел понятия до самого моего задержания“.

Во время пребывания Василия Петровича в крепости,—вероятно

в промежуток между приговором и приведением его в исполнение, что произошло лишь в марте 1827 года,—отец его был в Петербурге и получил разрешение на свидания, что видно из его слов в позднейшем письме к сыну от 26 марта:

„По расставании с тобой, как ни спешил, не мог прежде 1 марта оставить Петербург, где я для тебя и для собственного сердца был, может быть, сколько-нибудь полезен“, а также из письма Елизаветы Петровны Языковой к брату от 25 марта, где она пишет: „Мы имели счастье обнять папеньку назад тому около двух недель и до сих пор еще не можем наговориться; ты угадываешь, кто предмет наших разговоров. Он имел счастье тебя видеть, и так сколь интересно для нас каждое его слово“.

Вести Василия Петровича должны были через Казань, и было испрошено дозволение видиться с ним дорогой для матери и сестер, которые для этого выехали в Казань и двое суток дожидались у заставы. Но маршрут почему-то был изменен, Василия Петровича провозили через Вятку, так что родные лишились и этого утешения.

В семье Ивашевых существовали исключительные отношения: родители и дети были связаны между собою нежнейшей любовью и дружбой. Горе семьи, обожавшей единственного сына и брата, не поддается описанию. С этой минуты все помыслы, вся жизнь ее направлена на облегчение участи несчастного сына, к которому, как неоднократно подчеркивают родители в письмах, отношение их ни мало не изменилось¹⁾.

Глубоко и искренно верующие люди, родители искали поддержки в религии, с христианским смирением переносили удары судьбы и стремились примером своим воздействовать на сына и вызвать в нем такую же безропотную покорность воле Божьей. Отец и мать пишут сыну о своей уверенности, что ничто не может изменить его прекрасных нравственных качеств, и с полным уважением относятся к его сотоварищам. Отец и, в особенности, мать, изнывавшая в тоске по своему любимце, боялся лишь, чтобы отчаянье не овладело душою их Basil'я, чтобы он не упал духом под тяжестью выпавшего ему на долю испытания и не решился покончить с собой, а потому постоянно указывают ему на его долг, как христианина, смиренно нести свой крест.

Сами же старики мечтали только об одном, чтобы власти разрешили им разделить участь сына. Они готовы на все жертвы, лишь бы быть с ним. В трогательных выражениях Вера Александровна пишет: „Мать твоя желает жить лишь для того, чтобы разделить твою долю“. Или в другом месте: „Единственное счастье, на которое я уповаю, это соединиться с моим возлюбленным сыном, прожить остаток дней моих с тобою. Возможно ли, чтобы матери отказали в желании последовать за сыном?“ Отец в письме от 25 марта говорит то же своим неуклюжим русским языком: „Может быть, через некоторое время умиосердится император и нам даст позволение приехать к тебе на безразлучное соединение, так как дозволено нынче почтенным супругам быть вместе с мужьями. Мы готовы все привилегии

¹⁾ В письме от 25 марта отец говорит: „Ты сам знаешь нашу беспредельную к тебе привязанность, которую умножило твое несчастье, если могла умножиться она“...

В письме отца от 26 марта обращение: „Друг и сын всегда мне милый“.

приватной жизни снять с себя и содержать себя такою работою, какую Государю предназначить будет угодно“...

Горе родителей еще усугублялось полной неизвестностью относительно того, куда отправлен сын; дни шли за днями, а кроме короткого известия сперва от Бенкендорфа, а затем от Иркутского губернатора, сообщавших, что сын их здоров и получил все ему посланное, они более полугода никаких сведений не имели. В сдержанного и покорного воле Провидения старика Ивашева вырываются такие слова: „Но мы не знаем, какой угол в пространном государстве определен тебе, один ли ты или есть с кем перемолвить“... и 22 июля: „Мы дышим одной надеждой, что, может, когда тебе позволят нас утешить строчкой твоей руки, тогда только мы удостоверимся, что ты, хотя и в дальнем расстоянии, но в мире сем находишься“. Старик даже допускает, что „может быть, назначено сколько времени пропускать, не давая знать о существовании даже“.

Только 24 декабря семья была обрадована получением первого письма от г-жи Нарышкиной, через которую (позднее через княгиню М. Н. Волконскую) устанавливается постоянная связь с сыном. Нарышкина обещает и впредь осведомлять о здоровье Василия Петровича и сообщает, что он ни в чем не нуждается и исправно получает от родных письма. 16 января 1828 г. Вера Александровна пишет, что отец едет в Казань видется с Фон-Визинной, отправляющейся к мужу в Сибирь, и передаст ей письма и посылку для Василия Петровича. Отец рассказывает позднее, что видел „свою почтенную женщину, которая, оставив детей, едет дышать одним воздухом со своим другом и, ежели можно, более с ним не расставаться. Горесть и радость попеременно являются выразительными чертами на ангельском ее лице. Путь ее пззурил“.

С этих пор устанавливается частая отправка сыну всяких вещей, провизии, табаку, книг, а Лиза, любимая сестра Василия Петровича, возбуждает даже вопрос о посылке ему рояля, что впоследствии и было исполнено. Василий Петрович был хороший музыкант и недурно рисовал акварелью, — у нас в семье сохранился альбом его рисунков, изображающих Петровский завод, отдельные казематы и сценки из жизни ссыльных декабристов. Та же Лиза Языкова просит в письме Волконскую передавать ей всякое, даже случайно вырвавшееся у Василия Петровича, пожелание, которое он, по своей крайней деликатности, может и не сообщить родным.

Письма шли через III-е отделение, и, очевидно, в них разрешалось только сообщать о здоровье и личных делах. Только в 1828 году старик Ивашев упоминает о происходившей войне с турками и радуясь успехам нашей армии, окрыляется надеждой на разные возможности, возбуждения ходатайства о переселении их к сыну. Все письма кончаются увещаниями о покорности судьбе.

II.

Старики не даром все время тревожились за душевное состояние своего возлюбленного Василя.

Как известно, декабристы в июне 1830 года были переведены из Читы в Петровский завод, где специально для них была выстроена тюрьма. Декабрист Басаргин, особенно друживший с Василием Петровичем и сохранивший эту дружбу на всю жизнь, рассказывает в своих

записках о состоянии, в каком находился последний перед выездом из Читы: „Я, кажется, упоминал, что Ивашев, Муханов и Завалишин, по собственной просьбе, остались в маленьком каземате; я нередко бывал у них и просиживал по несколько часов. Ивашев, как я замечал, никак не мог привыкнуть к своему настоящему положению и тяготился им. Мы часто об этом говорили между собою, и я старался, сколько возможно, поддержать его и впустить ему более твердости. Ничего не помогало. Он был грустен, мрачен, задумчив. Раз как то на работе Муханов отвел меня в сторону и сказал, что Ивашев готовился сделать большую глупость, которая может стоить ему жизни, и что он нарочно решился мне сказать об этом, чтобы я попробовал отговорить его. Вот в чем состояло дело. Ивашев вошел в сношения с каким-то бегло-ссылным рабочим, который обещался провести его за китайскую границу. Этот беглый завтра же должен был прийти к тыну их каземата. Тын уже был подпилен, и место для выхода приготовлено. По выходе из острога они должны были отправиться в ближайший лес, где, по словам беглого, было уже приготовлено подземельное жилище, в котором они должны были скрываться, покуда не прекратятся поиски, а тогда отправиться к китайской границе. Этот план был так неблагоприятен, так нелеп, что я удивился, как мог Ивашев согласиться на него. Не было почти никакого сомнения, что человек, соблазненный его побегом, имел какие-нибудь иные намерения: или выдать его начальству и тем заслужить себе прощение, или безнаказанно убить его и завладеть находящимися у него деньгами; я же знал, что они у него были: приехавши в Читу, он не объявил коменданту 1 000 рублей, которые привез с собой, и, сверх того, тайным образом получил еще 500 рублей.

„После работы я отправился к Ивашеву и сказал, что мне известно его намерение. Он очень спокойно отвечал, что с моей стороны было бы напрасным трудом его отклонять, что он твердо решился. На все мои доводы и удержания о неоправданности его предприятия и об опасности, ему угрожающей, он отвечал, что далее оставаться в каземате он не в состоянии, что лучше умереть, чем жить таким образом. Я не знал, что делать. Время было так коротко, и оставалось только одно средство остановить его — дать знать коменданту. Но быть доносчиком на своего товарища, друга — ужасно! Наконец, я решительно сказал ему: „Послушай, Ивашев, именем нашей дружбы прошу тебя отложить исполнение твоего намерения на одну только неделю. В эту неделю обсудим хорошенько твоё предприятие, взвесим хладнокровно *le pour et le contre*, и если ты останешься при тех же мыслях, то обещаю тебе не препятствовать“. — „А если я не соглашусь откладывать на неделю“, возразил он. — „Если не согласишься, — воскликнул я с жаром, — ты заставишь меня сделать из любви к тебе то, чем я гнушаюсь, — сейчас попрошу свидания с комендантом и расскажу ему все“. Муханов меня поддерживал. Наконец, Ивашев дал нам слово подождать неделю. На третий день после этого разговора я опять отправился к Ивашеву, и мы толковали об его намерении. Я перечислял ему все опасности, все невероятности успеха. Он настаивал на своем, как вдруг входит офицер и говорит, что его требует к себе комендант. Ивашев посмотрел на меня, по виду мое спокойствие, с чувством сказал мне: „Прости меня, друг Басаргин, в минутном подозрении. Но что бы это значило? Не понимаю“.

Комендант передал ему письмо, заключавшее в себе предложе-

ние, коренным образом изменявшее его судьбу и требовавшее немедленного ответа, и мысли Василия Петровича были совершенно отвлечены от замыслившегося побега.

Что же было в этом важном письме? Что случилось за это время в родном Симбирске? Мать Василия Петровича, проводившая зиму 1830 г. в Петербурге с двумя младшими дочерьми, получила письмо от француженки, Le Danti, жившей долго гувернанткой в их доме. Г-жа Ледантю писала, что лишь недавно узнала о любви своей младшей дочери Камиллы к молодому Ивашеву. Камилла, в детстве жившая с матерью у Ивашевых, знала хорошо всю семью и влюбилась в блестящего кавалергарда, но разница в их общественном положении заставила ее заглушить в себе зарождавшееся чувство. Но вот наступило 14 декабря. Камилла, находившаяся в это время в Петербурге, с ужасом следила за участью декабристов, и любовь ее снова разгорается. Образ страдающего Basil'я стоит неотступно перед ее глазами, она с умилением думает о самоотверженных женах, помогающих разделить судьбу мужей и следующих за ними на каторгу. Потрясенная своими переживаниями, Камилла серьезно заболевает и, наконец, решает открыть свою душу в тревожащей матери. „Дорогая мама,— говорит она,— одна француженка поехала за товарищем несчастного Basil'я в Сибирь; позволите ли вы мне поехать за тем, кого я долго считала, что люблю лишь как брата. Найдете ли вы силы расстаться с дочерью, если она сможет облегчить судьбу Basil'я?“ Мать отвечала, что она согласна, если это вернет здоровье дочери и даст ей счастье, но что раньше надо узнать, захочет ли этого сам Ивашев и его родители. Терзаемая страхом за дочь, которая продолжала таить на ее глазах, г-жа Ледантю решает сообщить обо всем матери Ивашева, оговариваясь, что лишь горестная перемена в судьбе Василия Петровича позволила ей открыть сердечную тайну своей дочери. Получив это письмо, старики Ивашевы страшно обрадовались, видя в случившемся перет Providence, и 1 мая Вера Александровна написала сыну, приложив копию письма г-жи Ледантю, просила облупить хорошенько вопрос и написать свое решение, чтобы тогда старики могли начать хлопоты о браке. Вера Александровна пишет, что, „как ей кажется, Камилла правилась сыну, и хотя теперь она очень подурнела, благодаря горю и болезни, но ведь это все произошло из-за него же“.

Еще раньше, 12-го апреля. Лиза Языкова, узнавшая о письме г-жи Ледантю и живо чувствующая всю щекотливость положения молодой девушки, задает брату вопрос в следующей форме.

Перебирая старые бумаги, она нашла шуточное, посвященное ему в былые беззаботные годы стихотворение ¹⁾:

„Сменять решил свободу я к радости друзей—
И жизнь холостую на жеребий мужей.
Нет, не шучу, нет, не шучу,—
Холостяком быть не хочу!“

* * *

Свой выбор я уже сделал,
Гадают пусть другие.

1) Привожу его в переводе с французского. О. Б.

Для беленькой брюнетки,
Смазливенькой лицом.
Нет, не шучу, нет, не шучу,
Холостяком быть не хочу!

* * *

Но вот еще другая
Красавица девица,
Что прие белокура,
Что вешний цвет, свежа.
Нет, не шучу, нет, не шучу,
Холостяком быть не хочу.

* * *

Имеется и третья:
Чудовище хромое,
Со впальми глазами,
Как смерть бледна она.
О, нет, нет, нет, ее боюсь,
Холостяком я остаюсь.

„Думаю, что ты согласишься,—пишет брату Языкова, — о ком идет речь в первых двух куплетах: первая из них давно уже замужем, а вторая—белокурая прие,—мила и добра по-прежнему. Мне пришлось в голову, дорогой брат, что если бы эта молодая особа питала к тебе безграничную привязанность и считала своим единственным счастьем быть с тобой и делить твоё несчастье, как бы ты отнесся к этому? Сообщи твой ответ князю Волконскому для передачи мне через его супругу. Я отсюда вижу твою снисходительную улыбку, слышу, как ты говоришь: „Но Лиза с ума сошла!“ Брани меня, сколько хочешь, но исполни мой каприз“.

Вот эти-то письма и передал комендант взволнованному неожиданностью Ивашеву. Басаргин рассказывает далее:

„Девушку Лиданту Ивашев очень хорошо знал, она воспитывалась с его сестрами у них в доме и очень ему нравилась, но никогда он не помышлял жениться на ней. Вопрос о том, будет ли она счастлива с ним в его теперешнем положении, сумеет ли он вознаградить ее своею привязанностью за принесенную жертву, не станет ли она впоследствии раскапываться,—очень его тревожил. Мы с Мухановым знали его кроткий характер, все его прекрасные качества, были уверены, что оба они будут счастливы, и потому решительно советовали ему согласиться. Наконец, он решился принять предложение“.

„Сын Ваш,—пишет родителям княгини Волконская,—просит передать его великодушной подруге, что она никогда не покидала сердца того, кому отдала свое, что он ее обожает и ждет, как своего ангела-хранителя“.

От себя Волконская прибавляет, что с нетерпением будет поднимать свою будущую подругу и обещает быть ей верной и нежной сестрой.

Старинки привелись за хлопоты, которые увенчались успехом, и 28 сентября 1880 г. Бенкендорф уведомляет Петра Никифоровича с Высочайшем соизволением на брак его сына:

М. Г. Петр Никифорович! Врученное мне Вашим Превосходительством всеподданнейшее письмо девицы К. Л. на Высочайшее имя

3210.

о дозволении ей сочетаться браком с сыном Ванним, я имел счастье докладывать Государю Императору, и Е. И. В. собственноручно написать изволил на докладной записке моей по сему предмету следующее: „Ежели точно родители ее и Иванова на то согласны, то с моей стороны, конечно, не будет препятствий.“

„Объявив кому следует и т. д., долгом считаю уведомить Вас, М. Г. С истинным и пр. Бенкендорф“.

В следующем письме от 16 ноября княгиня Волконская пишет родителям, что Василий Петрович получил это разрешение. Далее она говорит, что будущей жене Иванова необходимо иметь собственное помещение, что все жены декабристов построили себе домики, что ей таковой обошелся в 5.000, что свекровь высылает ей ежегодно 10 тысяч, и этого едва только хватает на жизнь, благодаря дороговизне предметов первой необходимости.

III.

Но Василию Петровичу еще долго пришлось ждать свою невесту.

Сперва Камиллу задержала в Москве холера, при чем она отсиживается от страшной болезни, заперевшись безвыходно в Ивашевском доме под попечительным надзором доктора Мандолини.

13210.
Потом, по переезде ее с Ивашевской семьей в Симбирск, приходится выжидать снятия карантинных. Затем она позвала проститься со своей сестрой, Сидонией Григорович (матерью известного писателя Д. В. Григоровича) и, наконец, вернувшись в Удору, дождалась приезда молодой четы Хованских, с которыми ей хотелось познакомиться. Во время пребывания Ивашевых в Петербурге, вторая сестра его, тихая и мечтательная Екатерина, вышла замуж за камер-юнкера, князя Юрия Сергеевича Хованского, тоже симбирского помещика, и теперь их ждали в Удорах. Вообще, во время пребывания в Симбирске Камилла близко сошлась со всей семьей, где к ней относятся, как к любимой дочери, подружилась еще более с сестрами своего будущего мужа и завоевала общую симпатию. По отзывам матери Ивашева, она обладала прекрасным характером, была добра, приветлива, проста в своих вкусах и очень благоразумна. Для характеристики Камиллы я приведу отрывок из ее писем к будущей свекрови.

В первом из них Камилла восстает против преувеличенных похвал ее поведению: „В чем собственно моя заслуга?—пишет она.—Отказываясь от брака, не имеющего никакой привлекательности для меня, я не приношу большой жертвы. Семья моя,—вот чего я лишаюсь. Но ведь уже четыре года я причиняла только огорчения своим родным,—и вы желаете пробудить во мне тщеславие. Нет, сударыня, любите меня, как я люблю Вас, как любит меня моя мать, позволяющая мне жить для любимого и любимого сына, и так как в любви к нему вся моя заслуга, то я претендую лишь на некоторую долю нежности со стороны его родителей“.

В другом письме Камилла, узнав от Лиды Ивановой о готовящихся для нее богатых подарках, решительно протестует против этого: „Вы тешитесь тем, что готовите мне целую коллекцию блестящих и грустных радостей Бога, узнайте меня лучше, я желаю отлучиться от подруг одной лишь простотой, которую всегда любила, и думаю, что вкусы Василия в этом вполне сходятся с моими. Умоляю Вас, дорогая и любимый матушка, не тратьтесь на подобные безделушки, тем более,

что я рассчитываю на вашу щедрость в смысле получения более драгоценных моему сердцу предметов—портретов любимых людей“...

Между тем, долги сборы подвигались к концу: был приготовлен экипаж, нажито белье, и путешественнику снарядили в далекий путь. Старый Ивашев спросил, не желает ли кто из его дворовых ехать в Сибирь служить сыну и его будущей жене? Молодого барина любили и многие вызывались ехать в Сибирь; из их числа старик выбрал недавно поженившихся Федора Сидорова с женой Прасковьей.

Только 1 июня 1831 года Камилла смогла, наконец, тронуться в путь с надежной попутчицей, давно подысканной для нее заботливыми родителями, и двумя слугами. До Казани ее провожала мать, расставание с которой было так мучительно, что Камилла в последний момент лишилась чувств. Путешествие длилось целых два месяца, во время которых Камилла отдыхала в Ялуторовске у Батальцевых, принявших ее с великим радушием, и в Иркутске, где ее тоже встретил самый дружеский прием местного общества и губернатора. Лишь в сентябре добралась она, наконец, до цели своего путешествия и 16 сентября обвенчалась с Василием Петровичем.

Вот как рассказывает об этом Басаргин:

„Летом 1831 года приехала невеста Ивашева—молодая, милая и образованная девушка. Он успел приготовить дом и все нужное для первоначального хозяйства. Остановилась она у княгини Волконской и прожила у ней до свадьбы, которая совершилась дней через пять по ее приезде. Я радовался, видя Ивашева вполне счастливым и нашедшим в его супруге другого себе друга. Им позволили прожить у себя дома около месяца, по прошествии которого она, по примеру других дам, перешла в его номер и оставалась тут до тех пор, пока всем женатым позволили жить у себя.

„Почти за всеми декабристами последовали их жены, но Камилла была первой невестой¹⁾, приехавшей делить участь человека, еще не ставшего ей близким, с которым она еще ничем не была связана, и ее поступок приводил в восхищение ее новых друзей по несчастью. Волконская в письме к матери Ивашева, еще до приезда Камиллы, просила передать Камилле о ее восхищении и симпатии“.

А декабрист кн. А. И. Одоевский написал даже стихотворение на приезд Камиллы, при чем допустил поэтическую вольность, отнеся это событие к зиме.

Далекий путь.

(На приезд К. И. Ивашевой).

По дороге столбовой
Колокольчик заливается...
Что не парень удалой
Мягким снегом опускается.
Нет, то ласточкой летит
По дороге красна девица:
Мчатся кони... От копыт
Вьется легкая метелица.

¹⁾ Жозефина Гебль, приехавшая к Анненкову и обвенчавшаяся с ним в Чите, фактически давно была его женой и только не могла формально вступить с ним в брак благодаря упорству его матери, известной богачки и причудлиницы.

Кроясь в пухе соболей,
Вся душою вдаль уносится;
Из задумчивых очей
Капля слез за каплей просится...
Грустно ей.. Родная мать
Тужит тугою сердечною:
Больно душу оторвать
От души разлукой вечною.

Сердце горю суждено,
Сердце на-двое не делится;
Разрывается оно...
Дальний путь пред нею стелется.
Но зачем в степную даль
Свет-душа стремится взорами?
Ждет и там ее печаль
За железными затворами.

„С другом люблю и в тюрьме“.
В душе мыслит красна девица:
„Свет он мне в могильной тьме..
„Встань, неси меня, метелица,
„Занеси в его тюрьму.
„Пусть, как птичка домовитая,
„Прилечу и я к нему,
„Притаюсь, людьми забытая“.

IV.

О жизни декабристов в Петровском заводе писали так много, что я не буду подробно останавливаться на ней.

В 1828-м году с них были сняты цепи, которых по закону им и не полагалось бы носить, но это делалось по особому приказанию Николая I-го, всю жизнь не могшего забыть своих „amis du 14 D cembre“.

В конце 1832-го года по манифесту были сбавлены сроки, и потому в конце 1835-го года второму разряду, к которому принадлежал Иваншев, окончился срок каторги, но так как одновременно не было сделано распоряжения о местах поселения, то пребывание В. П. в Петровском заводе затянулось почти еще на год. Старик Иваншвы, узнав о манифесте, стали немедленно хлопотать через Бенкендорфа о назначении сына в Курган, ближайший из городов Западной Сибири, и одновременно возбудили ходатайство о разрешении им иметь с ним свидание. Помимо обращения через Бенкендорфа, Вера Александровна обратилась непосредственно к государыне, которой она была известна, как председательница совета Симбирского женского общества христианского милосердия и попечительница состоявшего при нем дома трудолюбия. Сохранился рескрипт государыни от 21 апреля 1834 г. с выражением признательности за усердные труды Веры Александровны и доброжелательности к ней высокой покровительницы. Государыня не осталась глуха к просьбе и поручила статс-секретарю Мюнгингову довести до сведения государя о заслугах Веры Александровны и поддержать ее ходатайство. 6 апреля Бенкендорф уведомил стариков о назначении их сына в Туринск.

В августе того же года государь посетил Симбирск. Государыня просила его непременно побывать в местном доме трудолюбия, и он осведомился у губернатора Жиркевича, как переносят старики Ивашевы свое несчастье. Во время обозрения дома государь прошел с Верой Александровной в сад и дал понять, что не желает, чтобы свита за ним следовала. Он как будто ожидал личной просьбы с ее стороны, но Вера Александровна не могла собраться с духом и ничего ему не сказала. Уезжая, государь поцеловал ее руку и сказал Жиркевичу, — как тот упоминает в своих записках: „Почтеннейшая женщина. Не мудрено, что ты так хвалишь этот дом, ничего лучше этого я не видал“. Царь пожаловал Вере Александровне богатый фермуар и... отклонил ходатайство стариков о свидании с сыном. Отказ этот был тяжелым ударом для них. Все эти годы только надежда увидеть сына после каторги поддерживала их и давала им силы нести свое горе. Теперь надежда эта рушилась, Вера Александровна не могла перенести этого последнего удара, она заболела „желчной болезнью“ (очевидно, болезнь печени), которая свела ее в могилу месяцев восемь спустя.

Во время пребывания в Петровском заводе Ивашевых два раза посетили их родственники, приезжавшие туда по служебным делам, это были полковник Вагговут (женатый на сестре Ю. С. Хованского, мужа Екатерины Ивашевой) и позднее брат Камиллы, Евгений Ледантю, молодой инженер, нарочно взявший себе службу в Сибири, чтобы быть поближе к сестре. Он приезжал осенью 1835-го года и пробыл довольно долго. Посещение его должно было быть большой отрадой для Ивашевых в их однообразной жизни¹⁾.

С окончанием срока каторги старики Ивашевы рассчитывали, что для сына явится возможность личной переписки. Но и тут их ждало разочарование. Комендант Лепарский в своей резолюции по делу декабриста Митькова говорит, что правилами для поселенцев они будут пользоваться правом личной переписки по сдаче их гражданскому начальству, а пока все остается по старому. По старому же письма могли писаться лишь женами декабристов и шли они через III-е отделение, что, во-первых, задерживало их на целый месяц, а, во-вторых, чрезвычайно ограничивало темы писем. В экстренных случаях гуманный Лепарский, по непонятному противоречию понавший начальником Петровского завода, лично писал родителям Ивашева, сокращая время их тревожных ожиданий. Так, он сообщил им о прибытии сына в Читу, о приезде Камиллы, о дне свадьбы, о рождении их первенца Александра (умершего ребенком), о рождении дочери Марии (мояй матери) и, наконец, о выезде их с Петровского завода 13 июля 1836 г. Незадолго перед этим Камилла посылает матери письмо, в котором отразилась ее грусть при мысли о разлуке с друзьями. Декабристы и жены их жили дружной семьей и расставались с живейшей болью, а тут еще предстояло поселение, неизвестно где и в каком обществе. Сохранилось два письма к Камилле от Волконской и Юшневской, написанные вскоре после их отъезда и свидетельствую-

¹⁾ Евгений Петрович всю жизнь провел в Сибири. Дочь его Мария Евгеньевна вышла замуж за енисейского губернатора П. П. Педашенко, очень гуманно относившегося к политическим. Когда в 1883 г. я с мужем ехала в ссылку в Восточную Сибирь, дядя мой Евгений Карлович Ледантю просил Педашенко письмом назначить нам местом ссылки Минусинск, что и было им исполнено.

завишие о доброй памяти, оставленной после себя Ивашевыми. Благодаря все тем же хлопотам матери Ивашева, сии их не был разлучен с ближайшим другом—Басаргиним, которому даже, вопреки правилам, разрешили и ехать вместе с ними.

В своих записках Басаргин говорит об этом и описывает их путешествие: „Природа этого края так величественна, что, не взирая на наши грустные думы о разлуке с друзьями и неопределенной будущности, мы, как дети, восхищались красотой тех мест, где проезжали. Особенно великолепны берега Селенги. Растительность изумительна...“.

Путешественники и теперь еще не знали, куда их везут, и только по прибытии в Иркутск 24 июня им сообщили о месте посещения, и за ними было признано право личной переписки. От 26 июня было первое собственноручное письмо Василия Петровича к родителям, не сказанно их обрадовавшее.

В это время в семье Ивашевых происходила своего рода трагедия. Младшая сестра Василия Петровича давно увлеклась симбирским помещиком А. И. Ермоловым, который неоднократно просил ее руки, но Вера Александровна ни за что не соглашалась на этот брак, и ничьи просьбы не могли смягчить ее сердца. Тогда Лиза Языкова, видя страдания сестры, потихоньку написала брату, прося его пустить в ход свое влияние на мать. Просьба Василия Петровича заставила мать изменить свое решение, она дала согласие на брак, но подчеркнула, что делает это лишь по беспридельной любви к сыну и желает, чтобы дочь всю жизнь чувствовала благодарность к брату за исполнение своего желания.

Из Иркутска Ивашев и Басаргин ехали со своими слугами и двумя казаками и в Красноярске, под предлогом чинки экипажа, опять делали остановку и виделись с поселенцами там своими товарищами: фон-Визиним, братьями Вебричевыми-Пушкиными и Красноярским. 21 августа прибыли они в Туринск.

V.

Туринск тогда был захудалым городком с населением, едва достигавшим 4,000 человек. Жизнь в нем относилась очень хорошо, чему, кроме их собственного поведения, не мало способствовало обращение с ними высшего начальства. Губернатор,—рассказывает Басаргин,—при посещении города обычно бывал у нас; губернские чиновники, приезжая по делам службы, старались знакомиться с нами и большую часть времени проводили у нас“.

В материальном отношении жизнь поселенцев стояла тоже хорошо. Был нанят дом, а в октябре сразу оказалась близость к Симбирску—прибыл целый обоз на шестех возах с мебелью, провизией, сбруей (еще же пришли и лошади) и т. д., так что надо думать, что они были обеспечены всем необходимым. Ввиду того, что фортепиано их осталось на Петровском заводе у кн. Трубецкой, немедленно и Лиза Языкова, и Ната Хованская решили постать им на поселенье новый инструмент, отсутствие которого было очень чувствительно для обеих Ивашевых. Действительно, Камилла, благодаря за присылку фортепиано, пишет, что она так привыкла слушать импровизации своего Василия, что ей очень этого не доставало. Сама Камилла была тоже хорошей музыканткой и сама есть указания, что в Петровском за-

воде она певала дуэты с М. Н. Волконской, которую родные в изобилии снабжали нотами. Устроившись в Туринске, Ивашевы отправили в Симбирск свою Прасковью с мужем, желавших побывать на родине, и их приезд дал возможность старикам узнать от очевидцев разные подробности о жизни сына, о которых писать было нельзя.

С приездом в Туринск совпадают первые тревожные известия о болезни матери. Василий Петрович сразу угадал серьезность ее заболевания и сознавал опасность ее положения, несмотря на успокоительные письма сестры Е. Хованской. Сама Вера Александровна, со свойственной ей прямоотой, не скрывает в своих письмах серьезности своей болезни.

Ввиду болезни матери, свадьбу Саши Ивашевой, отложенную было на два года, ускорили, и 3 февраля состоялось ее бракосочетание с Ермоловым в домово́й церкви Ивашевского дома, но Вера Александровна была уже так слаба, что не могла на нем присутствовать. На свадьбу съехалась вся многочисленная родня Ивашевых: Наумовы, Родионовы, Тютчевы, Татариновы, Толстые и т. д. и, между прочим, приехал воспитанник стариков Ивашевых А. Е. Головинский (незаконный сын брата Веры Александровны, выросший в Ивашевском доме вместе с их детьми). Присутствием Головинского, который считался дельцом, семья воспользовалась, чтобы совершить целый ряд имущественных актов. Были составлены согласованные между собою завещания Веры Александровны и Петра Никифоровича. Вера Александровна завещала все свое состояние в пожизненное владение мужу, с тем, чтобы дочерям Марии и Александре были выделены части, равные тому, что при жизни завещательницы получили старшие дочери. Капитал в 50.000, внесенный на неизвестного в Московскую сохраняющую казну, завещан Камилле. По окончании пожизненного владения, дочери, назначенные наследницами, должны выполнить акт, который сделан по обоюдному согласию родителей и дочерей. Акт этот в проекте тоже имеется. Предполагалась выдача дочерьюми родителями заемных обязательств по 150.000 каждое, всего на 600 т. руб. Самые капиталы должны быть внесены в Московский Опекунский Совет с тем, чтобы проценты шли на содержание Василия Петровича, его жены и дочерей. Это соглашение хотели довести до высочайшего сведения и соизволения.

Утверждение этого акта встретило препятствие, так как существовали правила о предельных суммах, какие разрешались доставлять ссыльным декабристам, но он показывает, как семья думала обеспечить лишенного прав брата.

Болезнь Веры Александровны прогрессировала, и утром 7 мая 1837 г. ее не стало, о чем с величайшей осторожностью было сообщено Василию Петровичу.

В 37-м же году наследник престола, совершая путешествие по России, посетил Курган. Находившийся в его свите, всегда чуткий к чужому горю В. А. Жуковский не преминул разыскать поселенных в Кургане декабристов, хотя лично с ними знаком не был, и обратил внимание великого князя на незавидную их долю. Наследник тогда же из Кургана, 6 июня, написал царю письмо, в котором, упоминая о беззакоризненном поведении курганских декабристов, ходатайствовал об облегчении их участи. 23 июня, по дороге в Симбирск, он получил от государя благоприятный ответ, о котором Жуковский в восторженных выражениях писал императрице Александре Федоровне.

В Симбирске дворянство приготовило к приезду наследника выставку изделий и достопримечательностей губернии. Петр Никифорович, не оправившийся еще от горя, хотел было уклониться от торжеств, но упрямиваемый со всех сторон должен был принять участие в выставке, экспонентом на которой являлся и Языков, муж Лизы Ивашевой. В честь наследника дворянство давало бал, устроенный в доме Ермолова, которому в хлопотах помогал кн. Ю. С. Хованский, и таким образом вся семья Ивашевых была занята предстоящим приемом высоких гостей. Старик Петр Никифорович был знаком с Жуковским. Они обнялись со слезами. Жуковский посетил Петра Никифоровича в его доме. Речь, конечно, зашла о сосланном сыне, что подтверждается двумя сохранившимися собственноручными записками Жуковского. Первая такого содержания: „Напишите письмо на имя великого князя, изложите ясно, в чем дело, и упомяните, что уже просили гр. Бенкердорфа, но что болезнь его все останавливала. Завтра письмо Ваше будет послано с фельдъегерем. Душевно преданный Вам Жуковский. Пришлите ко мне“.

Ивашев не решался утруждать наследника, что побудило Жуковского прислать вторую записку: „Я уже сказал великому князю, что Вы хотите просить его. Почему Вам не писать... Думаю, что Вам писать можно“. Речь шла об обеспечении Василия Петровича капиталом. Старик Ивашев последовал совету Жуковского, но в ходатайстве его было отказано.

Указ об облегчении участи декабристов, последовавший в силу заступничества наследника, до крайности суживал круг лиц, к которому мог быть применен, и Василию Петровичу, не прибегнувшему к покровительству великого князя, никакой пользы не принес. Но, одновременно с указом, Николай Павлович повелел опросить менее виновных декабристов, не пожелают ли они поступить на военную службу; тем же, которые не могли воспользоваться этой милостью, по состоянию здоровья или семейному положению, разрешалось поступать на гражданскую службу в Сибирь.

Об этом, повидимому, стало известно в Симбирске, потому что старшину Ивашеву пришла мысль посоветовать сыну проситься в преподаватели симбирской гимназии, а Лиза Языкова уже мечтала, что Василий Петрович будет повышаться на службе, и это может повести к разрешению свидания с ними. Но все эти планы не осуществились.

VI.

Между тем Лиза Языкова затеяла важное, небезопасное дело, которое открыла одному отцу. Любимая сестра Ивашева, связанная с ним самой тесной дружбой, была она живая, пылкая, умная и, очевидно, очень интересная женщина. Познакомившийся с ней лишь в 1836 году приятель ее мужа, П. В. Зиновьев, безуспешно сватавшийся к ее младшей сестре, становится неразлучным другом и спутником ее, вполне проникается ее интересами и усваивает себе тот культ отсутствовавшего брата, который являлся *conditio sine qua non* хороших отношений с Лизой. Да, впрочем, и не с одной Лизой. Екатерина Петровна Ивашева, выходя замуж за князя Хованского, поставила ему условием не препятствовать ей ехать в Сибирь к брату, если семье будет разрешено туда переселиться. Зиновьев, зная восторженную любовь Языковой к брату и ее пламенное желание доста-

звать ему малейшее удовольствие, предложил съездить в Туринск и свезти Василию Петровичу письмо и деньги. При строгости Николая Павловича такое предприятие, без надежного разрешения, могло дорого обойтись Зиновьеву.

8 июля Лиза написала брату длинное откровенное письмо, в котором, не опасаясь просмотра начальства, высказывается без опасения. Она горячо рекомендует брату подателя письма, верного друга всей семьи и нежного почитателя покойной матери, который будет в состоянии дать все необходимые сведения и разъяснения. Брата просит быть с Зиновьевым совершенно откровенным и не скрывать своих сокровенных мыслей, которые он сумеет передать ей. Уславливается называть Зиновьева в письмах Пьером, в отличие от мунга, которого будет называть в письмах Петром Михайловичем или „мон-маті“. Сообщает, что на время своего предстоящего путешествия за границу заботы о брате передаст сестре Саше Ермоловой. Посылает деньги 7.000. руб. и несколько вещей на память о матери. С этим письмом Зиновьев тронулся в путь и благополучно исполнил поручение, что подаю Лизе мысль, что такое посещение брата выполнимо и для нее.

Посещение Зиновьева, который, никем не тревожимый, прожил в Туринске четыре дня, было огромным утешением для Иваневых. По словам Камиллы, приезд его вырвал их из состояния подавленности, выносить которую было свыше сил. Слышать о последнем благословении матери, о ее прощальных словах, полных любви, было потребностью. Посылая с ним письмо к отцу, Василий Петрович дает о себе характерный отзыв.

Зиновьев и Басаргин слегка потешались над его непрактичностью, азиатей и неопытностью в житейских делах, которою, по словам Зиновьева, он напоминает Лизу. Но их насмешки мало его трогали. Приняв какое-нибудь решение, он, правда, медленно, но осуществляет его. Если дело идет о деньгах, и они у него имеются, то сперва они быстро утекают, но потом он приостанавливается и наводит экономию, чтобы не было перерасходов. В общем, на него и Камиллу требуется очень мало, и в этом их „единственное достоинство“.

Возвращение Зиновьева явилось для семьи большим праздником. Это был первый, вполне интеллигентный человек, которого можно было расспросить во всех подробностях о жизни Иваневых в Туринске и который привез письмо, написанное в уверенности, что оно минует „глаза аргусов“, как выражается Лиза.

В сентябре 1837 года в Симбирск приехали отправлявшиеся на военную службу на Кавказ бывшие курганские декабристы: Назимов, Нарышкин, Лорер, Лихарев, Черкасцов и Одолевский. Последнего в Казани встретил и проводил до Симбирска его престарелый отец. Можно себе представить, как приезд этот наволновал Петра Никифоровича. Пример возможности свидания отца с сосланным сыном был перед глазами. Построение переводимых было бодрое, они надеялись, что службой на Кавказе продолжат себе дорогу и возвращению на родину. Провожавшие были в одинаковом положении с Василием Петровичем, также бывшие каторжане. Понятно, что Петр Никифорович, старый суворовский воин, для которого кавказские бои не казались страшными, воспылал мечтою выпросить и сыну такую же милость и в конце года в письме намеками, понятными сыну, запрашивает его согласия на возбуждение подобного ходатайства.

Сперва Василий Петрович и Камилла ответили положительно, но очень быстро передумали и отклонили предложение отца. Очевидно, Василий Петрович в своем сорокалетнем возрасте не обладал уже юношеской предприимчивостью, необходимой для такого крутого перелома жизни. Он не мог решиться предоставить жену и двух малолетних детей неопределенной участи семьи рядового в неведомой стране. С положением поселенца он уже свикся, только что устроился в собственном доме и чувствовал себя счастливым в семейной обстановке. Старик, однако, уже возбудил ходатайство, на которое, впрочем, соизволения не последовало.

Когда, таким образом, мысль о Кавказе была оставлена, Лиза снова ухватилась за мечту повторить предприятие Зиновьева. Она пишет брату, что, вместо оставляемой мысли съездить на Кавказ, она предпринимает свой давно задуманный „pèlerinage“ (паломничество), под которым, понятно для брата, разумеется поездка в Туринск.

Между тем тихая жизнь туринских Ивашевых была нарушена следующими событиями. Василий Петрович, гуляя, поскользнулся и вывихнул себе ногу. Вправить ногу врач не смог или не сумел, и Василий Петрович был осужден на весьма продолжительные страдания.

Верный друг его Басаргин, приступивший тоже к постройке собственного дома, переселился к Ивашевым, чтобы помочь ухаживать за больным. Он привез с собой крупную сумму денег и положил в шкатулку, служившую Ивашеву для хранения собственных. Шкатулка стояла на чердаке, рядом с комнатой Камиллы, в котором было слуховое окно. Почью Камилла проснулась от шума, испугалась, крикнула было няню, но, не слыша дальнейшего шума, успокоилась и заснула. Утром обнаружилось, что шкатулка украдена; на след воров быстро напали, но вся история грозила большими неприятностями, так как сумма денег в шкатулке значительно превышала то, что декабристам дозволялось иметь. На деньги, отобранные у воров, местная администрация наложила арест, и только после приказа генерал-губернатора Зап. Сибири кн. Горчакова они были возвращены Ивашеву и Басаргину.

В годовщину смерти Веры Александровны вся Ивашевская семья собралась в Симбирске. Когда же все разъехались по домам, Лиза Языкова поехала в сопровождении Зиновьева за Волгу. Отцу она сказала, что едет на богомолье, а когда продолжительное отсутствие дочери стало его тревожить, то ему сказали, что она дорогой упала из экипажа и повредила ногу.

Самовольное, без особого разрешения посещение поселенцев в Сибири домашними родными правительством считало недопустимым, и местные власти имели секретное предписание в таких случаях немедленно выпроваживать подобных смельчаков. Насколько известно, поездка Языковой была явлением совершенно исключительным, чуть ли не единственным такого рода примером и доказывала решимость ее характера.

Приходилось принимать меры предосторожности. По преданию, передаваемому в книге „Памяти А. И. Филофоровой“, Языкова добыла себе для этой поездки подорожную на имя князя-губернатора. В другой версии она ехала, переседая камердинера ~~Ивана~~ ~~Иванова~~. В любом случае, это посещение было обставлено таинственностью. Известнейшей на трехлетнюю дочь Ивашевых Марью (известную, как Зед-

Г. ТЮМЕНЬ.

ствии, Трубникову) такое сильное впечатление, что воспоминание о нем осталось на всю жизнь в ее памяти. По ее словам, она помнила приезд таинственной гостьи—тети Лизы, и радость в доме, и закрытые ставни, и общую настороженность.

Как бы то ни было, но Языкова благополучно добралась до Туринска и прожила у брата около двух недель. Это могло случиться только благодаря сочувственному попустительству туринского городничего, так как трудно себе представить, чтобы в маленьком городке приезд к ссыльному поселенцу дальних гостей мог остаться незамеченным.

Состоялось, таким образом, то свидание, о котором Лиза так пламенно мечтала с самого 1826 года. Для туринских же Ивашевых это был луч счастья, оставивший им надолго светлое воспоминание. Состоялось и личное знакомство Лизы с Басаргиным, давно ей близким по дружбе с братом.

Петр Никифорович тем временем беспокоился о судьбе своей любезной Лизы на ее, как он выражался, „заволокских разгульях“. Неприбытие Лизы к Петрову дню сильно раздосадовало старика. 7 июля с рассветом приехала Лиза и нашла у себя дома Марию Петровну Ледантю с дочерью Амалней в страшном беспокойстве: они уже думали, что „ее куда-нибудь упрятали“. Лиза поспешила к отцу. В письме к брату, отправленном с оказией, она очень образно описывает это свидание. Свои объяснения она начала извинением за неприбытие к отцовским именинам. Петр Никифорович, принявший ее сурово, при первых же словах прервал дочь: „Что за pardon? Что твоя нога?“ Тогда Лиза сказала: „Папа, простите еще раз. Я вас обманула, со мной ничего не случилось, я была у Базиля“. Впечатление от этих слов испугало Лизу: отец прижал ее к груди, зарыдал, долго не мог ничего выговорить, только крестил и целовал дочь. Наконец, несколько успокоившись, он сказал: „И я посмел сердиться на тебя... Мне надо просить у тебя прощения. Ну, Христос с тобой. Садись и рассказывай“.

Пошли разговоры о жизни туринских Ивашевых, о беспрепятственной поездке, о возможности посещения сына отцом, и эта мысль так воспламенила его воображение, что он готов был „сейчас же ехать“, и пришлось его уговаривать отложить и подготовить такое предприятие. Оказывается, в Туринске былоговорено о плане сближения отца с сыном путем приобретения Петром Никифоровичем завода близ Туринска. С этим проектом старик немедленно согласился, и было решено лишь переговорить с Зиновьевым.

Проект этот так и остался проектом, но воодушевление, с которым его принял старик, характеризует степень его готовности на все, лишь бы свидеться с сыном.

То, чего так тщетно добивался старик Ивашев, довольно легко удалось М. И. Ледантю. Мать Камиллы, давно уже носившаяся с мыслью поселиться у дочери, после возвращения Языковой из Туринска обратилась к гр. Бенкендорфу с просьбой испросить ей на это Высочайшее разрешение, заявляя заранее согласие на все условия, которые ей будут поставлены, и ходатайствуя лишь, чтобы ей было дозволено получать на свое содержание такую же сумму, какая была определена на содержание каждого поселенного декабриста, т. е. 1000 руб. в год. В начале 1829 года г-жа Ледантю получила просимое разрешение на переселение к дочери, но без права на обратное возвращение в Европейскую Россию.

VII.

До конца жизни Петр Никифорович оставался горячим почитателем Суворова и гордился, что в одном из писем к нему Суворов „окастливил его пазванием друга“. Еще в 1795 году, когда вышло сочинение Антига, посвященное Суворову, последний попросил Ивашева исправить неточности, допущенные автором в изложении событий. Мало помалу Петр Никифорович написал кое-какие замечания и свои воспоминания о своем вожде.

Летом 1838 года Петр Никифорович в письме к сыну сообщил ему о своей работе и спросил, не возьмется ли он за перевод ее на русский язык (старик писал по-французски). Василий Петрович с величайшей готовностью откликнулся на предложение отца. Но отсылка рукописи почему-то затянулась, и когда она, наконец, дошла до Василия Петровича, в далекой Симбирской губернии отца его не стало.

Воспоминания Петра Никифоровича о Суворове не пропали. В 1841 году они появились в „Отечественных Записках“, редакции которых были сообщены графом Сологубом. Каким образом они попали в руки Сологуба, остается невыясненным ¹⁾. Эти воспоминания очень характерны и прекрасно рисуют причудливую фигуру гениального полководца.

Петр Никифорович скончался неожиданно, и известие о его кончине взялся передать Василию Петровичу родственник Ивашевых Г. М. Толстой. С ним отпросился ехать грубоватый муж Прасковьи, служивший у молодых Ивашевых, у которых только что родилась дочь Вера. Сообщая об этом и о надежде на приезд матери Камиллы, Василий Петрович пишет, что „давно не наслаждались мы такой полнотой душевного мира“. Вскоре этот душевный мир был нарушен. Около 15 декабря Толстой со своим спутником прибыли в Туринск, и подвыпивший великан Федор Сидоров, несмотря на ночное время, с шумом ворвался в дом Ивашевых и грубо объявил, что Петр Никифорович приказал долго жить. Так дошла до Василия Петровича весть о кончине отца. Толстой пробыл лишь сутки и на другой день уехал. Сохранился полулист бумаги, очевидно, привезенный Толстым, с собственноручным волеизъявлением Василия Петровича:

„Согласившись с истинною благодарностью на предложение моих сестер и их мужей, оказывающих такую добрую волю в исполнении их против меня обязанностей, я, с своей стороны, считаю долгом сделать следующее распоряжение: прошу сестер моих из всего капитала, который будет ими назначен мне и детям моим, выделить третью долю брату А. Е. Головинскому, что будет согласно с известной мне волею покойной моей матери“.

Эта бумага свидетельствует, как трогательно Хованская и Ермолова (Языкова была за границей) поспешили подтвердить брату свою непреклонную решимость обеспечить его материально, а, с другой, показывает бескорыстие Василия Петровича и его родственную заботливость о Головинском.

Грусть по скончавшемся отце смягчалась для Ивашевых радостным ожиданием приезда М. П. Ледантю, который и состоялся 19 фев.

¹⁾ Молодой гр. Сологуб, в декабре 1839 г. гостил в Симбирске у своего друга кн. Юрия Сергеевича Хованского. Не от него ли он получил эти воспоминания? О. Б.

раля 1839 года. Присутствие всегда бодрой и деятельной старушки внесло много оживления в дом Ивашевых, а для Камиллы, восемь лет не видавшей любимой матери,—было настоящим счастьем.

Несколько ранее приезда М. П., в Туринск был переведен декабрист Анненков с женой и детьми.

Приезд Анненковых не мог не оживить жизни Ивашевых в Туринске, где у них был один близкий человек. В письме к сестре Лизе от 26 января Василий Петрович радуется, что ожидаемой теще Туринск уже не покажется так пуст и скучен, ибо в жене Анненкова она найдет женщину приятную и к тому же соотечественницу. 27 января Камилла пишет, что вот уже два дня, как она чувствует себя как бы опять в обществе Петровского завода: прибыли долго жданные Анненковы с четырьмя прелестными детьми, в которых дети Ивашевых найдут себе товарищей. Анненков был невозможный флегматик. Бобрищев-Пушкин писал о нем фон-Визину, что он два часа собирается пересест с одного стула на другой. Относительно жены Анненкова все отзывы сходятся. Камилла называет ее „cette excellente personne“. Веселая и деятельная за двоих, она наилучшим образом устроила свою домашнюю обстановку.

С Анненковыми у Ивашевых установились самые близкие отношения. Дочь их Ольга ежедневно приходила брать уроки музыки у Камиллы Петровны, а старушка Ледантю стала заниматься ее общим образованием.

Вскоре кружок декабристов в Туринске пополнился еще одним членом: около 17 октября 1839 г. прибыл туда Иван Иванович Пущин, любимый товарищ Пушкина по лицею. Такую же привязанность возбуждал Пущин и в своих товарищах по ссылке. Одаренный счастливым характером, всегда бодрый и общительный, он переносил безропотно свою трагическую судьбу, занимался переводами, которые бросил лишь тогда, когда убедился в невозможности их печатать, и усердно заботился о нуждавшихся декабристах, состоя деятельным членом так наз. „малой артели“, учрежденной декабристами для поддержки товарищей на местах поселений. Вскоре после прибытия в Туринск Пущин писал сестре:

„Сюда я приехал десять дней тому назад. Все это время прошло в скучных заботах о квартире и т. д. От хлопот отдыхаю в кругу здешних товарищей. Я очень рад, что, расставшись недавно с большой моей сибирской семьей, попал в уединении своем кого-нибудь из наших. В них для меня заключается все общество, можно разменяться мыслью и чувством. Новый городок мой не представляет ничего особенно занимательного. Я думал найти больше удобств жизни, нежели на самом деле оказалось. До сих пор еще не основался на зиму,—хожу, смотрю, и везде не то, чего бы я хотел без больших прихотей. От них я давно отвык. Природа здесь чрезвычайно однообразна, все плоские места, которые наводят тоску“.

Упоминая, что сестра напрасно воображает, что он сделается хозяином, к чему у него нет призвания, он продолжает:

„Главное, не надо утрачивать помни явившийся, она меня до сих пор поддерживала, и горе тому из нас, который лишится этого утешения в исключительном нашем положении“.

VIII.

Если и в предшествовавшие годы Ивашевы, несмотря на обещество лишь одного близкого человека, не жаловались на свою туринскую судьбу, теперь, с прибытием Аннендовых, Леданты и Пучинна, жизнь их сложилась еще удачнее. В письме к сестре Хованской Василий Петрович описывает времяпровождение в Турине в столь радужных красках, что это заставило сердце сестры забиться от радости. И она испрашивает у Бога для туринских ссыльных продолжение счастья и спокойствия. Хованская не знала, когда писала это ответное письмо, какая грозная беда постигла уже в это время ивашевскую семью.

18 декабря Камилла, бывшая в последних месяцах беременности, сильно простудилась на прогулке, что вызвало преждевременные роды. 20 декабря она скончалась от последовавшей горячки. Василий Петрович в письме к сестре Лизе так описывал ее последние минуты: „она с удивлением принимала утешения реянки, благословляла двадцать детей, прощалась с друзьями, каждому служителю сказала утешительное слово, соединила руки матери и мужа. Последние ее слова были: „Pauvre Basil!“ („Бедный Базиль!“).

Так трагически кончился для Василия Петровича 1839 год. Смерть жены была страшным ударом для Василия Петровича, — он был близок к отчаянию. Но все же, принимаясь за тяжелую обязанность известить своих о постигшем его несчастье, он и в эти минуты опасается, чтобы роковая весть не слишком тяжело отразилась на здоровье сестры Лизы Языковой. Он принимает все предосторожности и пишет Зиновьеву, чтобы он приготовил Лизу к новому удару.

Он умоляет Лизу не предаваться отчаянию и ставит в пример матушку, ее религиозное смирение и твердость, а сам утешит, что постарается сохранить мужество (*être homme*) до конца.

Но уже в письме к братьям — Хованскому и Ермолову — видно, что он изнемогает от горя: „Не стало моей Камиллы, обожаемой, любимой, милой моей Камиллы! Не рошу, Боже мой, но ты же мой брат... О, ты же, Боже мой“. И потом, описывая свою жизнь и как она с Марией Петровной поддерживают друг друга в горе, он жалуетесь на „холод одиночества“, — „так легко я задумываюсь и так тяжело мне навести мысли к делу“.

Иногда, конечно, Манечка и забавная Верочка вызвали мимолетное оживление. 29 ноября Василий Петрович пишет Лизе, что, получив ее письмо с описанием ее жизни с дочерью, он „был изумлен, что рука донесла меня до этого и предложил в честь этого строчкавить на одной ношке; мы с ней дуем, как вилки. Больше что-то еще скажет, — это была матушка“. (Характерно для 70-летней Марии Петровны).

Сохранилось еще одно письмо Василия Петровича к А. И. Ермолову, написанное с разными недомоганиями и подписанное „В. Ивашев“, так роковые условия жизни вынуждают Василия Петровича к поспешному проекту о переводе на Камиллу. Это и тогда побуждает забота о будущности детей и желание утешить престарелую матушку. Она пожертвовала собой ради дочери, а ее не стало. На ее жертву он хочет отплатить своей.

IX.

После смерти Камиллы Василий Петрович прожил всего год со своими тремя малолетними детьми; главную заботу о них и домашнее хозяйство взяла в свои энергичные руки старуха Ледантю. Переселился к Ивашеву и Иван Иванович Пуштин, тем избавившийся от домашних хлопот; но надо полагать, что им руководила и надежда принести своим присутствием пользу и развлечение изнемогавшему от непосильного горя товарищу. Он ни за что не хотел пользоваться даровым гостеприимством, которое ему предлагал Ивашев; было решено, что третейским судьей между спорящими друзьями будет деловой Басаргин, который и определил годовую плату Пустина в 500 рублей.

Душевное состояние Василия Петровича в этот последний год его жизни подробно описано Басаргинным в его письме к Лизе Языковой, в котором он по ее просьбе дал ей обстоятельный отчет о состоянии ее брата после кончины жены. Это письмо, характеризующее и симпатичную личность Басаргина, я привожу почти целиком:

„Исполняю Ваше желание, почтенная и добрая Елизавета Петровна, и хотя мне тяжело будет говорить о бедном нашем друге, потеря которого так для меня чувствительна, но, зная, как дорого для Вас всякое о нем воспоминание, я пересилю себя и постараюсь собрать мои мысли, чтобы рассказать Вам с подробностью последний год его страдальческой жизни. Я уверен, что письмо мое, как ни грустно Вам будет его читать, убедит Вас, что кончина доброго друга нашего собственно для него была явным милосердием Всевышнего, и что одни только обязанности и любовь к детям не позволяли ему желать разрешения от земных уз. Эти обязанности смертью своею он передал тем, для которых память о нем останется навсегда драгоценной... С другой стороны, хотя много испытаний он должен был перенести в своей недолговременной жизни, но девять лет он наслаждался завидным счастьем и постоянно видал самые убедительные доказательства беспрдельной любви своего семейства. Много ли смертных могут похвалиться таким уделом? Мысль о потере его волнует наше сердце лишь по врожденному чувству эгоизма. Со смертью Камиллы Петровны исчезла для брата Вашего всякая надежда быть когда-либо счастливым в этом мире. Удар был слишком для него силен. Год, проведенный им во вдовстве, был для него годом самого тяжелого испытания. Никакие занятия, ни ласки детей, ни попечения и любовь почтенной его матушки, ни дружба товарищей,—ничто не заживляло его раны. При других он редко предавался своей горести, но душевная борьба была слишком заметна и проявлялась в каждом его действии. При получении писем от Вас он на минуту оживлялся, радовался и потом вновь предавался какой-то апатии, которая приводила в отчаяние окружающих его. Самый образ его жизни изменился. Он перестал выходить из дому и проводил целые часы в бездействии, сидя с трубкой перед столом и не замечая приходящих к нему. Летом мы с Пустиным иногда брали его прогуливаться, но, пройдя несколько шагов, он прибегал к обыкновенной своей отговорке—бóли в ноге—и возвращался домой. Водная Марья Петровна думала развлечь его иногда занятиями в саду, и он, по врожденной своей уступчивости, исполнял ее желание, но делал все нехотя, без всякого внимания, и спешил удалиться в свою комнату.

Единственная прогулка, от которой он никогда не отказывался, — на могилу покойницы, — усиливала лишь его грустное расположение, и мы, сколь возможно, отклоняли его от этого.

Наступил праздник Рождества. Это время было самое горестное для нашего друга, каждый день, каждый час напоминал ему несчастный ход болезни Камиллы Петровны. Василий Петрович сделался еще мрачнее. Бессонница его усилилась. Поутру он занимался учением Манечки, рисовал, давал каждый день урок на фортепиано дочери Анненкова, а остальное время проводил или один в своей комнате, или с детьми и с нами. Один раз поутру он признался мне, что каждую ночь видит во сне покойницу и что однажды она неотступно приглашала его к себе. „Как счастлив бы я был, друг мой, — прибавил он, — если бы это совершилось вскоре!“ — „Грех желать тебе этого, Василий, — отвечал я ему, — у тебя дети“. — „Правда, — возразил он, — я могу еще им быть нужен. Если бы Лиза была покрепче здоровьем, то я бы не так беспокоился о них“. Этим кончился наш разговор, который сохранился у меня в памяти.

„Ко дню кончины Камиллы Петровны он сделал распоряжения, приказал очистить от снега могилу, тонить к этому дню церковь и, приехавши домой, распорядился о столе для священников, желая после напихиды позвать тех из них, которые были при ее погребении. Бедный друг наш готовил все это для себя, ибо именно 30-го числа были его собственные похороны“.

„28-го вечером он играл с детьми и тут впервые пожаловался на боль в плече. Детей укладывали спать, он вошел к ним, благословил их всех, снова стал жаловаться на усилившуюся боль и ушел к себе. Прибывшую к нему Марью Петровну он успокаивал, что это скоро пройдет, но, вместе с тем, послал за мной и за лекарем, чтобы пустить себе кровь. Каждую секунду ему делалось все хуже, лицо изменилось, дыхание спиралось, и он потребовал священника. Когда пришел лекарь, он едва мог сказать ему: „пустите кровь“, но лишь только его приносили, бедный друг наш упал, „как громом пораженный“. Я прибыл в эту самую минуту. Вхожу в переднюю, вижу шубу лекаря, надежда возбуждается у меня, спешу наверх и, отворив двери, вижу зрелище, которого не могу и не стану вам описывать. Убедившись, что никакая человеческая помощь не нужна ему более, первую мыслью моею были дети и почтенная несчастная Мария Петровна, положение которой сильно меня тревожило. Я боялся, чтобы с ней не сделалось то же, что с бедным нашим другом. Лицо ее посияло, она была в каком-то оцепенении, и я всячески старался заставить ее плакать, но тщетно, слезы не появлялись. Болели и я и за детей, особенно за Манечку, которая могла уже понимать свою потерю.“

„Я описал Вам, моя добрая Елизавета Петровна, несчастье, так внезапно, так неожиданно нас поразившее. Богу было угодно призвать к себе Вашего брата и мгновенно снять с него тягостные узы этой жизни. Наше дело безропотно повиноваться Его воле и исполнить те обязанности, которые кончина друга нашего возложила на нас. Трое сирот ожидают от Вас и всех тех, которые были так близки ему, забот, попечений, одним словом, всей своей будущности, — подвиг трудный и, вместе с тем, утешительный.“

„Я питаю надежду, что им позволено будет жить в кругу родных своих. Здесь положение их было бы ужасно. Старушка-бабушка,

несмотря на все пожертвования, которые она готова для них сделать, на всю твердость ее характера, заслуживающего удивления, не может быть для них надежной опорой. Силы физические, видимо, изменяют. Мы, с своей стороны, в нашем положении не можем сделать многого... Грустно, больно мне будет с ними расстаться, но в этом случае обязанность моя забыть о себе и думать только о их счастье. Я уверен, что родные не откажутся хотя изредка говорить о них со мной, потому что, где бы они ни были, я не перестану мысленно следить за их судьбой¹⁾.

В заключение приведу еще отзыв Басаргина:

Я невольно удивлялся той неограниченной любви, которую родители и сестры Ивашева питали к нему. Во всех их письмах, во всех действиях было столько нежности, столько заботливости и душевной преданности, что нельзя было не благоговеть перед такими чувствами. Последствия доказали, что тут не было ничего искусственного. По смерти родителей Ивашева и его самого с женой, сестры отдали трем детям его все состояние, которое следовало Василию Петровичу, если бы он осуждением не потерял прав своих и которое по закону принадлежало уже им, а не его детям²⁾.

О. Буланова.

Приложения ²⁾

1. Письмо В. А. Ивашевой сыну В. П. Ивашеву.

1-е мая 1830 г.

Прошу Всемогущего испослать тебе свое благословение и здоровье, дорогой и любимый Базиль. На этот раз я буду говорить с тобой на тему, которая наверно очень удивит тебя: если предложение, которое я собираюсь тебе сделать, может до некоторой степени скрасить твоё существование, я вознаграждаю моего Спасителя за то, что он тебе его испослал, и сочту себя счастливой, если своим согласием облегчу твои страдания. Посылаю тебе копию письма г-жи Дюкантю к г-же Санси (гувернантка младших Ивашевых О. Б.), от которой я получила подлинное. Если ты согласен, уведоми меня, и мы сделаем все возможное, чтобы устроить это дело: не тревожься за будущность твоей жизни, предоставь это нам; наша обязанность к тебе, наша благодарность к той, которая в силу привязанности к тебе отказывается от себя, забывает о себе, чтобы соединиться с тобой и страдать с тобой, заслуживает всеконечно, чтобы мы приложили все усилия сделать ее истинно счастливой, насколько это в нашей власти; такая любовь, как ее, не может быть без высокой добродетели. Я верю, что милосердный Бог, хранящий тебя, посылает тебе такое сопровождение в твоей несчастной участи. Не отказывайся же от этого в силу чрезмерной деликатности. Я знаю, что она тебе правилась, но не думай.

¹⁾ Басаргин, действительно, следил за судьбой дорогих ему детей. Когда мать моя, его крестница, выходила замуж, он прислал ей, как свое благословение, образ ее святой, Марии Магдалины, собственной работы. Этот образ сейчас находится у меня. О. Б.

²⁾ Писанные по французски письма переведены мною. О. Б.

что Камилла такая же, как прежде, она очень похудела от горя. Но подумай, что причиной этому — ты. Я знаю твое сердце и что потеря нежности должна внушить тебе чувство благодарности. Ты можешь легко себе представить, как я люблю ее, ты знаешь, как я сильно чувствую, как могу ценить добро и страдать от зла, значит, можешь себе представить, что я сделаю все, чтобы облегчить ее участь и доказать ей мою признательность. Буду ждать твоего ответа с живою и истеричною жаждою. Скажи мне откровенно, может ли она способствовать смягчению твоей доли. Я знаю все возражения, которые ты можешь мне сделать по твоей деликатности, отбрось их, потому что действительно любящего человека может задеть лишь равнодушие.

2. Письмо г-жи Ледантю к г-же Санси.

30 марта 1830 г.

— Я бы написала Вам, дорогой друг, сейчас же после отъезда генеральши в Петербург, не будь я в такой смертельной тревоге за Камиллу. Она одной ногой почти в могиле, и я предчувствую, что, лишь согласившись на разлуку с ней, я смогу сохранить ее жизнь.

Я узнала ее тайну лишь после отъезда генеральши. Несчастная молодая девушка любит Базиля, сама не подозревая этого. Она отдала ему первые свои мечты, но тогда его положение, его богатство навсегда изгнали из ее сердца надежду стать когда-либо его женой; чувство к нему лишь дало ей образец для сравнения, благодаря чему она отказывалась от всех представившихся ей партий. К несчастью, она была в Петербурге 14-го, следила за всем последующим и, думая, что только жалость волнует ее, позволила разгореться своей страсти, которую только что открыла мне. С самого приезда из Петербурга она побледнела, стала грустной, замкнутой, меланхолической и не говорила ничего распрощавшейся ее Луизе. Во время своей болезни два года тому назад она, казалось, боролась между нежностью к нам и желанием прекратить жизнь, сулившую ей лишь горе. Ее здоровая натура и наши заботы победили. С тех пор она прозябала: приобщение интересовавшей ее семьи, единственного предмета ее дум, вид его портрета так подействовали на нее, что она опять занемогла. Болезнь началась нервной лихорадкой и бессонницей. Она призналась мне, что бралась за Евангелие, чтобы прогнать всегда стоявший пред ее глазами образ, но не могла читать, так как первым словом стояло его имя. Я была у нее, и она сказала, покрывая руками мои руки: „Дорогая мама, одна французская поэтесса из числа ее товарищей несчастного Базиля. Позволили бы Вы мне познать радость, участь того, о ком я давно думала, что люблю его лишь как брата, и которому, не сделай его обстоятельства таким несчастным, принадлежала бы лишь доля моего уважения. Скажите, дорогая мама, согласились ли бы Вы расстаться с дочерью, если бы она могла облегчить участь Базиля?“ (Накануне она открылась Луизе, которая мне это передала). — „Дорогой дружок, — сказала я, — если бы я знала, что верну тебе здоровье. Понимай, что доставлять хоть немного счастья двум единичным, столь этого достойным, я бы не колебалась, но, дорогой Камилла, тот, кого ты любишь, не знает об этом, ты думаешь о нем, а он не желает твоего присутствия, и если бы даже его тронуло твое предложение, он в своей деликатности отказался бы свя-

зять свою судьбу с твоей. Зачем ты так долго все скрывала от меня". — „Благоразумие подсказывает Вам то же, что и мне, и это меня удерживало. Я, впрочем, сумсю победить свое нелепое желание, не будем более об этом говорить. Но я откажу протеже г. Шишкова, я не могу выйти замуж". Г. Шишков сватал ее за одного молодого человека, имеющего 100 душ крестьян и служащего здесь. ¶

После ее признания я с ней больше об этом не говорила, тем более, что болезнь ее приняла такой опасный поворот, что без стараний господина Мандолини она бы погибла, да и теперь, хотя ей и лучше, она еще не вне опасности. Она лежит с 6-го числа, а с 1-го началась ее бессонница, унесшая столько сил к которой присоединилась желчная лихорадка, с постоянной рвотой и носовыми кровотечениями. У нее постоянно поздри заткнуты корпией с нашатырным спиртом. Последние два дня она дремлет, ест немного бульона, а в течение 22-х дней не принимала ничего, кроме лекарств.

Но теперь, зная ее тайну, я не надеюсь на ее выздоровление, тоска сделает то, чего не сделала болезнь.

Если заботы и нежность моей дочери могут хоть сколько-нибудь утешить несчастного юношу, мое сердце будет радоваться сквозь слезы разлуки. Какая мать не предпочтет расстаться с дочерью, чем видеть, как она тает на ее глазах? Будьте добры, сообщите генеральше о состоянии Камиллы, о ее чувствах. Я ей предлагаю дочь с благородной, чистой и любящей душой. Я сумела бы даже от лучшего друга скрыть тайну дочери, если бы можно было заподозрить, что я желаю положения или богатства. Но она хочет лишь разделить его оковы, утереть его слезы, и я, не краснея за дочерние чувства, могла бы говорить о них нежнейшей из матерей, зная я о них раньше. Однако я буду молчать, пока не получу Вашего ответа или пока генеральша не вернется в Москву.

Если у семьи есть свои планы или у молодого человека имеется какая-нибудь склонность, пусть все это останется навсегда похороненным между названными личностями. Луиза останется с сестрой впрямь до ее выздоровления, а оно затянется, по словам доктора, которому известно, что главная причина болезни морального характера; мне пришлось ответить положительно на его вопросы. Я должна была ехать в мае к Сидонии и провести с ней лето, теперь не знаю, что буду делать. Если Камилле придется молчать и страдать, я не смогу ее покинуть.

3. Письмо Лизы Языковой В. П. Ивашеву.

Сибирск, 21 марта 1830 г.

Горячо любимый брат, с этой почтой я получила русские книги, которые ты давно желал иметь, и спешу тебе их отослать с этой же почтой. Мой beau-frère Александр обещал выслать французские, немецкие и английские книги из Петербурга, так что ты, вероятно, получишь их месяца через три, самое позднее. Я в восторге, когда могу что-нибудь послать тебе, для меня это величайшая радость, которой я была лишена последний год, так как была очень бедна: нынешний год несчастнее в отношении денег, но не в смысле здоровья, потому

что с декабря почти все время болела или я, или кто-нибудь из детей, особенно бедненький Базиль ¹⁾.

Посылаю тебе следующие книги: „Софийский временник“, — 2 тома, „Труды Общества древностей и истории“ — 4 тома, „История медицины“ Рихтера 3 тома, Каталог Смирдина 1 т., который находят самым лучшим, да еще роман Загоскина „Юрий Милославский“, 1 том, итого 11 книг. С этой же почтой пошлю деньги на новый роман Булгарина „Дмитрий Самозванец“ и по прочтении оного перешлю немедленно к тебе. Признаюсь, что Загоскина я гораздо более люблю, чем Булгарина, не знаю, понравится ли мне его Дмитрий, желала бы очень знать твое мнение на этот счет, ты знаешь, что ты был мой единственный учитель русской литературы, и поэтому мне очень интересно бы знать, все так ли согласны наши вкусы.

Надеюсь, что отдаление и время нас не изменило, а есть ли и изменило, то одинаковым образом, судя по мне, ты должен сделаться серьезнее, скорее уныл, чем весел, и гораздо недоверчивее прежнего. Вот самые приметные черты, изменившиеся в моем нраве, это еще по-прежнему, я чувствую, что я потеряла то дружеское расположение к людям вообще, которое я прежде имела в высшей степени; ты правду говорил, что чем люди делаются старше, тем менее добры. Так как мы теперь должны говорить правду (ибо ныне великий пост), то видишь, что я тебе исповедаюсь, но я не должна умолчать и хорошее изменение во мне, и так, если ты помнишь, я была очень склонна к сладкому *far niente*, теперь, напротив, я встаю рано, и ни одной минуты нет потерянной в дне. В доказательство сему я тебе расскажу, что я делаю сию минуту. Все бабшмаки кроила и шила и много еще другого хорошего, например, Машу заставила после обеда сидеть и работать, я же беспрестанно должна заниматься, она так любит учиться. Но останавливаясь на этих словах, я еще не забыла, что последнее мое письмо было наполнено рассказами о моих детях... Еще мое главное занятие музыка. Концерт Гуммеля меня с ума свел, а другое — рондо Герца. Эта последняя пьеса ужасно трудна и тем более меня занимает. Прощай, мой милый братец, вот тебе довольно длинное, но не весьма интересное письмо. Целую тебя со всею нежностью твоей хорошо известной дружбы. Твоя Е. Языкова.

4. Письмо М. Н. Волконской.

27 сентября 1830 г.

Вот я, наконец, в Петровском Заводе. Я, наконец, достигла цели последних четырех лет моей жизни здесь, — а именно соединиться в острого с моим мужем. Я испытываю душевное спокойствие, удовлетворение и благосостояние, которыми давно не наслаждалась.

Первая моя забота, написав моим родителям, успокоить Вас касательно Вашего доброго и милого сына. Муж мой говорит, что он прекрасно перенес свое переселение из Читы в Петровский Завод, после двухмесячного перехода он чувствует себя как нельзя лучше. Чистый горный воздух должен был даже восстановить его силы и подкрепить его для перенесения томительной тюремной жизни. Ваши

¹⁾ Младший сын Языковой.

последние письма, сударыня, принесли ему приятную новость о выходе замуж его сестры Екатерины; он ее поздравляет от глубины сердца, как и всех вас, он в восторге, так как из письма своего зятя, которого уже любит сердцем и душой, он видит, что спутник ее жизни умеет достойно ценить счастливые качества ее характера; да благословит Бог их союз и да сохранит их счастье и да услышит Он молитвы Вашего сына о том, чтобы Вы увидели, как вырастут их дети, чтобы любить Вас, сударыня, как уже любят Вас те, кто обязан Вам жизнью.

Прибытие Лизы и ее присутствие среди Вас должно было завершить счастье мнѣнны Екатерины. нежная привязанность которой к брату ему известна, а похвалы, расточаемые нашей дорогой Лизой молодому супругу сестры, увеличили хорошее мнение, которое Вы сын о нем составил. Он поручает мне уверить Вас, сударыня, что счастлив Вашим счастьем и что, думая о Вас, он старается отвлечься от черных мыслей, приходящих ему в голову, которые он обходит молчанием, чтобы не омрачать содержания этого письма. Скажите м-м Языковой, что я прощаю на этот раз ее долгое молчание ввиду приводимых ею причин, но скоро у нее уже не будет других столь основательных, и я ожидаю длинного письма с ее стороны, чтобы заглавить вину. Я прошу ее, как милости, сообщить мне известия о м-м Камилле, которая внушает мне действительное восхищение и симпатию. Я не знаю ничего о состоянии ее здоровья, так как последние вести, дошедшие до нас, были мало утешительны.

Кончаю, сударыня, снова выражая Вам сердечное уважение, которое я навсегда к Вам питаю, и прося Вас верить в совершенную преданность Вашей Марии Волконской.

5. Письмо В. А. Ивашевой к сыну.

27 апреля 1827 г.

Вот уже три недели, что я не имею от тебя известий, любимый и дорогой Василий. Прошу милосердного Спасителя ниспослать тебе всю благодать и хранить тебя, дорогой друг. Твой добрый отец вчера уехал со своей сестрой в Головкино на свадьбу Петра, я же уклонилась под предлогом, что боюсь переезжать реку, такую широкую теперь, но, по правде, я слишком несчастна, чтобы принимать участие в каких-нибудь увеселениях. Душа моя слишком глубоко страдает, чтобы быть среди счастливых людей. Не подумай, что я завидую тебе, что его почитываю. Нет, я всем его желаю, но разлучать его не могу; ничто не может меня развлечь вдали от любимого сына. мое единственное желание — делить твои страдания, быть с тобой, тогда, я думаю, душа моя ожива бы. Сестра твоя Лиза не прислала мне этого письма, вероятно, она не будет писать на этот раз. Катя приняла своим рисованием. Прощай, мой милый Василий. Целую тебя крепко и благословляю. Да ниспослет тебе свое благословение наш Божественный Спаситель и да хранит тебя Пресвятая Дева. — вот моя молитва за тебя, дорогой Василий. Мне не к чему уверять тебя в своей привязанности, ты ее знаешь. Остаюсь навсегда твой истинный друг и мать Вера Ивашева.

6. Письмо М. К. Юшневской К. П. Ивашевой.

4 июля 1836 г. Петровский Завод.

Милая моя и добрая Камилла Петровна. О сию пору не можем мы привыкнуть, что Вас нет с нами, грустно, восторжимо грустно. Не надо привыкать к разлуке с Вами. О сию пору ничего мы еще не знаем, где Вы будете поселены, и с истерпением ожидаем писем от Вас, добрые наши Камасинька и Василий Петрович. Что моя милая Машенька ¹⁾ делает? Помнит ли она свою Кизи? Как перебрала она дорогу? все ли она такая милая и болтливая? распишите ее за меня и передайте мне все новые слова, которые она начала в дороге говорить.

Мой добрый Александр Петрович ²⁾ здоров, поручает сказать Вам все, что чистая безусловная дружба может только выразить. Он от души обнимает своего любимого Василия Петровича и дружески относится к моей Камилле Петровне. Просит Машеньку ³⁾ за него похлопотать. Вспомните его прощание с Вами, он эти чувства сохранит навсегда к семейству Вашему.

Я, мой друг Камасинька, ничего еще почти не вышла, мало прибавилось к моей работе, зато, как засяду, награжу все потерянное время. Я чувствую себя как-то некоротко все это время, потому не могу пристально сидеть за пальцами, хотя почти все время сижу дома. О Марию Пил. ⁴⁾ выдаюсь часто, с ней вместе были мы у Саши ⁵⁾, она уже писала вам о том, в этот самый день отослала и образ в Петровск. Вот вам на память от этого ангела, который молит за Вашим счастьем. У Сашеньки липий желтых и сарае ⁶⁾ множество, много и разного сорта цветов, все так же, как было при Вас, и будьте уверены, что куда я здесь, буду все исполнять, как исполняли Вы сами.

У нас все здоровы. Мой Александр Петрович думает ехать в начале августа, но еще верно ничего не знаем. Дети каждый день у Кат. Пв. ⁷⁾, и она любит Илиньку ужасно. В каземате все по старому. Знакомые Ваши кланяются Вам. Прочие гуляют изредка по двору, потому что продолжительные дожди не дают. Говорят также, что в-даль на них ввсегда нападет, чтобы отрезала на посещение каких тошнотоска, что не хочется никому выходить из своего номера.

Дом наш еще никак не занят. Петр ⁸⁾ Ваш здоров, но грустен, одинокий, ужасно. Несколько дней плакал, как ребенок, потом начал говорить. Я его позвала к себе, потолковала с ним, и он дал мне честное слово, что будет грустить, не принося ни утешения и мне.

Прощайте, добрые мои, милые мои, друзья мои, Камилла Петровна и Василий Петрович, Машутка милая! Помнитесь от меня всем домашним, начиная с няни, Марье, Кате и Сидоровичу. Они мне так охотно всегда устривали, могу ли я их забыть. Пусть и они меня вспомнят иногда. Да будет над Вами всеми благословение Бога. Пожалуйста, пишите мне все, как Вы живете, какой у Вас домик etc.

¹⁾ Дочь В. П.

²⁾ Юшневский.

³⁾ Волконская.

⁴⁾ Первенец Ивашевых, умерший ребенком и похороненный на Петровском заводе. Говорится об его могилке.

⁵⁾ Полевые липии.

⁶⁾ Трубенная.

⁷⁾ Сторож у Ивашевых.

Вы меня более утешите этим, чем думаете. Прощайте, мои добрые дорогие друзья, да хранит Вас Бог. Мария Юшневская.

7. Письмо М. Волконской К. П. Ивашевой.

27 июня 1836 г. Петровский Завод.

Дорогой и добрейший друг, я только что вернулась с могилки Вашего ангелочка, где отслужила панихиду. Милла ¹⁾ по собственному побуждению положил букет к его ногам. 26-го, говорят, был праздник, как и 28-го, так что нам пришлось отложить до сегодня. Я с Марьей Казимировной ²⁾ нарвала незабудок, которые она Вам перешлет.

Мы много думали о Вас обоих, одни и те же мысли соединяли нас в эти минуты. Отец Хромов просит передать Вам его дружеский привет и пожелание счастливого пути. Ваша старая кухарка передала мне Вашу записочку, дорогая, а также платок. Вы плохо начинаете свое путешествие, если уже с... ³⁾ у Вас снова явились Ваши головные боли.

Муравьевы уехали; прощание Никиты с могилой жены ⁴⁾ было раздирающее. Можно сказать, что он вторично переживал утрату. Бедная Поночка ⁵⁾, наконец, знает, что мать ее погребена здесь, она все время молилась на коленях около плиты и, идя к экипажу, нарвала букет и дала его Катерине Ивановне ⁶⁾ положить „маменьке на ножки“.

Что вы делаете? Что с Вами? Говорят, что Вы направляетесь в Тобольск, но это только слухи, а ведь Вы знаете, насколько по отношению к нам их добросовестно передают.

Домик Ваш продан. Я жду с нетерпением, чтобы его заняли, а то эти закрытые ставни наводят на меня тоску. Там будет жить местный помощник.

Я должна кончать, дорогой друг, я запоздала, сегодня уже суббота, а я еще не принималась за свою корреспонденцию. Судите, как я беспокоюсь.

Сергей ⁷⁾ чувствует себя немного лучше, боль уже не так сосредоточена и распространилась по всей руке и кисти, — доказательство быстрого действия вод. Я не жду его ранее трех недель. Езда в экипаже причиняла ему ужасные страдания. Надо вооружиться терпением, и, может быть, Бог поможет ему навсегда избавиться от этой болезни. Дети мои здоровы. Неллинька ⁸⁾ еще вспоминает Маню и носит ее платице, которое я забыла Вам отдать. Нелли в нем так напомнила мне Машеньку, что я не могу решиться Вам его отослать.

Прощайте, мой добрый друг, все друзья Ваши Вам кланяются. Иван Иванович ⁹⁾ со рвением принялся исполнять Ваше поручение. Целую Вас сердечно, так же как и Базилья ¹⁰⁾, передайте дружеский

¹⁾ Маленький сын Волконской (впоследствии попечитель Петербургского учебного округа).

²⁾ Юшневская.

³⁾ Неразобранное название местности.

⁴⁾ А. Г. Муравьева умерла в Петровске, оставив мужу малолетнюю дочь.

⁵⁾ Дочь Муравьевых.

⁶⁾ Трубецкая.

⁷⁾ Волконский.

⁸⁾ Дочь Волконской, Елена Сергеевна, в замужестве Кочубей.

⁹⁾ Пущин.

¹⁰⁾ Ивашев.

привет Николаю Васильевичу ¹⁾. Целую и благословляю Машеньку. Храни Вас Бог. Мария Волконская.

Артамон Захарович ²⁾ просит Вас и Вашего мужа не забывать его. Пв. Иванович ³⁾ просит меня благодарить за расположение Ваше к нему и всегда с особенным чувством вспоминает Вас.

8. Письмо В. П. Ивашева к отцу.

1 декабря 1838 г. Туринск.

На прошлой неделе мы получили Ваше письмо, несравненный мой родитель, в тот самый час, как следовало отправлять наши. Но мы были так обрадованы тем, о чем Вы нас извещаете, что не захотели мы ожидать следующей недели для передачи Вам наших чувств.

Не стану повторять, сколько Камиллушку и меня взволновало и обрадовало матушкино решение соединиться навсегда с достойной ее по самоотвержению дочерью, разделять навсегда с нею радости и лишения, которые Провидение нам ниспослает.

Прибытие матушки, если желание ее с милостивого соизволения Монарха увенчается успехом, доставит нам неисчислимое множество утешений и наложит нашей жизни новые отрадные обязанности, которые почтем дополнением своего счастья. Мы с Камиллой теперь уже заботимся о приготовлении и убранстве комнатки для нее, и жеманушка моя жалуется на мою медленность. Уже и теперь она с восхищением помнит, как будет за нею ухаживать и почитать. Беспредельно начинается и прерывается разговор об этом предмете, неисчерпаемом предвидимыми для нас радостями. Сколько раз перечитано было Ваше письмо. И мы с умилением видим, что Вы, добрый наш и нежный родитель, предугадывали и делили наши чувства.

Вот уже третья неделя, как в руках у меня с Басаргиным написанный Вами журнал путешествий Суворова и Антингова история. Мы оба нашли, что один порок Вашего отрывка тот, что он слишком короток; но и в нем Вы успели удачно добавить несколько черт к известному характеру знаменитого полководца. Я знал отчасти и прежде Ваши к нему отношения; но много нашей совершенно для меня нового. А с каким удовольствием я припоминаю то, что много было от Вас слышано: того не умею выразить. Жадно перечитывал и в Антинге и в Ваших добавлениях то место, где упоминается о Вашем военном поприще, и о доверенности, которую к Вам питал славный вождь.

Басаргин принялся за первую часть и перевел уже много. У меня переведено всего страниц десяток второй части. Мне не утнаться за ним: в извинение себе скажу, что у него более досужего времени, а теперь положение Камиллушки должно часто отрывать от пера.

После этого отчета Вы, может быть, подумаете, почтенный мой отец, что я приволиваю себя работать; напротив того, могу Вас уверить, что нахожу великое удовольствие в этом занятии. Притом же в этом сочинении мало встречается затруднительных мест для переводчика. Нам покамест затрудняют названия мест и речек, потому что

¹⁾ Н. В. Басаргин.

²⁾ Муравьев.

³⁾ Пущин.

иные автором или французским переводчиком исковерканы, а у нас нет подробных карт и планов, в которых они могут только находиться. Желательно бы, даже было, чтобы планы главных сражений и карты театров войны находились при истории.

Скажите сестрицам, почтенный мой родитель, что это мне лишь удовольствие отвечать на их милые письма. Целую Ваши и их ручки. Прошу Вашего благословения для всей семьи. Ваш покорный и послушный сын В. Ивашев.

Приниска К. П. Ивашевой.

Мы не получили писем от Вас, несравненный наш батюшка, с этой почтой, как равно и ни от кого из наших, что мало утешительно для моего терпения, но что делать? Я еще вся взволнована Вашими последними известиями ¹⁾ и горю желанием узнать от моей добрейшей матери о судьбе ее планов. Дети здоровы, и я еще брожу.

¹⁾ Отец извещал в предыдущем письме о предлагаемом приезде матери Камиллы в Туринск.

Ф. И. Тютчев и его эниграммы.

I.

Со времени опубликования биографии Ф. И. Тютчева, написанной И. С. Аксаковым, дело изучения жизни поэта мало продвинулось вперед. История текста нам также была мало известна. До сих пор мы располагали ничтожным количеством автографов. Но сейчас, в настоящее время мы находимся в более благоприятных условиях при работе над биографией поэта и над текстом его стихов: нам удалось ознакомиться с новыми весьма ценными материалами.

Работа наша далеко еще не закончена, многое еще нами не изучено и не обследовано до конца, но мы думаем, что даже простое перечисление документов представит некоторый интерес. Все эти документы, по месту их нахождения, приходится разделить на три категории. Во-первых, документы, находящиеся в книгохранилище Румянцевского музея, в Петербургской Публичной библиотеке и в Пушкинском доме. Документов эти известны и отчасти опубликованы. В Румянцевском музее хранятся письма Ф. И. Тютчева к его второй жене, Эрнестине Федоровне; в Петербургской Публичной библиотеке имеется автограф стихотворения, не вошедшего ни в одно из существующих собраний сочинений поэта—„Он, умирая, сомневался“; наконец, в Пушкинском доме есть несколько незначительных документов, о них сообщено во *Вспоминаниях Пушкинского дома* за 1914 год. Кроме того, надо упомянуть о документах, находящихся в руках неучаста о. Пирринга (писем к нему И. С. Гаттарину), и о письмах Тютчева к бар. Карлу Пфеффену, которые хранятся у Гибера Пфеффеля в Париже. Во-вторых, документы, хранящиеся в Мурановском архиве, — документы, до сего времени неизученные, которые представляют немалый интерес для всех, кто небезразлично относится к биографии поэта. Краткий перечень этих документов таков: 1) 26 писем поэта к его супруге, относящихся к 1868 году; 2) 24 письма к ней же 1869 года; 3) 34 письма Ф. И. Тютчева к родителям, относящиеся к 1836—1845 годам, большинство их послано на Мюнхена; 4) 12 писем к матери—Е. И. Тютчевой; 5) одно письмо 1860 года к кузине—Н. В. Муравьевой, урожденной Шереметевой; 6) письма Ф. И. Тютчева к дочери М. Ф. Вириловой—одно 1857 года, пять 1863 года и три без даты; 7) письма Ф. И. Тютчева к кн. П. А. Вяземскому, всего семь—одно 1845 года, прочие без даты; 8) шесть писем к Дарье Ивановиче Сушковой, сестре поэта; 9) три письма к брату Николаю Ивановичу Тютчеву; 10) четыре письма к Николаю Васильевичу Тютчеву.

евичу Сушкову; 11) 52 письма Ф. П. Тютчева к дочери, Екатерине Федоровне Тютчевой—от 1854 до 1872 годов; 12) три письма и две копии с писем поэта к кн. Енис. Эсперовне Трубецкой; 13) 140 писем Ф. П. Тютчева к дочери его, Анне Федоровне Аксаковой, относящиеся к разным годам—от 1838 года до года его кончины. Последние письма датируются февралем 1873 года; 14) письма к дочери, Дарье Федоровне Тютчевой, всего сорок пять—первые датируются 1857 годом, последние 1872; 15) 35 писем Ф. П. Тютчева к Ивану Сергеевичу Аксакову от 1865—1871 годов; 16) одно письмо поэта к Юрию Федоровичу Самарину, от 1867 года; 17) восемь писем к сыну Ивану Федоровичу Тютчеву, три 1870 года, прочие без даты; 18) письма Ф. П. Тютчева к барону Карлу Иерфелю—всего семь, относящиеся к 1847, 1860, 1862 и 1870 годам; 19) альбом в желтом кожаном переплете со списками стихов Ф. П. Тютчева. Своевременно я подробно опишу этот альбом, а пока сообщу об его содержании кратко. В нем имеется семьдесят две копии со стихов Ф. П. Тютчева, сделанные писарской рукой, парадным почерком. В некоторых стихах, на что я обращаю внимание историков литературы, имеются поправки, сделанные рукою самого поэта. Далее следуют стихи, переписанные, повидимому, рукою Эрнестины Федоровны Тютчевой—всего двадцать пять. Кроме этих списков на страницах самого альбома, в него вложены копии со стихов поэта на отдельных листках почтовой бумаги, иногда с водяными знаками и с обозначением года, сделанные почти все рукою М. Ф. Бирлиевой. Таковы материалы второй категории. Все эти документы хранятся в Мурановском архиве в совершенном порядке¹⁾.

Подвизаясь случаем, чтобы выразить мою благодарность Николаю Ивановичу, Федору Ивановичу, Софии Ивановне Тютчевым и внучке поэта Екатерине Ивановне Пигаревой, за то драгоценное содействие, какое они мне оказали и оказывают при рассмотрении и изучении архивных документов. Считаю своим приятным долгом выразить также мою признательность Ольге Михайловне Веселкиной, которая немало потрудилась над разбором архива и составлением его описи. Не могу не отметить также любезного внимания к моей работе Трифона Георгиевича Трапезникова, оказавшего мне содействие при моих поездках в Мураново.

Наконец, третья категория документов, мне известных, относится главным образом, к истории текста стихов Ф. П. Тютчева. Эти документы, автографы и прижизненные списки—копии произведений поэта, находятся сейчас не в Мурановском архиве, а в руках частных лиц, любезно предоставивших мне их для изучения, описания и опубликования.

Как известно, безмерные сокровища великой русской литературы далеко нами еще не изучены. Мы не обладаем совершенными изданиями произведений наших классиков. Федор Иванович Тютчев не избежал общей участи наших великих поэтов. Не существует собрания его стихов с текстом, критически проверенным.

Если не считать трех изданий сборников стихов поэта, опубли-

¹⁾ Разбор и обследование Мурановского архива еще не закончен; возможно, что будут иные находки. Я не упоминаю здесь о материалах, имеющих косвенное отношение к Ф. П. Тютчеву. Среди них есть весьма ценные.

нованных редактором „Русского Архива“, у нас имеется пять изданий его стихов. Во-первых, издание 1854 года, в котором принимал участие Н. С. Тургенев; во-вторых, издание 1868, в котором, при содействии Н. И. Бартенева, принимал участие Н. С. Аксаков; в-третьих, издание Э. Ф. Тютчевой 1886 года, при участии А. Н. Майкова; в-четвертых, издание сына и дочери поэта, Ивана Федоровича и Дарьи Федоровны Тютчевых, при участии А. А. Флоридова и, наконец, в-пятых, издание Маркса, под редакцией Н. В. Быкова с предисловием В. И. Брюсова. В издании 1886 года нет никаких примечаний и никаких указаний на принципы, положенные в основу при оценке и выборе того или иного текста; в издании 1900 года имеются в примечаниях лишь указания на те журналы и альманахи, в которых впервые были напечатаны стихи. Вариантов лет. Редакторы этих первых четырех изданий, несомненно, имели в руках автографы поэта, но ничем не обнаружили того, что они были счастливыми обладателями этих сокровищ. В последнем издании редактор дает в примечании варианты на основании первопечатного текста, но его ссылки на оригиналы столь редки и случайны, что нам остается предположить, что он их в руках не имел вовсе, за исключением, быть может, шести-семи. Сложилось даже легенда среди историков литературы, что оригиналы стихов Тютчева утрачены, что их вообще не существует. В основу текста Н. В. Быков положил издание 1854 года. Я не решаюсь пока высказывать окончательную оценку этого метода, но обращаю внимание читателей на то, что Н. С. Тургенев был редактор весьма капризный и неосторожный, и надо выяснить меру его участия в опубликовании стихов Тютчева. Мы ведь знаем, например, что он предписывал со стихами Фета и как их бесцеремонно исправлял. Поэтому нужна большая осторожность при пользовании текстом 1854 года. Окончательные выводы о ценности текста 1854 года я откладываю до того времени, когда мною будет закончено изучение имеющихся в моем распоряжении автографов, а пока я сообщу кратко, чем я в настоящее время располагаю.

Итак, третья категория мне известных документов такова: во-первых, сто шестьдесят девять автографов опубликованных стихотворений поэта; во-вторых, двести тридцать два списка таких известных стихотворений; в-третьих, несколько сомнительных оригиналов, подлинность которых надлежит проверить; в-четвертых, стихотворения Тютчева, не вошедшие ни в одно из собраний его сочинений и до сих пор неизвестные, имеющиеся в подлинниках, его рукою написанных — таконных семнадцать стихотворений. В это число входят: 1) три детских стихотворения; 2) десять эпитграмм и стихотворных шуток; 3) одно политическое стихотворение, относящееся к 1865 году; 4) одно французское лирическое стихотворение 1838 года; 5) три стихотворения, относящихся к последним годам жизни поэта. Кроме этих несомненных стихотворений Тютчева, имеющихся в автографах, есть еще одна очень значительная эпитграмма поэта, правда в копии, но по многим соображениям заслуживающей совершенного доверия.

Список новых стихотворений поэта этим, однако, не исчерпывается. Я не решаюсь пока с уверенностью приписать Ф. И. Тютчеву несколько чрезвычайно любопытных стихотворных фрагментов и черпунков, которые меня сейчас занимают, но, кажется, можно будет скоро установить их подлинность и тогда количество вновь открытых стихотворений увеличится. Одно из них представляет исключительный интерес.

Этим я должен ограничить мое сообщение о материалах, над которыми я сейчас работаю, и приступить к теме моей статьи о шести неизвестных до сих пор эпиграммах Тютчева.

Эпиграмма — одна из тех поэтических форм, которая весьма определительна и характерна для поэта, как человека в его житейской обстановке. Она, так сказать, биографична по преимуществу. Если в своей лирике поэт уходит от повседневности, если он, причастный лирическому опыту, тоскует, по слову Пушкина, „в забавах мира“, то едва ли он вполне чужд суетному свету, когда у него является желание поразить врага или завоевать наименьшую пошлость. Тут поэт вмешивается непосредственно в жизнь. Эпиграмма не лирична и драматична. Она реплика из диалога. Автор эпиграммы прежде всего собеседник. Вот почему немаловажно припомнить живой образ поэта в его быте, в его среде и в его отношениях с окружающими.

Припомним образ Тютчева, как собеседника. Как его чувствовали и понимали современники?

Тютчев, по свидетельству современников, был необыкновенный человек. Л. Н. Толстой ехал однажды в гости к Фету и встретил где-то на маленькой станции Тютчева, беседовал с ним и потом не мог никак забыть этой встречи, этого „глубоко настоящего-умного старика“.

И все, кому довелось его знать лично, все повторяют, что Тютчев был необычайно умен: кн. П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, И. В. Киреевский, И. С. Аксаков, М. П. Погодин, В. А. Жуковский, гр. В. А. Соллогуб, все, решительно все...

Умер Тютчев — и И. С. Тургенев в письме к Фету из Буживаля от 21 августа 1873 года прежде всего вспоминает об уме Тютчева: „Милый, умный, как день умный, Федор Иванович. Прости. — прощай“.

Впечатление человека необыкновенного и умнейшего производит Тютчев не только на русских, у себя дома. Его заметил, по преданию, Гете, с ним беседовал и спорил Шеллинг, его ценил Гейне.

Варнгаген-фон-Энзе записывает в своем дневнике мнения и суждения Тютчева. Барон Пфеффель, друг поэта, пишет в одном из своих писем о Тютчеве, в эпоху его мюнхенской жизни: „Мы находимся под очарованием этого дивного ума“.

И. В. Киреевский писал о Тютчеве из Мюнхена весной 1830 г., когда поэту было 27 лет: „У нас таких людей европейских можно счесть по пальцам“.

Гр. В. А. Соллогуб в своих воспоминаниях рассказывает о Тютчеве: „Он сидел в гостиной на диване, окруженный очарованными слушателями и слушательницами. Много мне случалось на всем веку разговаривать и слушать знаменитых рассказчиков, но ни один из них не производил на меня такого чудесного впечатления, как Тютчев. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, бережно скатывались с его уст „...“. Когда он начинал говорить, рассказывать, все мгновенно умолкало и во всей комнате только и слышался голос Тютчева. Я думаю, что главным прелестным Тютчева в этом случае было то, что рассказы его и замечания *couldient de source* — как говорят французы: в них не было ничего приготовленного, выученного, придуманного... Тютчев никогда не говорил о себе и особенно о своих стихах. „Федор Иванович, — рассказывает Фет, — более всего сжимался при малейшем намеке на его поэтический дар, и никто не дерзал заводить с ним об этом речи. Но, как ни скрывался благоуханных цветов, аромат их слышится в комнате, и где бы он

Когда бы вы ни встретили мягких до женственности очертаний лица Федора Ивановича с открытой ли головою, напоминающей мягкими и перепутанными сединами его стихи:

Хоть свежесть утренняя веет
В моих вклочоченных власах...

Или в помятой шляпе, задумчиво бредущего по тротуару и волочащего по земле рукав поношенной шубы, — вы бы угадали любимца муз, высказывающего устами Лермонтова:

И не с тобой, а с сердцем говорю.

Те, кто оставил нам свои воспоминания о Тютчеве, говорят о нем, как о старике. И немудрено— всю свою молодость, двадцать два года Тютчев прожил за границей. И его видал и знал, — рассказывал Л. Н. Толстой: — „Это был старичок тихонький, говорил по-французски лучше чем по-русски, и вот такие стихи писал“. И чувствуешь, что Толстой иначе себе и представить не может Тютчева, как „тихоньким старичком“... Толстому кажется, что и Silentium Тютчев написал, будучи стариком. Прочитав Пушкина: „Когда для смертного умолкнет шумный день...“, Толстой замечает: „Это — молодой, неудивительно, но Тютчев“... „Старичок тихонький“... А, ведь Тютчев написал Silentium, когда ему еще не было и тридцати лет.

Один только М. П. Погодин помнил Тютчева „молоденьким мальчиком с румянцем во всю щеку“. Вот разве мюнхенские немцы — Ботмеры, Ганштейны, Иффефели, Мальтицы — сохранили в своих архивах воспоминания об юном Тютчеве, но пока эти воспоминания не опубликованы.

Современники поэта в России помнили его иным, уже старым, таким, каким описал нам его М. П. Погодин: „Пизенький, худенький старичок, с длинными отставшими от висков, поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни на одну пуговицу не застегнутый, как надо, вот он выходит в ярко освещенную залу. Музыка гремит, бал кружится в полном разгаре... Старичок пробирается нетвердою поступью вдоль стены, держа шляпу, которая сейчас кажется упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает все собрание... К нему подходит кто-то и заводит разговор... Слово за слово, его что-то задело, он оживился, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация... Ее надо бы записать... Вот он роиает, сам того не примечая, несколько выражений, запечатленных особой силой ума, несколько остроумств, которые тут же подслушиваются соседями и передаются шепотом по всем гостиным“. Он был едва ли не самым светским человеком в России, — рассказывает гр. В. А. Соллогуб, — но светским в полном значении этого слова. Ему были нужны, как воздух, каждый вечер яркий свет люстр и ламп, веселое шуршанье дорогих женских платьев, говор и смех хороших людей. Между тем его наружность очень не соответствовала его вкусам: он собою был дурен, небрежно одет, неулыбок и рассеян; во все, все это исчезало, когда он начинал говорить, рассказывать... „Он собою был дурен“, — говорит гр. Соллогуб. Но вот, однако, Фет нашел в этом лице что-то пленительное и необычайное. Какое же лицо было у Тютчева?

„Это не было только человеческое лицо, — пишет один современник поэта: — Это не было только человеческое лицо, а какое-то неулов-

вимое невольно поражающее каждого сочетание линий и штрихов, в которых жила высокая душа гения и которые как бы светились печальной духовной красотой. На плотно сжатых губах постоянно блуждала грустная и в то же время ироническая улыбка, а глаза, задумчивые и печальные, смотрели сквозь стекла очков загадочно, как бы что-то прозревая впереди. И в этой улыбке, и в этом грустном ироническом взгляде сквозила как бы жалость ко всему окружающему, а равно и к самому себе. Если бы человеческая душа, покинувшая бренную оболочку, имела бы свою физиономию — она бы должна была смотреть именно такими глазами и с такою улыбкою на брошенный ею мир. Тютчева было грустное ироническое отношение к миру и к людям, которые его окружали. Федор Иванович никогда никого не осуждал, принимая человечество таким, каково оно есть, с каким-то особенным, невозмутимым благодушным равнодушием.

„Равнодушие это или, как он метко называл, *l'indulgence raisonnee* являлось у него не в силу христианского всепрощения и смиренного мудрия, а в силу глубокого понимания тайников человеческой души и сознания, что иначе, чем так, как есть, на земле быть не может. Поэтому-то он и делал такое резкое различие между *l'indulgence raisonnee* et *l'indulgence chretienne*, приписывая себе, и вполне справедливо, только первое“.

Эту характеристику Тютчева едва ли можно назвать вполне точной.

Не везде бывал поэт равнодушен и не всегда терпим. У нас теперь в руках такие письма Тютчева, которые свидетельствуют иногда о не малом гневе поэта, но важно и верно то, что грустная ирония его никогда не покидала.

И эта тонкая ирония поразила воображение современников.

Тютчев всегда иронизировал и всегда острил. Об этом все свидетельствуют. За два года до своей смерти Тютчев встретил в Петербурге греческого посланника Будуриса и пишет в письме к жене от 14 сентября 1871 года: „Из вновь приехавших здесь новый греческий посланник Будурис, которого мы когда-то часто видели в Мюнхене и он был еще совсем молодым человеком. Он повестил меня и удивил живостью и верностью своих воспоминаний. Можно подумать, что мы вчера только встретились в какой-нибудь Мюнхенской гостинице. Он напомнил мне кое-что сказанное мною в те времена, так как я, повидимому, тогда уже острил“. И при этом Тютчев, не щадя себя, грустно замечает: „Следовательно, вся жизнь ушла только на это“ ... „Свет“ запоминал и повторял его „словечки“. Смеялись, что Австрию Тютчев называл Ахиллом, у которого повсюду пятка; нашего канцлера Горчакова он называл „нарциссом чернильницы“ (*La narcissé de l'encre*); по поводу чрезмерных упований на „русского Бога“ Тютчев заметил в дни Севастопольской кампании: „Нужно все-таки сознаться, что положение русского Бога не слишком“. Во время салонной игры в „questions et réponses“ Ф. И. Тютчев на вопрос — „Quel est le but de la vie, si ce n'est le secrétaire?“ — ответил тотчас же: „Cette vie n'est que la moitié du jeu car elle n'est qu'une question dont la réponse est ailleurs“. Из этого ответа нетрудно вывести заключение, что иногда остроты поэта выходили за пределы салонных шуток. Князь Н. С. Гагарин в неизданном письме к А. Н. Бахметевой рассказывает, что встретил поэта в Петербурге во время процесса Дантеса. Тютчев всегда тяготился жизнью в России, несмотря на свою близость к на-

приотическим и славянофильским кругам. И вот в связи с этой тоскою поэта по чужбине у него произошел с кн. Гагариным такой разговор. Князь сообщил, что „военный суд“ (?) только что вынес приговор Геккерену-Дантесу. — „A quoi est-il condamné?“ — спросил Тютчев. „Il sera renvoyé à la frontière sous la garde d'un feldjäger.“ — „En êtes vous bien sur?“ — „Parfaitement sur.“ — „Пойду, Жуковского убью“.

Князь П. А. Вяземский предлагал составить „Тютчевяну“ и называл поэта „жемчужноустом“¹⁾... Тютчев острит и все смеялся вокруг, но сам он не смеялся. „Вся жизнь ушла только на это“... „Я чувствую себя как бы уничтоженным перед этими столь живыми и точными воспоминаниями. Мне кажется, что я уже на три четверти ушел в небытие, и единственное, что еще оставалось на мою долю — это чувство тревоги“. Это было написано за два года до смерти, но чувство тревоги и ранее не покидало Тютчева никогда.

И чем очаровательнее и пленительнее он был в общении с людьми, тем ужаснее и мучительнее была его внутренняя жизнь, о которой немногие догадывались. Своею тоской, разочарованием и сердечною болью он ни с кем не делился. И только его странная и болезненная рассеянность давала повод заподозреть, что в душе этого человека есть какая-то тайна и он занят ею всегда и везде.

Про его рассеянность существует не мало рассказов. Однажды в Петербурге, на приеме вел. кн. Елены Павловны Тютчев появился в ливрее лакея, которую он по ошибке надел вместо своего камергерского мундира: в Шувалове, на концерте, он разгуливал с ситцевою трипкой на плечах вместо пледа; приехав однажды на какой-то вечер, он у подъезда сбросил шубу на руки оборванца нищего, приняв его за швейцара; во время придворной церемонии, поддерживая шлейф великой княгини, он вдруг, увлеченный какою-то мыслью, остановился, и у него с трудом вырвали из рук злополучный шлейф, который он в рассеянности крепко держал, не позволяя княгине продолжать свое торжественное шествие; однажды, гуляя по саду, он положил руку на шею восьмилетнему ребенку и, задумавшись, стал ее сжимать, пока мальчик не заплакал и нянька не спасла его от смешной опасности: поэту показалось, что в руках у него трость.

Князь П. С. Гагарин рассказывает в одном письме: „Припоминаю, что в 1834 году, в бытность мою в Карлсбаде, до меня дошли слухи о том, что Тютчев был поднят без сознания в Мюнхене, в Гофгартене. По возвращении в Мюнхен я спросил его, что это значило. Вот что он мне ответил: — „Однажды ваш дядя пригласил меня обедать, я думал, что к шести часам, а пришел в ту минуту, когда вставали из-за стола. Итак, я не обедал. На другой день жена моя отсутствовала, некому было заказать обед, и я без него обошелся. На третий день я потерял привычку обедать, но силы мне изменили, и я лишился чувств в Гофгартене“.

Таков был Тютчев. Он всех очаровывал своим остроумием, но в существе своем он был одинокий человек. Его рассеянность неслучайна. У него был какой-то внутренний голос, который как-то странно диссонировал с его внешней блестящей беседою, которая так пленяла окружающих. Эта двойная жизнь отразилась между прочим, на эпиграммах Тютчева. Они совсем невеселы. Это не пушкинские

¹⁾ Вуки поэта готовят к печати сборник острот и афоризмов Ф. П. Тютчева. Книга выйдет в ближайшее время.

эпиграммы, которые звучат и блещут, как червонцы, которые так за-
тейливы и задорны, а иногда и вовсе добродушны. Тютчевские эпи-
граммы несколько тяжелы, а иногда безнадежно грустны. Почти
все эпиграммы Тютчева посвящены политике. В них целая философия
истории. По одним эпиграммам этого философствующего поэта можно
уже конструировать все его политическое мировоззрение. Отношение
к Западу, к парламентаризму, к польскому вопросу, к национальной
проблеме, к внутренней политике—вот его темы в эпиграммах.

II.

До последнего времени были известны следующие эпиграммы
Ф. И. Тютчева: К портрету („Два разнородные стремления...“);
Москвичам („Куда себя морочите вы грубо...“); „Как верно
здравый смысл народа“...; „Напрасны и труд. Нет, их не
вразумишь...“ и, наконец, французская „Lorsqu'un noble
prince, en ces jours de démence“... Из этих пяти эпиграмм
первая („Два разнородные стремления“) оставалась не вполне разгадан-
ной относительно лица, на которое она была написана, а третья
(„Как верно здравый смысл народа...“) не была комментирована ни
в одном из собраний стихотворений поэта и содержание ее было не-
понятно. Нам удалось дать разъяснение к этим непонятым эпиграм-
мам, а также дополнить их список еще новыми, доселе не опублико-
ванными. К первым пяти эпиграммам теперь можно присоединить
шесть новых до последнего времени неизвестных, принадлежащих
перу Ф. И. Тютчева.

Третья эпиграмма, смысл которой оставался непонятным, чита-
лась, как известно так:

Как верно здравый смысл народа
Значенье слов определил.
Недаром, видно, от „ухола“
Он вывел слово „уходил“.

В настоящее время смысл этой эпиграммы ясен, благодаря авто-
графу, найденному в бумагах семейного архива Тютчевых. Автограф
имеется на клочке бумаги — рука, несомненно, самого поэта, — а на
верху также рукою Ф. И. Тютчева надпись: „A l'adresse du comte
Stroganoff“. Граф Сергей Григорьевич Строганов, родившийся в 1794 году
и умерший в 1882 году, был генерал-адъютантом и главным воспи-
телем наследника-цесаревича, Николая Александровича, сына Але-
ксандра II. Кончину цесаревича приписывали плохому уходу графа
Строганова. Таким образом, делается понятным наламбур Тютчева, а
также и дата эпиграммы. Это четверостишие, очевидно, написано
в 1865 году. Наследник скончался 12 апреля 1865 г. В издании сти-
хотворений 1868 года с этою именно датю напечатано было стихотво-
рение „На кончину Государя Наследника Николая Александровича“.
(„Все решено и он сплел...“). Политические толки, сопутствовавшие
болезни, и смерть наследника понудили Ф. И. Тютчева написать еще
одно стихотворение. Это стихотворение никогда не было опубликовано.
Мы впервые пользуемся оригиналом. Автограф читается так:

Сын царский умирает в Нице,
И из него нам строят ков.
„То Вожья месть за поляков“, —
Вот что мы слышим здесь в столице.

Из чьих понятий диких, узких,
То слово вырваться могло б...
Кто говорит так: польский поп,
Или министр какой из русских?

О, эти толки роковые,
Преступный лепет и шальной
Всех выроdkов земли родной.
Да не услышит их Россия...

И отповедью да не грянет
Тот страшный клич, что в старину:
„Везде измена — царь в плену“ —
И Русь спастись его не встанет...

Даты в оригинале нет, но имеется еще копия, и в копии есть дата: 7 апреля 1865 года. Петербург. В оригинале есть вариант. Первая строчка последней четвертой строфы читалась раньше: „Да не услышит... да не грянет“. Ручкою поэта зачеркнуто „Да не услышит...“ и наверху надписано: „И отповедью“.

Стихотворение это любопытно, как новая черта для характеристики взглядов Тютчева на польский вопрос. В первый раз по польскому вопросу Тютчев высказался в 1831 году. Это было время знаменательное не только в политическом отношении. Те дни отмечены составлением повтов, вмешавшихся в „спор славян между собой“. У нас прозвучал громовый голос Пушкина, а на Западе целая рать стихотворцев выступила против России. Среди них были довольно заметные, например, Беранже и Казимир Делавинь. И с нашей стороны выступил не один Пушкин. О польском мятеже известны стихи Жуковского и Хомякова. В то же время живший тогда в Мюнхене двадцатисемилетний Федор Иванович Тютчев откликнулся на события стихами весьма значительными. Стихотворение — „Как дочь родную на закланье“ — не менее замечательно, чем стихи Пушкина. Особенно значительна вторая строфа:

Но прочь от нас венец бесславья,
Сплетенный рабскою рукой:
Но за коран самодержавья
Кровь русская лилась рекой.

В заключительных строфах поэт, как известно, провидит „звезду с незримой высоте“. Это звезда русского народа. Она ведет его к „таинственной мете“. Обращаясь к польскому народу, поэт великодушно говорит:

Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода,
Как Феникс возродится в нем.

Поэт думал и не без оснований, что под Варшавой тогда шла борьба не самодержавного правительства Николая с польской революцией, а польской католической аристократии с русским народом.

Но спустя тридцать два года, ему снова пришлось быть очевидцем нового польского восстания.

Тютчеву в это время было шестьдесят лет. Польское движение понудило его останавливаться на событиях стихами, но на этот раз в это

лирическом признании не было уже тех великодушных и свободолюбивых мотивов, которые прозвучали так страстно и так значительно в стихотворении 1831 года. Эта перемена в Тютчеве объясняется тем, что на этот раз после опыта Севастопольской кампании вмешательство в наши дела европейских держав было возможностью более, чем очевидною. В августе он написал свои стихи: „Ужасный сон отяготел над нами“... В ноябре произошла известная история с поднесением адреса и горельефа с изображением архангела Михаила Муравьеву-Вилленскому. Протест по этому поводу кн. Александра Аркадьевича Суворова вызвал ответ Тютчева в стихах—„Гуманный внук воинственного деда“...

Вот к этому — то князю Александру Аркадьевичу Суворову (1804—1862), занимавшему одно время пост генерал-губернатора Прибалтийского края, и относится эпиграмма „Два разнородные стремления“... До сих пор она была известна с неопределенным названием „К портрету“. То, что эта эпиграмма относится действительно к князю А. А. Суворову, можно установить по копии, находящейся в альбоме дочери поэта Марии Федоровны Вирилевой. В этой копии имеется точное название „Портрет его светлости князя Суворова, 1866“. Эпиграмма предназначалась для сборника стихотворений 1868 года и была исключена по требованию поэта вместе со стихотворениями—„Еще к Петру Андреевичу Вяземскому“ и „Как верно здравый смысл народа“...

Этим пока можно ограничить наши замечания к эпиграммам, уже опубликованным.

Шесть новых неизданных до сих пор эпigramм по их документальному качеству приходится разделить на две категории: пять из них имеются в автографах самого поэта и одна, шестая, в списке о ценности и достоверности которого я в своем месте сообщу.

Первые пять эпigramм относятся к эпохе Александра II, к последним шестнадцати годам жизни Ф. II. Тютчева. Поэт по своей натуре был человеком николаевской эпохи, как бы критически и отрицательно он к ней ни относился. Но положение его в обществе, в придворных и бюрократических сферах, мало изменилось при Александре II-м. Зато изменилась политическая обстановка.

„Сдаю тебе команду не в добром порядке“, — сказал император Николай на смертном одре, благословляя наследника. Это была сущая правда. Императору Александру II-му надо было делать что-то иное — не то, что делал отец, а делать было трудно, потому что он привык повиноваться отцу, а главное любить его и уважать. И вот началась так называемая „эпоха великих реформ“. Трудно было осуществлять эти реформы тому, кто сомневался в их значении. Общество, то общество, которое могло бы „помочь“ в этом деле, было задушено самодержавною рукою Николая I, а за спиною полуживой общественности вырастал призрак нигилизма. Революционный нигилизм был прямым и необходимым следствием нигилизма правительственного, ибо самодержавие для самодержавия — худший из возможных нигилизмов. А идейное наследие Священного союза давно уже обнаружило свою внутреннюю пустоту. Умный Тютчев, „умный, как день, Тютчев“, видел многое в том, что совершалось вокруг него, но по-прежнему дела для него как-то не нашлось. Он остался таким же лишним человеком, каким был при Николае.

Внешняя жизнь Ф. II. Тютчева почти не изменилась. В 1857 году он по-прежнему числится в ведомстве министерства иностранных

тел и одновременно занимает место председателя Санктпетербургского комитета иностранной цензуры. В это время он часто встречается с А. В. Никитенко, и, благодаря запискам этого прилежного мемуариста, мы знаем об отношении Тютчева к цензурной практике. Тютчев был не очень подходящим чиновником, особенно при министре народного просвещения гр. Д. А. Толстом. Но вольнодумство Тютчева терпели: того требовал дух времени. Сам Тютчев в известном стихотворении в альбом Ваккара оправдывал свою цензурскую миссию, как „почетный караул“ при литературе, гонителем коей он не был никогда. В ноябре 1857 года Тютчев написал в виде письма к кн. Горчакову статью или записку о цензуре— „Lettre sur la censure en Russie“. Записка эта была опубликована лишь в 1873 году в год смерти поэта. В этом письме Тютчеву приходится осторожно, и как бы извиняясь и заранее оправдываясь, доказывать вещи слишком элементарные. Он защищает литературу, как это делал Пушкин, отстаивая не безусловную свободу печати, а лишь относительное право писателя на независимость суждения.

Более откровенен Тютчев в своих частных письмах и салонных беседах. В письме к жене от 5 июля 1858 года Тютчев резко критикует медлительность в деле реформ. Он опасается, что „бестолковщина“ поведет к катастрофе.

5 октября 1858 года поэт решился протестовать в комитете против проекта двойной цензуры—предупредительной и последовательной. В это время, в „сферах“, придумали еще один проект—устройство комитета по типу „bureau de la presse“ Наполеона III. Проект прошел. В комитет назначены были Н. А. Муханов, гр. А. В. Адлерберг и А. Е. Тимашев. На комитет возлагалась обязанность „любовно, патриархально и разумно“ направлять литературу на путь истинный. Писатели, по мнению сфер, явно подготавливали революцию. Так вот этот комитет должен был входить в непосредственные с ними сношения и действовать мерами „кроткого наизидания“. Предложили также и Ф. П. Тютчеву войти в этот Комитет, но на этот раз поэт имел мужество отказаться от предложенного поста. В декабре 1865 года А. В. Никитенко пишет у себя в дневнике: „Тютчев Ф. П. рассказывал мне о своем разговоре с Валуевым о делах печати. Он откровенно объяснил министру, что репрессивная система, принятая им, ни к чему хорошему не приведет“.

Тютчев пишет в одном письме: „Этот злополучный совет по делам печати есть нечто жалкое и совершенно недостойное отражения того целого, часть которого он составляет“.

Вот под влиянием каких настроений и обстоятельств Ф. П. Тютчев написал свою эпиграмму: „Печати русской доброхоты“... В семейном архиве Тютчевых имеется автограф Ф. П. Тютчева—карандашом на клочке плотной белой писчей бумаги, без вариантов и поправок:

Печати русской доброхоты,
Как всеми вами, господа,
Томнит ее—но вот беда,
Что дело не дойдет до рвоты.

Во времена царствования Александра II-го относятся еще две эпиграммы, направленные против тогдашних государственных деятелей. Одна эпиграмма такова:

Над Россией распростертой
Встал внезапно грозой—
Петр, по прозвищу четвертый,
Аракчеев же второй.

Эта эниграмма имеется в автографе самого Тютчева. Слово „четвертый“ и „второй“ подчеркнуты. Даты, к сожалению, нет. Копия этой эниграммы имеется и в альбоме М. Ф. Бирилевой. Эниграмма относится, вероятнее всего, к гр. Петру Андреевичу Шувалову,—едва ли она была направлена на другого Петра, а именно на Петра Александровича Валуева (1815—1890), известного государственного деятеля и писателя, обратившего на себя внимание своею запискою „Думы русского“, которая была составлена им в 1855 году под впечатлением падения Севастополя.

В 1861 году он занимал пост управляющего делами комитета министров и с 23 апреля того же года пост управляющего министерством внутренних дел. П. А. Валуев применял репрессии по отношению к печати. Между прочим, от его предостережений и кар страдал неоднократно, как публицист, П. С. Аксаков, женатый на дочери Ф. И. Тютчева, Анне Федоровне. Гонения, которым подвергался, как литератор, П. С. Аксаков, вызывали у Тютчева немалое раздражение. Что касается гр. Петра Андреевича Шувалова, то предположение, что эниграмма относится к нему, имеет более серьезные основания. Во-первых, у него, повидимому, было прозвище—„Петр четвертый“. Об этом см. „Житейские встречи“ А. Ф. Коня („Голос Минувшего“, №№ 5—12, май—декабрь 1919 г.); во-вторых, личность гр. П. А. Шувалова была гораздо определеннее и выразительнее, как временщика и реакционера. Гр. П. А. Шувалов (1827—1889) одно время состоял директором департамента общих дел министерства внутренних дел и управляющим III-м отделением собственной Е. И. В. канцелярии. Будучи шефом жандармов, он пользовался почти неограниченной властью с 1866 по 1874 г.г. О его реакционной деятельности немало замечено у А. В. Никитенко, который, впрочем, его имя постоянно упоминает рядом с именем П. А. Валуева.

Вторая эниграмма того же типа относится к моряку, адмиралу Семину Моисеевичу Грейгу (1827—1887), который с 1866 года неожиданно был приглашен на пост товарища министра финансов.

Когда расстроенный кредит
Не бьется кое-как,
А просто на меня сидит,
Сидит себе как рак,
Кто ж тут спасет, кто пособит,
Ну, кто ж, коль не моряк.

Эта эниграмма имеется в автографе карандашом на клочке безлинейчатой бумаги с поправкою синими чернилами также рукой Ф. И. Тютчева; четвертая строка первоначально читалась: „сел и сидит как рак“. В альбоме М. Ф. Бирилевой имеется копия этой эниграммы.

Наконец, к шестидесятым годам относится, еще одна эниграмма:

Куда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс житейский.
Была крестьянской ты пабой—
Теперь ты сделалась лакейской

И эта эпиграмма имеется в автографе — пером, черными чернилами, на клочке писчей желтоватой бумаги — без вариантов. Она же в копии — в альбоме М. Ф. Вирлиевой — без всяких разночтений, если не считать пунктуации, которая у поэта обычно или вовсе отсутствует, или совершенно произвольна и случайна.

Каков смысл этой эпиграммы? Совпадает ли она со взглядами Тютчева на положение вещей в ту эпоху?

Ф. П. Тютчев сочувствовал внутренним реформам шестидесятых годов и, как умный человек, не мог им не сочувствовать, сознавая их насущную и очевидную необходимость. Но это сочувствие было ограничено решительным отвращением ко всему, что напоминало ему об эгалитарных принципах западно-европейской революции. Тютчеву нравились иерархизм старой дореволюционной Европы и только в нем он видел положительные культурные традиции. Либеральные расчёны были ему чужды и неприятны. Русский радикализм шестидесятых годов казался ему провинциальным. И, обращаясь к нашим тогдашним радикалам, Тютчев укорял их в непонимании самой идеи европейской культуры:

Напрасный труд. Нет, их не вразумишь.
Чем либеральней, тем они пошлее;
Цивилизация для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гниешь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещения, а холопы.

Освобождение крестьян, земские утреждения, новый суд присяжных — на все это Тютчев смотрел без вражды, с сочувственным вниманием. Но все эти реформы — не предмет его веры, и не они занимают его воображение и сердце. Зато, как только возникает вопрос об умалении русского великодержавия, настоящим или даже минимом, Тютчев делается пристрастным, и явно, что это для него единственно важное и значительное. Его интересует история на ее больших путях, когда открываются отдаленнейшие цели мировой культуры, когда сталкиваются прямо противоположные начала, взаимно друг друга исключаящие — католицизм и революция, западная внешняя цивилизация и органическая культура и т. п.

Поэту кажется, что там, в этих больших планах мировой жизни, он предчувствует грядущие события:

Его призывали всеблагие,
Как собеседника на пир...

Но тут, дома, в сумерках петербургской жизни, поэт близорук. Он все надеется почему-то, что та власть, которую он сам называет глупой и ничтожной, что эта власть вдруг поймет свое предназначение и признает за нацией ее право на свободу. Когда он видит попытку общества выйти из круга огческой опеки, ему кажется, что все это не то, что это внешнее подражание Западу, и он смеется над этими попытками. Вот, например, 11 января 1865 года московское дворянство подает адрес государю о созыве народных представителей. Но этот адрес раздражает поэта.

Куда себя морочите вы грубо.
Какой у вас с Россией разлад.
Куда вам в члены английских палат?
Вы просто члены английского клуба.

С кем же Тютчев? Нигилисты—„отвратительны“, либералы—„смешны и пошлы“... Может быть он уважает и ценит представителей нашей власти? Едва ли. 23 июля 1866 года он пишет жене из Петербурга: „Я был сегодня утром у Горчакова, который опять удивил меня своей невероятной пустотой... И все остальные приблизительно такие же. Бедная наша страна“.

В светском обществе, среди министров, дипломатов и всяких, по выражению Тютчева, „более или менее коронованных особ“, приходится умалчивать кое-о-чем, но в письмах к жене можно быть откровенным: „Нет слов, чтобы определить по достоинству все эти ничтожества, стоящие у власти“.

Итак, рассмотренные нами четыре эпиграммы относятся к нашей внутренней политике: пятая эпиграмма весьма характерна для взглядов Тютчева на судьбу западно-европейской государственности. Она относится, повидимому, к 1871 году. Мысли Тютчева о будущем немецкого народа и немецкой культуры известны из его статьи „Россия и Германия“. Статья была написана в 1848 году. Письма того времени дополняют и разъясняют его точку зрения. Почти четверть века прошло со дня написания этой статьи; изменились политические условия и Тютчеву пришлось в известной мере изменить свою оценку тогдашнего европейского общества, но по существу он остался верен себе. По его представлению протестантская Германия, отколовшаяся от начал вселенской церковности, так же как и безбожная Франция, угрожали в то время основам христианской культуры. Единственной носительницей великой христианской идеи была, по вере Тютчева, Россия или, как он мечтал, греко-славянская империя, центром коей должен был быть Царьград. Но вот столкновения Германии с Францией несколько спутали сложившиеся представления о единстве западно-европейской цивилизации.

Летом 1870 года Тютчев уехал за границу. Это были тревожные дни—канун франко-прусской войны. „Судьба Франции,—писал Тютчев из Теплица,—зависит от случайностей одного сражения, которое может быть происходит в настоящую минуту. Старый Варбарусса широко открыл глаза и готовится выйти из своей пещеры, а Наполеоновская империя вот-вот туда провалится, чтобы уступить место Германской империи,—и все это совершится в течение одной недели. Протираешь себе глаза и спрашиваешь себя, не сон ли это“. Через несколько дней он опять возвращается к судьбе Франции. „Неприятель, с которым Франция имеет дело, не пощадит так, как когда-то это сделал император Александр I,—и теперь более чем вероятно, что она потеряет, если будет побеждена. Эльзас и Лотарингию, которые, если бы не вмешательство России, были бы у нее отняты уже в 1815 году“... В середине августа Тютчев писал барону Пфефферу: „У всякого, кто принадлежит к европейской цивилизации, должно сжиматься сердце при этом глубоком падении Франции, падении, могущем быть окончательным. Что за зрелище открывается перед нашими глазами. Действительность так ужасно жива, что каждый из нас как бы чувствует горячие капли крови на своем лбу,—и вместе с тем все это кажется какой-то галлюцинацией“... А в письме к жене

в это же время он пишет: „Франция может быть побеждена и, вероятно, оно так и будет, но ее низложение будет жестокой и болезненной занозой в теле ее победителя“.

4 сентября 1870 года в Париже, как известно, была провозглашена республика.

25 октября (6 ноября) 1870 года Тютчев писал барону Пфеффелю: „Если эта бедная Франция более не в состоянии сделать последнего усилия, чтобы изгнать из своих недр неприятеля, как мы это сделали в 1812 году; если она будет вынуждена принять мир, какого она может ожидать от политики Бисмарка, то мир ее не спасет. Более чем когда-либо ожесточенные этим громадным поражением партии продолжают дело, начатое нашествием, так как партии доканчивают обывовенно начатое внешней войной. Это неизбежная программа погибающих государств. Та связь, которая удерживает и объединяет то, что представляет для всякого сложившегося в истории общества — религия — не существует более во Франции, и уже очень давно. Ее убила знаменитая революция 1879 года. Это она заменила старую историческую Францию двумя народами, воюющими между собою“.

Сам Тютчев довольно объективно относится к борьбе Пруссии с изнемогающей Францией. Любопытно, что в это время Тютчев, который сказал столько хороших слов и написал столько прекрасных стихов о всеславянском деле, как будто чувствуя, ввиду событий на Западе, суетность всякой политики, несколько охладил к славянским проектам и манифестациям. Мы узнаем из его письма, что он не поехал на какой-то „славянский“ банкет, потому что не хотел „подвергаться скуке слышать бесполезное и смешное пережевывание тех общих мест, которые тем более ему опротивели, что он сам этому содействовал“... „Люди так легко отвратить меня от моих собственных воззрений“, замечает он не то серьезно, не то шутя. Он теперь все время думает о судьбе Франции и об этой ужасной войне.

Но вот наступает 1871 год, год провозглашения единой Германской империи. И Тютчев отзывается на это событие эпиграммой, до сих пор неопубликованной:

Не знаем, что лестней для мудрости людской:
Иль вавилонский столп немецкого единства —
Или французского бесчинства
Республиканский хитрый строй...

Эта эпиграмма написана рукою Ф. И. Тютчева на клочке белой почтовой бумаги черными чернилами. Вариантов нет. Комментирование этой эпиграммы по существу завело бы нас в обширную область философии истории. Этому должно и можно посвятить особую монографию¹⁾.

Шестая эпиграмма, последняя в порядке нашего рассмотрения, является первой хронологически по отношению к прочим эпиграммам, написанным в царствование Александра II-го. Эта эпиграмма — эпитафия на императора Николая, написанная, повидимому, тотчас же после его смерти.

Известно, какое впечатление произвела на общество кончина

¹⁾ Автографы эпиграмм будут нами описаны более подробно и воспроизведены с сохранением правописания и пунктуацией оригинала в отдельном издании, которое будет опубликовано в ближайшее время. Г. Ч.

Николая I. Вместе с его смертью рухнул безвозвратно особый мир, поколеблены были начала, которые казались до Севастопольской кампании прочными и твердыми.

В своих неизданных записках Анна Федоровна Аксакова, дочь Федора Ивановича Тютчева, рассказывает, между прочим, что когда она посетила дом родителей в день смерти императора, поэт по поводу волнения членов семьи заметил: „Как будто вам возвестили, что умер Бог“: „C'est comme si on vous annonçait, que Dieu est mort“...

К этому времени, вероятно, относится эпиграмма-эпитафия Ф. И. Тютчева, посвященная покойному императору. До сих пор она не была опубликована. К сожалению, автографа ее не сохранилось, но за то есть достоверная копия, сделанная рукой дочери поэта Марии Федоровны Бирюевой. Копия эта находится в ее альбоме, который почти весь наполнен стихами Ф. И. Тютчева, или в его автографах, или в копиях. Только в конце тетради после нескольких белых страниц, на последних листах имеются стихи князя И. А. Вяземского и И. С. Аксакова. Эпиграмма на Николая I помещена в первой части альбома среди стихов Ф. И. Тютчева. Над стихотворением надпись: Н. И. (Николай Первому). То, что эта эпиграмма действительно принадлежит Ф. И. Тютчеву, подтверждается прочным семейным преданием. Внуки поэта слышали неоднократно из уст их тетки, Дарьи Федоровны Тютчевой, рассказ о том, что Ф. И. Тютчев написал на смерть Николая I го эпиграмму-эпитафию со столь резкой оценкой личности императора, что жена поэта, Эрнестина Федоровна, весьма смутилась самым фактом существования такого документа. Эпиграмма считалась утраченной, пока внуки поэта не нашли альбом своей тетки Марии Федоровны Бирюевой. Но самым существенным доводом в пользу того, что эта эпиграмма принадлежит Тютчеву, приходится считать ее тон, столь своеобразный, что едва ли можно ее отнести к категории *dubia*. Текст эпиграммы таков:

Но Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои и добрые, и злые,—
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

Возникает невольно вопрос—мог ли Ф. И. Тютчев, патриот и монархист, произнести столь жестокий приговор покойному императору. И не противоречит ли эта эпиграмма славянофильской идеологии поэта. Я полагаю, что в устах Тютчева эта эпиграмма вовсе не является неожиданной. Эпиграмму эту можно рассматривать в двух планах. Во-первых, как характеристику личности Николая I-го, и независимо от какой-либо идеологии и, во-вторых, как оценку той политической системы, представителем коей был император. При рассмотрении эпиграммы в первом плане мы, к сожалению, встречаемся с некоторым затруднением: в документах, по крайней мере в тех, которые опубликованы, и в тех, с которыми мы успели ознакомиться в рукописях, очень мало данных для суждения об отношении Тютчева к личности Николая I-го, — но, ипрочем, то немногое, что нам известно, несколько не противоречит содержанию эпиграммы. В дни опубликования манифеста о восшествии на престол императора Александра II-го, Тютчев писал барону Шерфелду: „Мы безусловно злоупотребляли манифестом за последнее время. Это не значит, что наш бедный

покойный император питал склонность к фразе, напротив, он довел страх перед фразой до крайности, ибо этот страх заставил его лично поклясться в ненависти ко всей прессе". И далее в том же письме: „Подавление мысли уже давно было руководящим принципом нашего правительства. Последствия подобной системы не могут иметь ни границ, ни пределов. Ничто не было пощажено. На всем отразилось это давление. Все без исключения одурели". По поводу Севастопольской катастрофы Тютчев писал об императоре Николае: „Чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость" (*la monstrueuse inertie*) „этого злополучного человека". Вот мнение поэта об императоре.

При рассмотрении эпиграммы на Николая I-го, в связи с оценкой всей тогдашней политической системы, мы находим более определенные данные... Политическая система Николая вовсе не совпадала с убеждениями и взглядами Тютчева. Правда, Тютчев мог, пожалуй, подписаться под известной формулой гр. Уварова — „православие, самодержавие и народность", — но понимание этих идей было различно у поэта и у руководителей нашей правительственной системы, вдохновляемых царем.

Православие в представлении Тютчева вовсе не совпадало с „ведомством православного исповедания", во главе которого стоял тогда, кстати сказать, единомышленник Уварова — полковник лейб-гвардии гусарского полка, впоследствии генерал-адъютант, Н. А. Протасов. „Самодержавие" правилось, быть может, Тютчеву, как „органически сложившаяся национальная власть", которую можно противопоставить механическому принципу власти западно-европейской, но в николаевскую эпоху самодержавие явно клонилось в сторону бюрократического и династического абсолютизма. А поклонником „Корана самодержавия" Тютчев никогда не был. Наконец, с „народностью" было уже прямое недоразумение, ибо официальная народность противопоставлялась национальной идее, как началу, ей враждебному. В 1847 году было, между прочим, официально предписано бороться со „стремлением некоторых авторов к возбуждению в читающей публике необузданных порывов патриотизма".

Иностранная политика русского правительства также мало могла удовлетворить Ф. И. Тютчева, как и политика внутренняя. Если излюбленные его идеи не совсем совпадали с идеями Хомякова, Аксаковых и Самарина, то еще менее они совпадали с идеей тогдашней официальной России. Поэту хотелось, чтобы правительственная программа выражала мнение страны, чтобы она опиралась на национальное самосознание общества, но Россия в то время безмолвствовала, как цинкинский народ в „Борисе Годунове", а представители власти боялись „необузданных порывов патриотизма" едва ли не более, чем прямого отрицания национальной идеи.

И вот, когда наступили дни испытаний, страдные дни Севастопольской кампании, Тютчев с ужасом убедился в совершенной слабости и лживости той правительственной системы, которую поддерживал Николай I. Сначала в письмах Ф. И. Тютчев ограничивается замечаниями по адресу руководителей нашей политики. Но вскоре протест Тютчева сменяется тревогой. Он знает, что наступают события величайшей важности, что „суд идет" и, к своему ужасу, видит вокруг себя не лица человеческие, а странные равнодушные маски: что придворная бюрократическая и светская чернь ищет во время

чумы. 3 октября 1858 года поэт пишет: „Ах, в какой я странной среде живу. Бьюсь об заклад, что в день Страшного Суда в Петербурге найдутся люди, делающие вид, что не подозревают этого“... И далее: „Можно сказать, что все эти люди так же способны оценить события, готовящиеся перевернуть мир, как мухи на трехпалубном корабле могут чувствовать его качку. К счастью, все это только пена, плавающая на поверхности, и, так или иначе, мы скоро увидим то, что скрывается в глубине“.

На другой день было получено известие о том, что Турция объявила войну России. 22 октября Тютчев сообщал в письме, что в церквях был прочитан манифест о войне. И при этом замечает: „Восточный вопрос, как он велся до сих пор, внушает мне отвращение“.

В это время Эрнестина Федоровна Тютчева была в Мюнхене. И Тютчев пишет ей по поводу политической кампании в Европе против России: „Этот скандал должен был произойти, я знаю, по горю его зачинщику. Что же касается нас здесь, на которых все это бешенство направлено,—нам придется также свести счеты с Провидением,—и расплата может оказаться тяжелой“... „Кризис будет еще ужаснее, еще продолжительнее, чем я предполагал. Остатка этого века едва хватит для его успокоения. Россия выйдет из него торжествующей, я знаю, но многое в теперешней России погибнет“...

Поэту кажется, что мир накануне величайших событий. Теперь вопрос идет не о России только, а о чем-то безмерно великом: возникает новый мир, но для того, чтобы этот новый мир восторжествовал, „он должен прежде всего вновь обрести свою потерянную совесть“...

А между тем восточный вопрос в постановке его нашим правительством внушал Тютчеву „отвращение“. Еще бы! Война, которая могла бы найти себе оправдание, как война освободительная, прежде всего, теряла всякий смысл, ибо императорское правительство крепостной России не смело даже произнести слово „свобода“. Но гр. Нессельроде, этот, по выражению поэта, „карлик“, „трус беспримерный“, доказал царю, что провозглашение независимости христианских народов, подвластных Порте, противоречит принципам Священного союза. Так в угоду тени Меттерниха Россия послала в Севастополь умирать своих сынов не во имя свободы и независимости славянского мира, а во имя интересов международной реакции.

Настроение светских и придворных кругов было и вовсе двусмысленно. Тютчев сообщал, между прочим, что как раз в эти дни некая кн. Масальская на обеде у французского посла провозгласила тост за успех турецкого оружия. Очевидно, что у нас не было „необузданных порывов патриотизма“, которых опасалось правительство Бенкендорфа и Нессельроде.

Тютчев как бы оправдывает себя, свои политические притязания, которые он высказал ранее в своих статьях: „Я потому всегда приписывал такое большое значение восточному вопросу, что был уверен в том, что раз этот вопрос возбужден, он должен произвести нравственный переворот внутри страны“... Но эти светлые чаяния угасают очень скоро—и тогда вопль отчаяния: „Знаешь ли ты, что мы накануне какого-нибудь ужасного позора—одного из тех непоправимых и роковых постыдных действий, которыми начинается для народа эра окончательного упадка!“

9 июня Тютчев был в Москве у Вьельгорских. Из рассказов сына Вьельгорского, приехавшего из Петербурга, Тютчев выводит заключение, что в высших сферах—„глубость, подлость, низость“... Положение России можно сравнить, оказывается, с положением человека, запертого внутри кареты, которая катится по наклонной плоскости. И вдруг человек замечает, что „на козлах нет кучера“.

„К сожалению,—признается Тютчев,—у меня совсем нет веры и было бы глупым притворством с моей стороны стараться скрыть мое полное разочарование. Может быть, не все потеряно, но все испорчено и надолго отерочено“... „Эта война кретинизма с подлецами“... А ведь это воет вся Западная Европа с великодержавной Россией. Кажется, теперь и для поэта стало ясно, что сначала нужно „правственное перерождение внутри страны“, а потом уж—„колокол в Царьграде“.

Наступил страшный для России 1855 год. В начале этого года Тютчев написал свои известные стихи—стихи значительности необычайной:

Стоим мы слепы пред судьбою;
Не нам сорвать с нее покров...
Я не свое тебе открою,
Но бред пророческих духов.

Еще нам далеко до цели:
Гроза ревет, гроза растет,
И вот в железной колыбели,
В громах родится новый год.

Черты его ужасно строги,
Кровь на руках и на челе;
Но не одной войны тревоги
Несет он миру на земле.

Не просто будет он воитель,
Но исполнитель тяжких кар—
Он совершит, как поздний мститель,
Давно обдуманный удар.

Для битв он послан и расправы,
С собой несет он два меча:
Один сражений меч кровавый,
Другой—секиру палача.

Но на кого... Одна ли выль,
Народ ли целый обречен...
Слова неясны роковые,
И смутен замогильный сон.

Стихотворение воистину „бред пророческий“: 18 февраля 1855 года умер император Николай, отравился, как рассказывает, по крайней мере, легенда, несчастливо сложившаяся. „Секира палача“ была приготовлена в тот год для „одной выль“.

И вот тогда написал поэт свою страшную эпиграмму-эпитафию, которая шестьдесят пять лет оставалась неизвестной русскому обществу:

Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей.
И все дела твои—и добрые, и злые—
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

Георгий Чулков.

Рабочий Петр Алексеев.

(Из воспоминаний.)

I.

„Рабочий Петр Алексеев“—под таким преимущественно названием известен в интеллигентной и рабочей среде пропагандист 70-х годов, судившийся по процессу 50-ти, т.е. по профессии, Петр Алексеевич Алексеев, крестьянин Смоленской губ.

Свою громкую известность он получил после произнесения им, действительно замечательной, речи—своего „последнего слова“, этого обвинительного акта против существовавшего строя. За это он и был приговорен к нескольким годам каторги. Это было в 1877 году, когда отпечатанные нелегально оттиски речи Алексеева распространялись среди тогдашней молодежи и зачитывались в буквальном смысле слова до дыр. Впечатление было ошеломляющее, незабываемое до сих пор. Как удары молота, и теперь еще звучат в ушах сильнейшие места речи, облетевшей всю Россию и произведшей впечатление дупленного выстрела по существующему строю. Недаром Алексеева, против которого почти не было никаких улик, „закатали“ в каторгу, запрятали в Харьковскую центральную тюрьму, вместе с другими „закново погребенными“; только во время „диктатуры сердца“, в 1880 году, этих закново погребенных выпустили из тюрьмы и решили отправить в Сибирь, на Кару. Речь Алексеева проникла в самое сердце и душу тогдашней молодежи, которая страстно желала посвятить все свои силы для облегчения народных страданий. Такое же неизгладимо сильное впечатление, как и на других, произвела речь Алексеева и на меня. Несомненно, она сыграла большую роль в деле идеализации рабочих вообще и, в частности, рабочих, ставших интеллигентными.

Для того, чтобы читатели еще раз могли убедиться в красочности и силе этой речи, позволяем себе перепечатать ее здесь полностью.

„Мы, миллионы людей рабочего населения,—говорил П. Алексеев в заседании особого присутствия Правительствующего Сената 10 марта 1877 года,—чуть только оставим свои ступать на ноги, бывшем брошенными и матерями на произвол судьбы, не получим никакого воспитания, за исключением школ и времени от непосильного труда и скудного за него вознаграждения. Девяти лет—мальчишками нас стараются с хлеба долой на заработки. Что же там нас ожидает? Пожато, про-

даемся капиталисту на сдельную работу из-за куска черного хлеба, поступаем под приемотр взрослых, которые розгами и пиянками приучают нас к непосильному труду; питаемся кое-чем, задыхаемся от пыли и испорченного, зараженного разными нечистотами воздуха. Сним, где попало—на полу, без всякой постели и подушки в головах, завернутые в какое-нибудь лохмотье и окруженные со всех сторон бесчисленным множеством разных паразитов. В таком положении некоторые навсегда затупляют свою умственную способность, и не развиваются нравственные понятия, усвоенные еще в детстве; остается все то, что только может выразить одна грубо воспитанная, всеми забытая, от всякой цивилизации изолированная, мускульным трудом зарабатывающая хлеб рабочая среда. Вот что нам, рабочим, приходится выстрадать под ярмом капиталиста в этот детский период! И какое мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту, кроме ненависти? Под влиянием таких жизненных условий с малолетства закаляется у нас решимость до поры терпеть, с затаенной ненавистью в сердце, весь давящий нас гнет капиталистов и без возражений переносить все причиняемые нам оскорбления.

Взрослому работнику заработную плату довели до минимума; из этого заработка все капиталисты без зазрения совести стараются, всевозможными способами, отнимать у рабочих последнюю трудовую копейку и считать этот грабег доходом. Самые лучшие, для рабочих, из московских фабрикантов—и те, сверх скудного заработка, эксплуатируют и тиранят рабочих следующим образом. Рабочий отдается капиталисту на сдельную работу, беспрекословно и с точностью исполнить все рабочие дни и работу, для которой поступил, не исключая и бесплатных хозяйских чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им, по праву или не по праву, пишут штраф, боясь лишиться куска хлеба, который достается им 17-тичасовым дневным трудом. Впрочем, я не берусь описывать подробности всех злоупотреблений фабрикантов, потому что слова мои могут показаться неправдоподобными для тех, которые не хотят знать жизни работников и не видели московских рабочих, живущих у знаменитых русских фабрикантов: Бабкина, Гучкова, Бутикова, Морозова и других.

Председатель сенатор Петерс. Это все равно. Вы можете этого не говорить.

Петр Алексеев. Да, действительно все равно, везде одинаково рабочие доведены до самого жалкого состояния. 17-тичасовой дневной труд—и едва можно заработать 40 копеек! Это ужасно! При такой дороговизне съестных припасов приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку семейного существования и уплату казенных податей! Нет! При настоящих условиях жизни работников невозможно удовлетворять самым необходимейшим потребностям человека. Пусть пока они умирают голодной, медленной смертью, а мы, скрепя сердце, будем смотреть на них до тех пор, пока освободим из-под ярма нашу усталую руку, и свободно можем тогда протянуть ее для помощи другим! Отчасти все это странно, все это непонятно, темно и отчасти как-то прискорбно, а в особенности сидеть на скамье подсудимых человеку, который чуть ли не с самой колыбели всю свою жизнь зарабатывал 17-тичасовым трудом кусок черного хлеба. Я несколько знаком с рабочим вопросом наших братьев-западников. Они во многом не походят на русских: там не преследуют, как у нас, тех рабочих, которые все свои свободные минуты и много бессонных

ночей проводит за чтением книг; напротив, там этим гордятся, а об нас отзываются, как о народе рабском и полудиком. Да как иначе о нас отзываться? Разве у нас есть свободное время для каких-нибудь занятий? Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка? Разве у нас есть полезные и доступные книги для работника? Где и чему они могут научиться? А загляните в русскую народную литературу! Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас издаются для народного чтения такие книги, как „Бова Королевич“, „Еруслан Лазаревич“, „Ванька Каин“, „Жених в чернилах и невеста во щях“ и т. п. Оттого-то в нашем рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно — забавное, а другое — божественное. Я думаю, каждому известно, что у нас в России рабочие все еще не избавлены от преследований за чтение книг; а в особенности, если у него увидят книгу, в которой говорится о его положении — тогда уже держись! Ему прямо говорят: „ты, брат, не похож на рабочего, ты читаешь книги“. И страннее всего то, что и проныи не заметно в этих словах, что в России походить на рабочего то же, что походить на животное. Господа! Неужели кто полагает, что мы, работники, ко всему настолько глухи, слепы, немы и глупы, что не слышим, как нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Что уж как буди и на самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках? Неужели мы не видим, как вокруг нас все богатеет и веселится за нашей спиной? Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы так дешево ценимся и куда девается наш невыносимый труд? Отчего это другие роскошествуют, не трудясь, и откуда берется ихнее богатство? Неужели мы, работники, не чувствуем, как тяжело повисла на нас так называемая всесословная воинская повинность? Неужели мы не знаем, как медленно и нехотя решался вопрос о введении сельских школ для образования крестьян, и не видим, как сумели это поставить? Неужели нам не грустно и не больно было читать в газетах высказанное мнение о найме рабочего класса? Те люди, которые такого мнения о рабочем народе, что он нечувствителен и ничего не понимает, глубоко ошибаются. Рабочий же народ, хотя и остается в первобытном положении и до настоящего времени не получает никакого образования, смотрит на это, как на временное зло, как и на самую правительственную власть, временно захваченную силою, и только для одного разнообразия ворочающую все с лица да на изнанку. Да больше и ждать от нее нечего! Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно не будет делать тягостных для нас нововведений, не станет поддерживать рутинны и обеспечит материально крестьянина, выведет нас из первобытного положения и пойдет скорыми шагами вперед. Но, увы! Если оглянемся назад, то получаем полное разочарование, если при этом вспомним незабвенный, предполагаемый день для русского народа, день, в который он, с распростертыми руками, полный чувства радости и надежды, думал обеспечить свою будущую судьбу, благодаря царя и правительства, — 19-го февраля. И что же? И это для нас было только одной мечтой и сном! Эта крестьянская реформа 19-го февраля 1861 года, реформа „дарованная“, хотя и необходимая, но не вызванная самим народом, не обеспечивает самые необходимые потребности крестьянина. Мы по-прежнему остались без куска хлеба, с клочками никуда негодной земли и перешли в зависимость к капиталисту. Именно, если свидетель, приказчик фабрики Носовых, говорит, что у него, за исключением праздничного

дня, все рабочие под строгим надзором, и не явившийся в назначенный срок на работу не остается безнаказанным, а окружающие ихнюю сотни подобных же фабрик набиты крестьянским народом, живущим при таких же условиях,—значит—они все крепостные! Если мы, к сожалению, нередко бываем вынуждены просить повышения или понижения самим капиталистом заработной платы, нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь,—значит, мы крепостные! Если мы со стороны самого капиталиста вынуждены оставить фабрику и требовать расчета, вследствие перемены доброты материала и притеснения от разных штрафов, нас обвиняют в составлении бунта и прикладом солдатского ружья приневоливают продолжать у него работу, а некоторых, как зачинщиков, ссылают в дальние края,—значит, мы крепостные! Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста, и первый же встречный квартальный бьет нас в зубы кулаком и пинками гонит вон,—значит, мы крепостные!

Из всего мною выше сказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи.

Председатель (вскакивает и кричит). Молчите! Замолчите!

Петр Алексеев (возвысив голос, продолжает). Она одна братски протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российской империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что значит и отчего это огорению слышны крестьянские стоны. Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма, угнетенного крестьянина. Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская руки, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших братьев из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока не сделают нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока (говорит, подняв руку) подымется мускулистая рука миллионов рабочего-люда...

Председатель (волнуется и, вскочив, кричит). Молчать!

Петр Алексеев (возвышая голос) ...и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!..¹⁾

¹⁾ Литература о Петре Алексееве: 1) Речь рабочего Петра Алексеева „Листовка“. Нелегальное издание 1877 г., 2) „Вперед“. Том V. 1877. Лондон редакции П. Л. Лаврова и П. Смирнова. (Перепечатана речь Алексеева.) 3) Русский ткач Петр Алексеевич Алексеев. Воспоминания Ф. Волховского. Издание „Рабочего Знамени“, 1900 г. 4) Государственные преступления в России. в XIX в. Сборник из официальных изданий правительственных сообщений. Составлен под ред. В. Базилевского. Том II (1877 г.). Вып. I. 1904. Штуттгарт. Помещен обвинительный акт по „процессу 50-ти“. Две речи. I. Речь Петра Алексеева. Предисловие Г. Плеханова. К-ство „Новый Мир“. (Спб., 1906). Стр. 32. Здесь же, стр. 31—32, помещено стихотворение „Петру Алексееву“ Вербовакина (Ф. Волховского?). 6) Ф. Волховский. Ткач Петр Алексеевич Алексеев. Спб. 1906. К-ство „Народная Воля“. № 18. Стр. 16. Здесь же, стр. 12—16, напечатана речь Алексеева. 7) „Былое“ 1906, IX, 110 (Воспоминания чайковца С. С. Синегуба); 1907, IV, 184. (В Мценской „гостинице“ Н. А. Виташевского); IX, 190, X, 194 (Процесс 50-ти Н. С. Джабадари); X, 113 (К биографии П. А. Алексеева, циркуляр департамента полиции от 28 ноября 1891). 8) Революционная Россия. В. Жандр (Никитина). Пер. с франц. К. Д. Спб. 1907. Издание „Популярно-Научной Библиотеки“. Стр. 43—49, речь Але-

II.

Еще в 1906 году редакция „Былого“, в лице покойного В. Я. Богучарского, предложила мне дать ей, для напечатания в журнале свои воспоминания об Алексееве, и я, в свою очередь, обратился к некоторым товарищам его по каторге и ссылке с просьбой помочь мне в данном случае и поделиться своими воспоминаниями. На мое обращение откликнулись тогда же: Н. А. Виташевский, Н. С. Джабадари, В. А. Данилов, С. Ф. Ковалик, Г. Ф. Осмоловский. В проспекте журнала „Былое“ на 1907 год было объявлено, что между многими другими статьями будут напечатаны и мои воспоминания о „рабочем Петре Алексееве“. Тогда мне не пришлось исполнить желания редакции „Былого“, так как ко мне обратились с предложением дать какую-нибудь литературную работу нуждавшейся в заработке г-же Лойко, автору известной брошюры „Что читать пропагандисту“, и я отдал ей весь собранный мною материал. По использованию этого материала г-жа Лойко вернула его мне обратно, но в печати ее статьи увидеть мне не удалось, так как „Былое“ к этому времени дышало на ладан и вскоре было закрыто. Ныне, пользуясь некоторым досугом, вследствие постигшей меня болезни, и, благодаря любезному содействию д-ра А. Д. Аювского, согласившегося писать мои воспоминания под диктовку, я на нижеследующих страницах, при характеристике личности Алексеева и описании его пребывания в тюрьмах, на каторге и на поселении, привожу дословно доставленный мне упомянутыми лицами материал с указанием авторов того или другого отрывка.

Литература об Алексееве чрезвычайно бедна. Тщетно вы будете просматривать обвинительный акт по процессу 50-ти с намерением найти там какие-либо биографические данные; скудные сведения находим мы и в посвященной Алексееву брошюре Ф. Волховского¹⁾.

Даже ближайшие товарищи Алексеева не обладали требуемым материалом, хотя и были с ним в тесных сношениях в течение целого ряда лет,—столь неинтересными такого рода данные были в представлении его товарищей, как и вообще активных деятелей того времени. Вот что писал мне, напр., 7 февраля 1907 г. Н. С. Джабадари на мою просьбу сообщить все, что он знает о жизни Алексеева на воле:

„С удовольствием поделился бы, без всяких условий, биографическими сведениями о покойном Петрухе, но, к сожалению, биографических сведений, в тесном смысле этого слова, у меня не имеется. Он был со мною с декабря, или, вернее, с октября 1874 г. по 15 мая 1883 г., т. е. почти 9 лет, но биографических сведений друг о друге мы не знали, да и некогда было об этом говорить. Как-то раз, на Каре, он пришел ко мне с заплаканными глазами и сообщил, что отец его, старик 80-ти лет, скончался и перед смертью

Алексеева. 9) Эд. Пекарский. Памяти рабочего Петра Алексеева. „Воля Народа“ 1917, № 93. 10) Вера Фигиер. Дополнительная заметка (без особого заглавия) к предыдущей статье. „Воля Народа“ 1917, № 100. 11) Ю. М. Стеклов. Вольба и социализм. М. 1918. Стр. 126—140 (речь Алексеева и воспоминания о нем Ф. Волховского. Э. II.).

¹⁾ Волховский озаглавил свою брошюру „Ткач Петр Алексеевич Алексеев“. Но разве для Алексеева характерно то, что он был ткачом? Не характернее ли название „рабочий Петр Алексеев“? Под этим именем его знает вся мыслящая Россия. Можно подумать, что речь идет о каком-либо другом Алексееве, а не о всем известном своею речью революционере. Э. II.

вспоминал своего Петруху. У Петра было, кажется, еще два брата, Никифор и Влас, которые также работали в нашей Московской организации, но они были еще очень юными; где они теперь, не знаю. Но их легко разыскать по обвинительному акту по проц. 50-ти. Следует съездить в Смоленскую губернию, Гжатский (Сычевский?) уезд и там найти всю его многочисленную родню; род Алексеевых весьма многочисленный и очень хорошо относившийся к Петрухе; там вы получите настоящие биографические данные. У меня есть лишь факты о его деятельности в Питере, Москве, о пребывании в Центральной тюрьме, в Мценске, на пути в Сибирь, на Каре и, наконец, о проезде его через Киренск; но обо всем этом я говорю в своих воспоминаниях за этот период ¹⁾ и эти сведения окрашены тем субъективизмом, который лишает их биографического характера.

Такою же неосведомленностью отзывались и остальные товарищи, к которым я обращался за биографическими сведениями. Поэтому, приходится поневоле ограничиться тем немногим, что можно извлечь из собранного мною материала.

III.

Алексеев родился 14 января 1849 г. ²⁾ в бедной крестьянской семье, в деревне Новинской, Сычевского (?) уезда, Смоленской губернии. Грамоте он научился уже взрослым, пройдя всевозможные роды тяжелой крестьянской работы и по поступлении уже на ткацкую фабрику. „В 16—17 лет он сам собою, без помощи настоящего учителя, выучился читать и писать. Позже, когда ему было уже за двадцать, он случайно столкнулся с революционерами“ ³⁾. В 1873 году к осени, у фабрики Торитона, за Невской заставой, жил для целей пропаганды чайковец Синегуб с женой. „Число приходивших к нему рабочих вскоре так возросло, что он должен был пригласить к себе на помощь сначала двух товарищей из вспомогательного кружка, а затем перетасил к себе и Перовскую... На руки последней Синегуб передал пришедшего к нему как-то Петра Алексеева с 4 товарищами. Петр Алексеев не был тогда затронут революционной пропагандой и желал просто учиться, „жаждал чистой науки“, как говорил Синегуб. Особенно привлекала его почему-то геометрия“ ⁴⁾.

Революционеры, молодые люди и девушки, большую часть привлекавшие к интеллигентному слою общества, не только обсуждали с Алексеевым общее положение дел, отвечали на вопросы, на которые он раньше нигде не мог найти ответа, но еще снабжали книгами, которые он жадно читал по ночам, после долгой дневной работы.

¹⁾ „Былое“, 1907, IX и X. Э. II.

²⁾ По Гориничу (список политических каторжан Карийской тюрьмы, рукопись); тот же год значится в статье Г. Ф. Осмоловского: „Карийцы“ („Мин. Годы“ 1908, VII, 125), тогда как в „Былом“ (1907, X, 114) год рождения, по официальным сведениям, показан 1851-й. Цирк. департ. полиции 28 ноября 1891, № 444.

³⁾ Ср. в письме Джабадари указание, что родня Алексеева находится в Гжатском (?) уезде Смоленской губ.

⁴⁾ Волховский, стр. 3.

⁵⁾ Шиншко. С. М. Кравчинский и кружок чайковцев, стр. 31 (отд. оттиск из № 3 „Вестн. Русск. Револ.“, изд. Партии С.-Р.).—Сообщено Н. А. Виташевским.—Подробнее см. об этом в воспоминаниях самого С. С. Синегуба („Былое“, 1906, IX, 110).

13980.

Значительная часть этой литературы была подцензурная, но хорошо подобранная. То же, что было недоговорено или искажено в подцензурных книжках, разъяснялось и говорилось прямым языком в изданиях революционных. А народная революционная литература была тогда в расцвете... Таким образом Петруха получил возможность не только сам понять подкладку вещей, но еще и распространять истину среди своих товарищей“.

„Конечно, он схватился за эту возможность со всем пылом новичка, перед которым внезапно открылся свет, но в то же время и со всею практичностью мужика и фабричного, знавшего, с которой стороны подойти к человеку своей среды и как с ним говорить. Он поступал на известную фабрику, работал на ней некоторое время и, когда убеждался, что колесо пропаганды пошло в ход, переходил на другую. Подчас ему приходилось скрываться внезапно, когда книжки попадались, и ему грозила опасность немедленного ареста, но это бывало редко“. Хотя в обвинительном акте по процессу 50-ти упоминается, в связи с именем Алексеева, всего две фабрики, но товарищи впоследствии говорили Ф. Волховскому о пропагандистской деятельности Алексеева, как об очень ценной и успешной.

„Четвертого апреля¹⁾ 1875 г. Алексей был арестован в Москве вместе с 8 товарищами, из которых двое были женщины. Они были взяты на их общей квартире, в доме Корсака. Хотя все они (кроме одной девушки) были одеты по-крестьянски, на самом деле лишь трое—сам Алексей, Пафнутий Николаев и Семен Агапов—были рабочие; остальные были бывшие студенты и студентки, жившие по крестьянским и мещанским паспортам и занимавшиеся пропагандой (Джабадари, Ал. Лукашевич, В. Георгиевский, Чикондее, Бардина и Каминская).

„Тюрьма начала совершенно новый период в жизни Алексева... Запертому в четырех стенах, ему нечего было больше делать, как читать (когда давали книги), размышлять, да урывками разговаривать или переписываться с товарищами, стоявшими выше его по образованию. Два года тюрьмы, несомненно, проявили много в его уме и укрепили те чувства, те взгляды, из-за которых он туда попал... Он отказался выбрать себе защитника, говоря: „Что мне защищаться! Какой смысл имеет защита, когда всякому известно, что в подобных процессах приговор суда бывает составлен заранее, так что весь этот суд есть не более как комедия: защищайся, не защищайся—все равно! Я отказываюсь от защиты“.

„Последнее „слово“ Алексева было в действительности обвинительной речью по адресу тогдашнего государственного строя. За свою речь Алексей получил десять лет каторжных работ в рудниках. (Волховский, стр. 4—11).

Насколько власть опасалась влияния речи Алексева на грамотную Русь, доказательством служат те преследования, которым правительство подвергало издания: „Две речи“ и „Ф. Волховский. Ткач Петр Алексей“.

Речь Алексева производила неотразимое впечатление на молодежь именно потому, что она принадлежала крестьянину-рабочему, представителю того самого элемента, приобщение которого к революции так страстно жаждала тогдашняя революционная интеллигенция.

¹⁾ По Горниовичу, третьего апреля. Э. П.

то не испытывал высокого чувства удовлетворения, когда ему удавалось делать какого-либо простолюдина человеком, сознательно относящимся к данным политическим и общественно-экономическим условиям?

Казалось бы, Волховскому следовало бы знать, какого роста был покойный Алексеев, а между тем я с удивлением прочел у него, что Алексеев был низкого роста, когда в действительности он был роста, во всяком случае, выше среднего (2 арш. 7½ вершк. по офиц. данным). Рост Алексеева скрадывался для наблюдающего, быть может, в зависимости от общей массивности его мощной фигуры. Наружность Алексеева описана Волховским в общем совершенно верно.

„Он поражал шириною туловища—как в плечах, так и от груди к спине; массивные же руки и ноги казались вылитыми из чугуна. На этом богатырском теле покоилась крупная голова с крупными же, глубоко вырубленными чертами смуглого лица, с шапкою густых, черных, как смоль, волнистых волос и такими же, несколько курчавыми усами и бородой. Но всего лучше были глаза—ясные и пламенные: неукротимая энергия светилась в них, смешанная с добротой сильного человека. По внешнему облику лицо Петра легко было принять за лицо цыгана, если бы не его выражение—открытое, прямое и добродушное—чисто великорусское“ (стр. 1).

IV.

О времени пребывания Алексеева в тюрьмах Харьковской губернской и Мценской пересыльной, о путешествии в Сибирь, о жизни в Иркутской тюрьме и затем на Каре, вплоть до выхода Алексеева на поселение, дали мне свои воспоминания в 1907 году С. Ф. Ковалик и В. А. Данилов. Привожу их здесь целиком без изменений.

„Все политические каторжане обеих централок¹⁾ Харьковской губ. позднюю осенью 1880 г.—пишет С. Ф. Ковалик,—были сосредоточены в г. Харькове в губернской тюрьме, откуда и были направлены далее в мценскую пересыльную тюрьму. Большинство каторжан, особенно из печенегской централки, не могло похвалиться здоровым видом; только Петр Алексеев и Григорий Зданович, из всех обитателей Печенег, представляли в этом отношении отрядное исключение. У остальных, не говоря уже о четырех страдавших помешательством²⁾, бледные, исхудавшие лица с землистым оттенком свидетельствовали о перенесенных ими страданиях. Радость свидания с товарищами и сознание, что ужасный режим централок остался позади, еще более оттеняли изможденный вид громадного большинства лиц.

„Обитатели обеих централок, сойдясь в одной общей камере бросились—одни знакомиться с новыми товарищами, другие—находить среди них старых знакомых. Петруха с особенным интересом беседовал с Андреевцами, которых он до того времени лично не знал, и вскоре подружился с ними. Лицо его сияло радостью; смотря на него трудно было поверить, что он арестант, лишенный главного благо человеческой жизни—свободы. Мир сплзшел в его душу, быть может, в первый раз после нескольких лет, проведенных в борьбе с

¹⁾ Из Андреевской централки были привезены: Войнаральский, Ковалик, Рогачев, Сажин и Мышкин, незадолго до того переведенный из Печенег.

²⁾ Боголюбов, Плотников, Донецкий и Соколовский.

ужасным режимом централи. В числе других каторжан он вполне доброжелательно встретил харьковского губернатора Грессера, впоследствии петербургского градоначальника, приехавшего осведомиться о здоровье заключенных и обещавшего прислать им для переезда на вокзал железной дороги экипажи городских извозчиков. Это был один из редких случаев, когда администратор, в руках которого в известной степени была судьба арестантов, услышал от них невынужденное слово благодарности.

„Петруха, как упомянуто выше, был более других в жизнерадостном настроении. Такие лица, как в то время у него, я встречал только у борцов освободительного движения в день издания манифеста 17 октября“.

„В Харькове централисты пробыли недолго. Переезд их по железной дороге продолжался при общем подъеме настроения, которого не в состоянии были выдержать наиболее слабые из них. Во время бессонной ночи в вагоне то здесь, то там слышались истерические рыдания, и был даже случай проявления надучей болезни. Здоровые товарищи, и в том числе на одном из первых мест Петруха, ухаживали за больными и старались их успокоить, что и удавалось сравнительно скоро.“

„Роль сестры милосердия и сопряженная с ней некоторая усталость не ослабили жизнерадостного настроения Петрухи, и он веселый явился в мценскую тюрьму, где арестантов встретили лачальник ее Побылевский, сразу установивший самые прекрасные отношения с арестантами. Для них у него не было ничего запретного, кроме выхода на волю за пределы тюрьмы. Особенное удовольствие доставляла заключенным возможность присутствовать на всех свиданиях своих товарищей с родственниками и знакомыми. Здесь узнавались все новости и забывалось, что действие происходит в тюрьме. Это было в период самого пылкого развития организации партии „Народной Воли“, которая по значению своему, казалось, конкурировала с тогдашним законным правительством.“

„На свидания изредка являлись лица в большей или меньшей степени участвовавшие в деятельности партии. Так, между прочим, приходил к своему брату Дмитрию — Рогачев, впоследствии попавший за участие в военной организации партии „Народной Воли“. Петруха в числе других часто бывал на свиданиях и с интересом прислушивался к сообщаемым известиям.“

„Из всех рабочих, сидевших в мценской тюрьме, он был единственным завсегдатаем клуба для свиданий, устроенного в особых комнатах, напоминавших скорее частную квартиру, чем тюрьму. Между рабочими и интеллигентами, — товарищами по заключению, — не всегда могли установиться вполне естественные отношения. Интеллигенция, шедшая сама в народ, чтобы сделаться рабочими, не могла не идеализировать несколько класса работников и потому относилась к представителям его в тюрьме с особою предупредительностью; рабочие же, в свою очередь, не могли не чувствовать, что интеллигенты относятся к ним как-то иначе, чем друг к другу, и потому естественно проявляли некоторую подозрительность. Петр Алексеев был один из немногих рабочих, которые никогда не ощущали своего якобы неравноправия в среде товарищей, хотя бы и в сторону возвышения трудящихся классов. Петруха совершенно одинаково относился ко всем товарищам, какого бы происхождения они ни были. В Мценске

из более всего сошелся с андреевскими централистами Позаником, Рогачевым и отчасти Войнаральским.

Как ни дружественны вообще были между собой отношения сидевших в мценской тюрьме, но, конечно, дело не обходилось без временных размолвок и недоразумений. В тех случаях, когда по каким-нибудь вопросам тюрьма делилась на два лагеря, Петруха всегда голосовал с группой, с которой он сошелся по своим революционным убеждениям и которую он считал наиболее активной, но в то же время вполне дружески относился ко всем заключенным, каких бы мнений они ни придерживались. Этому несколько не мешала присущая ему некоторая резкость характера. У Петрухи, казалось, одинаково сильно развиты были индивидуализм и общественность. В силу первого из этих качеств он мог дать неожиданный отпор человеку, задевшему неосторожно его внутреннее „я“, и вслед затем, в силу своей общественности, отнестись к нему, как к лучшему товарищу.

Жизнь заключенных в Мценске была для них своего рода каникулами после строгого режима, пережитого ранее. Здесь они отдыхали душой и телом и набирались сил для дальнейшего путешествия в Сибирь, предстоявшего весной 1881 года. В силу особых условий заключения и сознания необходимости дать время более слабым товарищам окрепнуть, каторжане решили не делать в Мценске никаких попыток к побегу; поэтому и лишение свободы не чувствовалось здесь в такой степени, как в тюрьмах вообще. Здесь же в Мценске, они узнали об убийстве Александра II*). Это событие вызвало в тюрьме немалое волнение — всем хотелось предугадать будущий ход государственной жизни России, но, прежде чем на основании ряда последующих фактов можно было прийти к определенному заключению, они были, с открытием навигации, отправлены в Сибирь.

Централисты были ядром партии, составленной в Мценске для следования в Сибирь. По пути к партии присоединилось несколько женщин, из которых одни, как Вера Рогачева и Круковская, ссылались в Сибирь (первая — административным порядком, вторая — на каторгу), другие — как Мария Ипполитовна Легкая (Макка, так ее называли) — следовали добровольно за ссыльными на каторгу. Макка скоро вошла в состав партии, а Агата Адамовна Дмоховская — сестра Тихона Дмоховского — ехала отдельно, не выходя из виду партии. Впоследствии к партии присоединились Евгений Фигнер, ныне Саянца.

Общество женщин внесло некоторое оживление в жизнь партии и придало ей несколько семейный характер. У женщин, свободных от семейных уз, явились ухаживатели. Петруха не чуждался женщин и относился к ним, как к товарищам по делу, но во все свое более, чем долготрудное путешествие по этапам, не сделал ни одного шага, который мог бы быть истолкован в смысле малейшего намерения на ухаживание.

Партия быстро промчалась по железной дороге до Тюмени и отсюда на тройках; несколько медленнее двигалась на баржах по рекам, а настоящее страствование началось для нее только со времени этапного путешествия. В партии не было уголовных. Тюремное начальство в то время еще признавало привилегии политических арестантов и давало им подводы — по одной лошади на несколько чело-

*) По свидетельству Н. А. Виташевского, Алексеев „1-ое марта горячо приветствовал“ (письмо от 28/1 1907 г. н. ст., ср. также „Былое“, 1907, IV, 184).

век. Партия в день проезжала по 25 верст и через два дня в третий останавливалась на дневку, так что средняя скорость движения была 16 $\frac{2}{3}$ версты в сутки.

При таких условиях, путешествие не было утомительно. В телеге сиделось по три человека, кто с кем хотел. Партия двигалась шагом, так что было достаточно времени потолковать в пути о всевозможных вопросах. Особенно оживленные беседы происходили на телеге, на которой ехали товарищи Петрухи по процессу: Джабадари ¹⁾, Зданович и Цицианов (ныне умерший). Споры, начатые на одном этапе, они продолжали в телеге и кончали на следующем этапе.

Петруха ехал обыкновенно вместе с Коваликом и Буцинским, умершим потом в Шлиссельбурге. Втроем они составляли проловольственную коммуну. Партия нашла более удобным на время дороги разбиться на такие маленькие коммуны, которые по числу своих членов получали определенную ассигновку от артели и сами забирали продукты у торговцев или заказывали их артельному старосте; на этапах же обыкновенно начиналась стряпня в котелках. Коммуну Петрухи прозвали в шутку „акулами“. Название это дано было ей по такому случаю: однажды на этапе коммуна отправилась на кухню, похвастав предварительно, что она напечет пересортиных блинов. Товарищи сделали вид, что ожидают угощения от коммуны, и когда все трое ее участников возвратились с пустыми сковородами, — блины съедались по мере изготовления, — то за такое „обжорство“ над ними добродушно посмеялись и дали им кличку „акул“.

Партия в общем шла довольно мирно. Сколько-нибудь серьезных недоразумений не было, не только между собою, но и с начальством. Часть следующих на каторгу и поселение пыталась образовать из своей среды особую организацию, которая, по освобождении ее членов естественным путем вследствие окончания сроков, или посредством побегов, должна была принять участие в революционной работе. Петруха, конечно, присоединился к этой организации и искренно верил в возможность осуществления на практике ее задач. Организация выработала свою собственную программу революционной деятельности, представлявшую собою развитие программ 70-х годов и не во всем согласную с программой „Народной Воли“. Петруха оставался по существу прежним пропагандистом, искавшим почвы для деятельности в народе, хотя несколько и на иных основаниях, чем в 70-х годах. Поэтому он не мог вполне сочувствовать сосредоточению сил партии исключительно на политическом терроре и вместе с другими членами организации пытался внести в программу „Народной Воли“ некоторые поправки. Начинаясь организация каторжан не могла, конечно, не думать о побегах в пути. Кое-что в этом направлении было подготовлено, намечены были люди, которых предполагалось выпустить в первую голову, но практического осуществления эти планы не получили. В пути был только один побег Мартиновского, устроенный неугомонным в этом отношении Мышкиным по собственной инициативе. Побег редко удавался в Сибири без серьезной помощи со стороны, и Мартиновский вскоре был пойман.

„Путешествие на каторгу было в известной степени продолжением каникул, начавшихся в Мценске. Петруха, как и многие в партии, чувствовал себя в дороге настолько хорошо, насколько это возможно

¹⁾ Умер в 1910-х годах на своей родине, в Грузии. Э. И.

для людей, лишенных свободы. Чистый и здоровый сибирский воздух, в связи с более или менее удовлетворительным питанием, поддерживал силы странников, и большинство их имело бодрый вид и не тяготилось путешествием. Только несколько человек, которым надоела бездомная жизнь в пути, пытались поднять в партии вопрос о том, чтобы предъявить начальству требование—ускорить движение, но им основательно возразили, что не может быть никакого основания торопиться на каторгу.

„Партия остановилась на некоторое время в Красноярске. Здесь к ней присоединились народовольцы, осужденные по процессу 16. Начались новые знакомства, обмен новостями и теоретические разговоры, оживившие однообразную жизнь путешественников. Дальнейшее движение в Иркутск совершалось уже совместно с народовольцами. В Красноярске от партии отстал Долгушин, встретивший здесь своего отца, занимавшего должность прокурора“.

В Красноярске мне впервые пришлось увидеть Алексеева и затем совершить с партией переезд по этапу от Красноярска до Иркутска. Я рад был встретить в партии многих людей, о которых слышал и знал только по процессам и по речам и которых воображение мое рисовало в виде героев, несущих на себе всю тяжесть борьбы за народные интересы. Дорогою мне не удалось хоть сколько-нибудь познакомиться с Алексеевым, во-первых, потому, что я ехал больной, заболев в Канске воспалением легких, а, во-вторых, еще и потому, что и сам Алексеев держался несколько в стороне от других и, подобно мне, не состоял в большой группе, где старостой был Войнаральский, а держался лишь маленькой группы из 3-х человек. Мне тогда казалось загадочным, почему это Алексеев, пользующийся такой известностью, такой заслуженный революционер, не состоял в крупной группе ссылаемых.

„Путешествие в Иркутск,—говорит С. Ф. Ковалик,—продолжалось тем же порядком, как и ранее. В иркутской тюрьме партия засела надолго, до установления зимнего пути. Здесь заболел и скончался любимый всеми товарищами Дмоховский. Петруха, бывший с ним в довольно близких отношениях, задумал сказать речь на его похоронах и уже изготавил проект ее, но когда узнал, что более сильный оратор Мышкин¹⁾ готовит с своей стороны надгробное слово, то отказался от своего намерения. Проект речи Петрухи был составлен очень недурно, и, как все, что он говорил, проникнут сильным чувством, которое наряду с глубокою убежденностью отличало его во всех публичных выступлениях. В бытность в Иркутске, Петруха, между прочим, получил письмо от интеллигентного рабочего Бачина²⁾, временно сидевшего в тюрьме, но отдельно от партии. В этом письме Бачин без всякого конкретного основания посылал какие-то упреки товарищам Алексеева, как интеллигентам. Петруха, давно уже переставший считать себя существом, отличным от своих интеллигентных товарищей, с жаром вступился за них и отчитал, как умел, в ответном письме своего корреспондента. Петруха настолько слился со своими товарищами по заключению, принадлежавшими к интеллигентным

¹⁾ О речи Мышкина сообщено в „Былом“ (1906, кн. II) М. Р. Поповым.

²⁾ Вернее было бы назвать его довольно развитым, а не интеллигентным. Бачин умер в 1893 г., отравившись настоем фосфорных спичек (см. „Мин. Годы“, 1903, VII: „В иркутской тюрьме“ и т. д. Н. Виташевского, стр. 114). Э. И.

Иркутск-Центр

Иркутск-Центр

общества, что его трудно было отличить от интеллигента. Единственная черта, которая выдавала его, как бывшего рабочего, — это пастопчивость, с которою он всегда требовал самого точного равенства всех членов артели в исполнении каких-нибудь общих работ. Если он отбыл свое дежурство по приготовлению пищи или уборке камеры для своей маленькой коммуны, или исполнению какой-нибудь работы, напр., разлива общего чая для всей артели, то он спокойно совершал, не трогаясь с места, мелкие затруднения следующего дежурного, не приспособившегося почему-либо к исполнению лежащей на нем работы, но зато сам добросовестно и без посторонней помощи выполнял лежащие на нем обязанности. Единственное исключение он делал в своей маленькой коммуне для слабого здоровьем товарища Буцинского. По соглашению с Коваликом они освободили Буцинского от всех работ и ухаживали за ним, поскольку это было необходимо.

„В Иркутске жизнь партии протекала также без столкновения с начальством¹⁾. Только перед самым отправлением в дальнейший путь, когда, по каким-то инструкциям, каторжанам хотели обрить половину головы, поднялся протест, который выразился, главным образом, в горячих объяснениях с администрацией по поводу жестокости и бесчеловечности такой меры. Петруха, в свою очередь, решительно заявил о своем нежелании подчиниться унижительному обряду. Начальство, после непродолжительных переговоров, уступило, снарядив особую комиссию, которая, по осмотре каторжан, признала всех их одержимыми разными болезнями, не допускавшими бритья голов. В одном случае даже болезнь ноги признана была достаточным основанием, чтобы освободить от бритья рабочего Александрова, упорно отказывавшегося признать у себя какую-либо другую, более подходящую болезнь.

„На Каре в каторгу партия направлена была более ускоренным темпом на бытаевских ломадах. Карийцы знали о том, что к ним идет партия централистов, и ожидали ее с нетерпением. Им были известны ужасы тюремного режима централет по браншюре „Заживо погребенные“, и они предполагали встретить едва живых, измученных людей. Случайно первыми вошли в тюрьму отличавшиеся наиболее здоровым цветом лица Алексеев, Зданович, Войваральский, Рогачев, Ковалик и др. Кто-то из карийцев не удержался и, указывая пальцем на вошедших, пронычливо воскликнул: „Вот они, заживо погребенные!“. Действительно, если бы кто-либо из посторонних мог видеть пришедших централистов, подрумяненных сибирским морозом, и бледных истощенных карийцев, то он, без сомнения, последних, а не первых, признал бы „заживо погребенными“.

„Вновь прибывшая партия застала на Каре некоторую развешенность, мало свойственную в то время местам, в которых сосредоточивались политические заключенные. Две камеры: „Синедриной“ и „Харчевка“²⁾ вели подконы под землей, готовили массовый побег. „Дворянка“ и „Якутка“ относились более или менее равнодушно

¹⁾ Не мешает отметить, что за „буйство и оскорбление словом конвойного начальника на пути в Сибирь, в конце 1881 года, распоряжением забайкальского военного губернатора“ срок испытания продолжен был Алексею на три недели. См. Доклад Особому Советанию, огласно 34 ст. Положения о государственной охране, о ссыльно-каторжном Петре Алексееве, 22 марта 1884 г.

²⁾ Крайняя камера, где жили, главным образом, повара-стрипуны (Данилов).

к производившимся работам, а „Волость“ (больница) даже частью неодобрительно. Политические каторжане завоевали себе в тюрьме значительную свободу, которую, казалось некоторым, не стоило ставить на карту из-за побега, имеющего притом мало шансов на успех. Кроме того, несколько человек, и, кажется, большею частью из сидевших в „Волости“, имели свидания с женами, поддерживавшими в них консервативное настроение по отношению к побегам.

„Партия централистов и народовольцев пыталась оживить карибскую жизнь и сплотить в одну стройную общину разединенных по намерам старых карибцев. С этою целью созвано было несколько сходок в коридоре. На этих сходках с жаром выступал иногда и Петруха, который болел сердцем при виде угнетенных и молчаливых товарищей (конечно, известной части только), замыкавшихся в небольшие кружки и сторонившихся от общей жизни. Попытки ново-карибцев не увенчались большим успехом. Но уже самый факт расселения их по всем пяти камерам до некоторой степени нарушал прежний характер камер и уничтожал их обособленность.

„Карибская республика недолго просуществовала после прибытия централистов и народовольцев. После побега Мышкина с Хрущовым, а за ними еще нескольких пар через мастерскую, Кара была взята ночью приступом, и обитатели ее были расселены по разным тюрьмам-клоповникам. Начались самые тяжелые репрессии, имевшие, по видимому, одну цель—отомстить каторжанам за побег, лишив их всего того, что хотя немного скрашивало тюремную жизнь. Заключенных стали запирали по камерам, что с точки зрения предусмотрительного начальства могло быть с некоторою натяжкой истолковано в смысле меры пресечения способов к побегу, и в то же время лишать книг, которые, казалось, никак не могли служить для этой цели. Приучив бывших карибских республиканцев к новому режиму в маленьких тюрьмах и переделав несколько их прежнюю общую тюрьму, начальство снова перевело туда каторжан и рассадил их по камерам уже не по добровольному соглашению, а по срокам окончания каторги. Петруха попал в Якутку. Администрация своими бесконечными репрессиями добилась, и притом довольно скоро, того, чего не могли соединенными силами достигнуть централисты и народовольцы. Прежнего разединения не осталось и следа, и все заключенные, за ничтожными исключениями, составили одно дружное общество, одну артель“.

V.

Об этой поре в жизни карибцев (с марта 1883 г.) поделился со мною своими воспоминаниями В. А. Данилов, под диктовку которого я, в 1907 г., записал следующее:

„Кара переживала в это время остатки строгого режима, после побега Мышкина с Хрущовым и других двух побегов. Самый строгий режим уже прошел, все политические сильно-каторжники опять соединились в одну политическую тюрьму на средний присек. Тюрьма была прежняя, но прежних вольностей уже не было. Внешний вид камер тюрьмы остался тот же, те же пали окружали главное здание тюрьмы и баню с кухней, остались в тюрьме те же 5 камер, с теми же характерными названиями, но внутренность камер была уже не та. Каждая камера была разделена перегородками на 4 части, запиралась

только одна наружная дверь и днем, и ночью. Из первой части камеры, „антишамбр“, как называли ее, вела дверь в каждое из отделений. В этой „антишамбре“ и днем, и ночью стояли парашни. В трех камерах вдоль капитальной стены и перегородок тянулись пары шириною немного больше двух с половиной аршин, длиною во всю камеру.

„В первое время после моего приезда, около года, выпускали на прогулку каждую камеру отдельно на полчаса, раза два в день. Книг не давали. После побега довольно большая библиотека была уложена в ящики и хранилась в амбарах. Месяцев 5 или 6 спустя, конспиративным порядком, как бы осматривая свои вещи, удавалось пронести из амбара одну—две книги, благодаря снисходительному невниманию смотрителя тюрьмы—добродушного сибиряка. Жизнь текла монотонно. Для некоторых было развлечение: они дежурили по понедельно поварами на кухне; поваров было два: помощник и главный; кроме того, было двое дежурных на кухне, на обязанности которых лежало разносить два раза в день кипяток, обед и ужин, мыть посуду, затапливать кухонные печи и плиту. Эти обязанности для одних были развлечением, для других—испытанием. Остальное время, не занятое отбыванием этих повинностей, приходилось громадному большинству проводить лежа на нарах. Развилась игра в шахматы, в пашки, даже в карты,—разумеется, не на интерес. Добытую случайно книгу читали вслух, если она интересовала всех. Не было книг—кто-нибудь импровизировал повесть, роман, рассказ. Эти импровизации слушали с таким же безразличием, как слушают шелест ветра или журчание ручья. Нужно было наполнить чем-нибудь пустоту впечатлений.

„Расстояние, свободное между нарами и противоположной стеной, было менее полутора аршин. Когда ходил один, прогуливаясь по камере, все остальные должны были лежать. О густоте населения камер можно судить по тому пространству, которое приходилось на долю каждого. Это пространство было менее полутора аршин. Подстилка и одеяло одного близко соприкасались с соседними. Ночью непокойно спящий перекатывался и толкал соседа. Нервность у некоторых развилась до крайних пределов: они вздрагивали, когда гуляющий по камере касался своим халатом обуви ноги лежащего на нарах. Березнюк, напр., просыпался раздраженный, если на него спящего, устремляли взор; раздражение доходило до того, что он ругал тех, которые, не стесняясь его состоянием, делали над ним опыты. Не все были так раздражительны, не все жили одним миром своих чувств. Были люди, которых занимал самый процесс наблюдения над другими. Были люди, создававшие в своем уме разные научные построения. Были люди, мысленно сочинявшие повести и романы, ожидая себе в будущем от них известности и славы. Были разные изобретатели в области техники. Были совершенно пришибленные, пассивно переносившие свое состояние. Было, правда, немного людей, вошедших в тюрьму со своим миром идей, со своей преданностью делу, за которые они готовы были положить не только тело, но и душу. К такого рода людям принадлежал Петр Алексеевич Алексеев.

„Простой малограмотный рабочий, своим развитием он обязан был себе. Огромной физической силы, крепкого сложения, с крупными чертами лица. Оспа положила на эти черты лица свою печать. Бывший первый кулачный боец Москвы, он сохранил своеобразную

походку кулачных бойцов и добродушие всякого мощного, сильного человека, уверенного в своей силе. В тюрьме он держался особняком со своей идеей будущего торжества рабочего класса в России. Толчок его развитию дап был людьми, можно сказать, самыми чистыми из людей 70-х годов. Нравственная идея долга, руководившая лучшими людьми той эпохи, окружила их ореолом святости в сознании Петрухи. Ему пришлось разочароваться, как и всем другим рабочим, когда он столкнулся с другими типами людей 70-х годов, когда он ближе узнал таких деятелей, для которых революция была математической проблемой, а не живым делом, или таких, которые сами не могли определить, что для них важнее в революции: удовлетворение ли своему честолюбию или увлечение отрицанием всего, что сдерживает животные побуды человеческого существования. Ему пришлось отказаться от идеализации всех вообще интеллигентов-революционеров и остановиться на идеализации отдельных лиц. Он не потерял веры в хорошее, доброе у человека, независимо от принадлежности к тому или другому классу. Как человек с сильной волей, с сильными мускулами, с большой энергией, с авторитетом в революционном мире, он не боялся господства; ненависть к господству не переходила у него в ненависть к интеллигентам. На Каре политические выделили из себя группу рабочих. Эта группа, не организованная ни в какие внешние формы, объединялась чувством протеста к тому давлению, которое позволяли себе более развитые литературно интеллигентные по отношению к простым рабочим. На Каре некоторые считали приятным развлечением для себя показывать гибкость своего ума по адресу своего товарища по заключению. Простое бесхитростное выражение своего честолюбия рабочим они травили насмешками, прикрывая этими насмешками свое более сложное и более сильное честолюбие и свое стремление к господству. Петр Алексеев болел душой, когда был свидетелем этой травли. Сдержанный и самолюбивый, уважающий себя, он не вмешивался в эту грязь казарменной тюремной жизни.

„У меня отношения с Петрухой, с первого же дня приезда, как и со всеми рабочими, были искренние и теплые. Петруха почему-то составил о моей личности свое мнение, и центром этого мнения было положение, что я—рабочий. Потом, когда из разговоров, в его присутствии, с другими, вспоминая прошлое, я сказал о своем дворянском происхождении, Петруха, разочарованный, отошел в сторону и прекратил со мной сношения; не переставая следить за моим поведением, он чего-то искал еще во мне. Через два—три, может быть, четыре месяца вышла довольно бурная сцена из за отношения нашего старосты, Вердникова, к уголовным, привозившим нам хлеб, мясо, воду, вывозившим нечистоты,—вообще к нашим служителям. Б-в позволил себе по моему адресу оскорбление. Я отвечал на оскорбление улыбкою и смехом, что еще более бесило Б-ва. Это было на кухне. Петруха случайно был дежурным по кухне, я—больничным поваром. Когда мы остались вдвоем с Петрухой, он подошел ко мне, хлопнул рукой по спине и сказал:

„— Не сердись, старина! Я был неправ.

„Мы пожали друг другу руки, и мир был восстановлен. Ни он, ни я, мы никогда не вспоминали о причинах, нарушивших наши отношения: для меня они были так же понятны, как и для него.

„Время строгостей кончилось. Объявили суд над бежавшими. В коридоре поставили шкапы, книги пригнали из амбаров, Свитыч

опять стал библиотекарем. После днаты, любители чтения с увлечением ухватились за книги. Любители писания могли излагать свои мысли: разрешена была бумага. Петр Алексеев теперь проводил целые дни, лежа на нарах с книгой в руках. Постоянное чтение книг, при неудобном освещении, расстроило зрение Петру. Наш доктор Веймар соорудил ему зеленый козырек. Петруха не хотел совершенно бросить чтение. Еще прошло немного времени, перегородки камер были разрушены, из четырех камер сделали одну. Посредине камеры стоял большой стол. Не салные мерцающие свечи освещали теперь большую камеру; их заменила большая светлая височная лампа над большим столом посреди комнаты. Наши механики и техники устроили громадный абайур, свет не поражал зрения, — падал только на стол. Любителям чтения и письма было теперь удобнее заниматься, сидя на скамейках вокруг стола; их глаз не портили салные свечи. К этому же времени число политических в тюрьме уменьшилось; часть их ушла на поселение, и в камерах стало просторнее.

„Приехали новые политические, участвовавшие в народо-вольческом движении.

„Кроме неорганизованной группы рабочих, на Каре еще была организованная группа людей, поставивших себе целью поддерживать спокойствие в тюрьме. Это были генералы революции, желавшие и на Каре играть некоторую роль. „Народы“, т. е. не генералы, подсмеивались над этими товарищами, над их желанием играть роль. Увлеченные своей задачей, генералы не замечали отношения к ним „народов“. Они, генералы, ставили своей целью прекращать всякие разговоры на политические темы, опасаясь, чтобы разговоры не перешли в споры и ссоры. Тишина карийской жизни должна быть соблюдена. Каждый должен был как бы духовно замереть в своем собственном мире. Все хотели свободы, свободы физической, всякий хотел поскорей выйти на поселение. Многим казалось, что разговоры на политические темы могут повредить выходу на поселение. Для многих желательно было забыть свое прошлое и опять быть на свободе, опять жить личной жизнью. Это было желательно, но было и невозможно. Каждый политический разговор показывал им, что желательное невозможно, оживлял в их душе их прошлое, как лучшую часть их жизни. И они боялись этого оживления. На почве этой тюремной психологии и создалось влияние группы генералов-умиротворителей — „синедрионцев“, синедрионцев второго призыва. Синедрионцы первой серии были иные. Приехали прямые и косвенные участники 1-го марта. Синедрион не мог справиться. Разговоры на политические темы получили право гражданства, и параллельно с этим пало влияние синедриона.

„Вместе с политическими разговорами явились и разногласия. Незначительные разногласия усиливались до значительного раздражения, как следствие тюремного заключения. Ничтожного повода было достаточно, чтобы появились случаи неговорения между людьми. На площади в 25 саженей помещалось больше 50-ти честолюбий. Когда честолюбия молчали, их не было заметно. Теперь же открылись клапаны, начались разговоры, и честолюбия проявились во вне в форме неговорения друг с другом. Остроумный Ванечка Калюжный (отравившийся после того, как высекли Сигиду) в своей камере „Якутке“ насчитывал на 14 человек 64 комбинации неговорения. В этой камере обособленно со своими мыслями жил Петруха Алексеев. Он умел

сдерживать себя, внутренне возмущался, и свое возмущение не обнаруживал в словах, но все-таки было человека два, с которыми он был в неговорении. На спокойной физиономии Петрухи не отразились чувства возмущения, волновавшие его.

„Приезжал на Кару перед коронацией Александра III флигель-адъютант Норд собирать покаяния, и на основании этих покаяний предполагалось миловать политических каторжников по случаю коронации. Это возмущало некоторых, возмущало в числе их и Петруху Алексеева“.

Последовавший затем манифест 1883 г. к Петру Алексееву, как и ко многим другим каторжанам, применен не был.

Из имеющегося в моем распоряжении материала остается привести заключительную часть воспоминаний С. Ф. Ковалика:

„Материальные достатки каторги случайно уменьшились, артели могла ассигновать только на улучшение казенной пищи рублей до трех на человека и каждому члену на чай, табак и пр. по 75 коп. в месяц, но силенность возросла. Во время наибольших репрессий и наибольшего гонения на книги, заключенным удалось организовать ряд лекций по различным предметам, вплоть до высшей математики. Как лекторы, так и слушатели получили возможность приходить для этой цели в чужие камеры, но и такая свобода показалась начальству слишком большой, в камеры перестали пускать „посторонних“, и лекции должны были прекратиться.

„Все время, пока продолжался режим репрессий, Петруха стойко выдерживал все стеснения и не только не падал духом, но сохранил вполне всегда отличавшую его бодрость. Ему вместе с другими пришлось выдержать 13-дневную голодовку, но и это не подкосило его. Здоровый организм его, управляемый сильной и здоровой волею, хорошо выдерживал всякие испытания. Кара таким образом не оставила сколько-нибудь глубоких следов на его здоровье, и он в 1884 г. вышел на поселение в Якутскую область в полном цвете сил“...

VI.

П. Алексеева сначала поселили в Баягантайском улусе (Сасыльский наслег) Якутского округа, а затем, по его просьбе, перевели в считавшийся лучшим Бутурусский улус того же округа и поселили (в 1888 г.) в Жулейском наслеге, в 18-ти верстах от моего местожительства.

„Вышедшие на поселение политические, — говорит В. А. Данилов, — в Якутском округе, кроме казенного пособия, брали у якутов землю в виде покосов и пашен; другие же, не обрабатывавшие земли, получали за то, что не берут землю, до 14 рублей в месяц. Кроме этой натуральной повинности, якуты обязывались или строить юрту политическому ссыльному, или давать квартиру. Петру Алексееву якуты построили юрту, или, вернее, докончили строить из того дерева, которое предназначалось для моей юрты. Петр Алексеев не брал денег за землю, а взял надел покосного места. Кроме того, по обычаю якутов, когда ловили рыбу на озере близ его юрты, якуты приносили ему, как подарок, жареных на вертеле мундушек¹⁾“.

¹⁾ Мундушка (по-якутски мунду) — местное русское название рыбы *Phoxinus phoxinus*.

„Юрта была разделена пополам. Меньшая часть изображала прихожую, а в большей, просторной половине юрты жил покойный П. Алексеев. Тут была русская печь. Петруха, как истинный русский человек, не мог отказаться от квашенного хлеба, сам пек себе хлеб. В обеих половинах юрты поддерживалась образцовая чистота и порядок. Стены были чисто вымыты, несколько больших окон ярко освещали юрту. В почетном углу, где у православных помещаются образа, на полке лежало несколько книг. На стене, выше полки, были приклеены известные стихи Боровиковского: „Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский суди, судья, попроси, поскорей, без мишуры, без маски фарисейской, без защитительных речей“. Стихи эти переписал Петрухе брат Боровиковского ¹⁾ красивым изящным почерком. Юрта стояла на возвышенном небольшом кургане. Из одних окон видно было озеро, из других—дорога в Мехогеенский наслег и часовня: ближе к юрте дом „родового управления“.

Когда Алексеев, как и я, возымел намерение заняться хозяйством, то нам разрешено было иметь лошадей, и мы таким образом имели возможность видеться довольно часто. По получении какого-либо более или менее важного известия нам ничего не стоило оседлать или запрячь коня и поехать друг к другу, чтобы сообщать накопившиеся новости и обмениваться мнениями.

В одно из свиданий мы беседовали по поводу нападения якутов на наших товарищей Рубинка и Щепанского, которые, не зная дороги и плохо усвоив себе указания якутов, кружили довольно долгое время вокруг одного места, где находились общественные хлебные амбары, и не могли выехать на настоящую дорогу. Якуты заподозрили в них татар, вознамерившихся ограбить амбары с хлебом, и страшно избили, так что Рубинка после этого стал заикой. Факт этот произвел на нас достаточно сильное впечатление, показав, что такая случайность может постигнуть каждого из нас, и потому мы должны быть готовы к отпору. Тогда же я приобрел от „Вавечки“ Кашинцева, перед самым его побегом (1888 г.), плоховатый револьвер. Когда впоследствии до нас дошло известие об убийстве, в ночь под 1 янв. 1890 г., товарища Павла Орлова („Павлушка“), принятого убийцей или убийцами за богатого скопца, которого они подстерегали под городом, то это произвело на нас, в особенности на Алексеева, столь сильное впечатление, что и он решил обзавестись револьвером и действительно купил, помнится за 25 руб., довольно хороший револьвер. Затем впечатление от этих двух фактов—избиения и убийства—постепенно улеглось, и Алексеев уступил просьбе одного молодого якута, сына местного богача, Никола Оросина и продал ему свой револьвер. Кто знает, быть может, не продай он своего револьвера, Алексеев не кончил бы так трагически свою жизнь? О продаже им револьвера было, конечно, известно всем окрестным якутам.

Не легка задача писать воспоминания о человеке, ближайшее знакомство с которым не вполне гармонизировало с составленным на основании речи представлением. Могу сказать, что Алексеев ни с кем так часто не встречался, как со мной, и у него, очевидно, для этого были свои основания. Алексеев, конечно, отлично чувствовал разницу в отношениях к нему того или другого из ближайших товарищей: тогда как я продолжал видеть в Алексееве автора знаменитой речи.

¹⁾ Уголовный, осужденный за какую-то подделку подписи.

как возмущавшей в свое время всю интеллигентную молодежь, и смотрел на Алексеева все время под этим углом зрения, другие, проводившие целые годы бок-о-бок с Алексеевым в тюремных условиях, видели одни лишь его недостатки, главным из которых являлась, конечно, его малообразованность. Когда я заметил несколько пренебрежительное отношение к Алексееву товарищей по ссылке и со стороны некоторых даже стремление избегать его посещений, мне было чрезвычайно больно сознавать, как скоро забываются в нашей среде заслуги такого, во всяком случае, недюжинного человека. Правда, Алексей не был интересным собеседником, когда дело касалось теоретических споров, напр. по вопросам политической экономии; дальше слов „Маркс сказал“ в разных вариациях Алексей не шел, и вряд ли кто-либо мог добиться от него, что же собственно сказал Маркс? Не этого и нельзя было требовать от Алексеева; это уже была вина его ближайших товарищей, не выработавших из него, как это было естественно по отношению к другим рабочим, „человека с образованием“. Алексева надо было брать таким, каким он был на самом деле, и не предъявлять к нему требований, которых он выполнить не мог.

Замечания Алексева на полях „Русской Мысли“, где была статья Протопопова о значении и роли интеллигенции в деле общественно-политического развития, показывают, что он изменил свое отношение к ней после ближайшего знакомства с ее представителями на каторге и ссылке. Последним толчком в данном направлении могло послужить следующее обстоятельство. Находились лица, которые, в силу какого-то недоразумения, отрицали за Алексеевым даже заслугу составления его знаменитой речи. Я был свидетелем эпизода, когда один из тогдашних административно-ссыльных, Сергей Михайлович Терещенко, так-таки прямо и бацнул: „А я слышал, что не вы сами сочинили сказанную вами речь, а что она была составлена для вас товарищами“. Надо было видеть впечатление, произведенное на Алексева этими словами. Задыхаясь от волнения, Алексей только сказал: — „Нет, этой чести я никому не уступлю“.

Один из товарищей Алексева по каторге и ссылке Н. А. Витаневский, уже побывавший в Петербурге и имевший возможность проверить свои старые сведения, вот что писал мне из Женевы от 28 января н. ст. 1907 г. об Алексееве:

„Он обладал недюжинным умом и способностью к развитию. Каким он был на воле, не знаю; но упорно говорили, что речь была написана для него кем-то из товарищей (кажется, Джабадари). Тем не менее я допускаю, что он произносил ее вполне сознательно, — ведь он вообще мог понимать ее смысл, владел даром слова, и помощь товарища могла бы быть важна лишь с технической стороны“.

Но автора цитированных строк, жившего за границей с конца 1906 года, не дошла, вероятно, изданная в этом году брошюра Ф. Волховского, в которой сказано вполне определенно, что спустя день или два по произнесении речи он, Волховский, „получил от Алексева записку, к которой приложена была и его речь, написанная отчаянными каракулями, но тем более драгоценная“. Каракулями в полном смысле слова отличался именно почерк Алексева. Я сам забыл об этом недопускающем никаких сомнений свидетельстве Волховского и, в поисках каких-либо указаний в литературе, обратился к „Былому“.

В воспоминаниях Джабадари („Былое“, 1907 г., X, 194—195), я нашел указание не только на то, что Алексей был сам автором своей

речи, но и на то, что в минуты пафоса Алексеев поднимался до высоты народного трибуна, как его назвал Спасович. То же говорит и В. Фигнер в своей заметке по поводу моей статьи, посвященной памяти Алексеева („Воля Народа“, 1917 г., № 100).

Когда Алексеев узнал о том, что его речь переведена на французский язык, то, сообщая мне об этом, он сказал: „удружили, нечего сказать“. Сказано это было как бы с огорчением, но по тону было ясно, что в действительности Алексееву льстила та популярность, какую пользовалась его речь.

Относительно характера Алексеева мнения товарищей расходятся. В то время, как, напр., на Волховского Алексеев произвел „впечатление огромной силы—телесной и душевной—смешанной с веселостью, великодушием и открытостью“, Н. А. Виташевский находил, что Алексеев был „человек тяжелый“, в сношениях с которым каждый старался держать себя с осторожностью. Но последнее не исключало столкновений. Так, в централке у него было какое-то недоразумение с Поновым (Алексеев обвинял последнего в... эгоизме и отсутствии товарищеских чувств!). Какое-то столкновение было и у меня с ним в Якутке. Помню, что мы поругались вечером, и он уехал в ночь. Помню, что скоро отношения у нас опять наладились. В частности, выражение „гнилая антиинтеллигенция“ приписывалось ему. Несмотря на все это, с ним считались как с силой; так, когда в Мценске образовался кружок, то Алексеев был в него принят и занимал почетное место. Он, в числе немногих, получил при выходе на поселение деньги на побег... (письмо от 28/I 1907 г.).

Другой товарищ Алексеева, Г. Ф. Осмоловский в одном письме (от 17/X 1906) признается, что на Каре Алексеев был ему несимпатичен, а в другом (от 23/I 1907) пишет: „На Каре он роли не играл, но заметны были претензии, несоразмерные с ресурсами. Мне приходилось быть свидетелем, как он вмешивался в теоретические споры, обнаруживая ни умственной самостоятельности, ни литературного развития. Он старательно, напр., читал по политической экономии, но ясно было, что это занятие не по нему. Не бывшие его друзьями по процессу и централке относились к нему прохладно. Заметно также было (даже при карийских условиях) его расположение к земным благам. Мне всегда казалось, что „слава“ вскружила ему голову, и он утратил известную долю простоты и естественности. Помню затем из рассказов Всев. Мих. Пенова, что в истории с „лавочкой“ Н. А. Виташевского¹⁾ он также обнаружил несимпатичные черты. На Каре я причислял его к группе централлистов, слепо шедших за Коваликом и Войнаральским. Вообще, там он ни в чем не проявлял своей индивидуальности, чем отличался, напр., от Ишманова, Миткина и Джабадари. Но должен сказать, что в одной камере я с ним не жил и не старался, вместе с тем, присматриваться к нему, т.-е., что называется,—я мало знал его. Можно, пожалуй, объяснить мое отношение еще тем, что, по слухам, я имел право ожидать от выдающегося человека, а встретил заурядного. На поселении я видел его всего раза 2—3“.

В интересах беспристрастия я привел отрицательные отзывы ныне покойных уже товарищей Алексеева, полагая, что он не ну-

¹⁾ Основана была последним и толкает им для общего блага в Якутку предметов первой необходимости, почему и называлась общественной лавкой. С. П.

идается в затушевывании каких-либо сторон его характера. С другой стороны, в самых отрицательных отзывах может заключаться зерно истины, которое не должно быть упущено при характеристике крупной личности.

Наиболее объективной характеристикой Алексеева является, на мой взгляд, следующая „памятка о Петре Алексееве“, И. И. Майнова, написанная последним по прочтении в рукописи всего вышеизложенного. „Памятка“ эта очень ценна, ибо сглаживает и примиряет между собой бросающиеся в глаза противоречия в отзывах о личности Алексеева его товарищей по ссылке, навеянные некоторым субъективизмом. Эт которого им не удалось отрешиться и которого удалось счастливо избежать только И. И. Майнову. Привожу дословно этот чрезвычайно важный для всесторонней оценки Алексеева документ:

„С Алексеевым я встречался в 1888—1891 годах, иногда в Якутске, на улусной квартире¹⁾, и не раз на Чурапче, всегда в компании. По внешности он производил впечатление типичнейшего русского мужика: ростом не ниже меня, сухощавый, но массивный, — как говорится у крестьян, — корпусный; с темными, несколько лохматыми волосами и почти черной бородой; лицо смугловатое, с тяжелыми и грубоватыми, но отнюдь не отталкивающими чертами; глаза, очень глубоко впавшие в орбиты, небольшие, красивого синего цвета; выражение лица спокойное, серьезное и внушительное; голос высокого тембра, очень сильный и звонкий (в хору он пел вторым тенором). При взгляде на него приходило в голову: вот крепкий мужик, человек „сурьезный“, с которым шутки плохи!

„Держался он в компании всегда совершенно просто, без всякого ломанья и нередко у рабочих нашей среды интеллигентничанья или же, наоборот, подчеркнутого и претенциозного народничанья, и уже одним этим производил на меня хорошее впечатление. казался человеком, знающим себе цену, уверенным в себе и чуждым стремлению непременно себя выставить и произвести эффект.

„В общих теоретических разговорах, преимущественно на политические темы, он охотно принимал участие и при этом нередко являлся так, что видно было, что эти темы его действительно интересуют и что он о живучих вопросах нашего времени и сам немало думал. Не помню, чтобы он высказывал когда-нибудь особенно оригинальные мнения, но во всяком случае он не пел с чужого голоса; это было ясно по его искреннему тону и по всему строю его речи. Говорил он почти тем же общелитературным языком, как и все мы, по начитанности в истории и в политической экономии едва ли уступал среднему интеллигенту нашей среды, а с литературой рабочего вопроса был знаком по тогдашним источникам лучше многих ссыльных интеллигентов. Однажды, разоткровенничавшись в разговоре со мной, он признался, что живет надеждой вернуться когда-нибудь в Россию и стать опять деятелем рабочего движения (между слов можно было понять: стать вождем рабочего люда), в борьбе как за политическую свободу России, так и за экономические интересы собственно рабочего класса. Эту борьбу он понимал не по-марксистски, а скорее в английском духе, обнаруживая большое внимание к реальным условиям жизни и к достижению ближайших целей.

¹⁾ Так назывался постоянный двор, где останавливались проезжавшие в город из разных улусов политические ссыльные. Э. И.

„Несомненно, что его громкая известность, созданная успехом судебной речи, глубоко на него повлияла, и в нем чувствовалось стремление быть достойным своей репутации, не пасть духовно и сделать себя способным к выступлению впоследствии на более широком и открытом поприще.

„В денежных делах он мне казался человеком очень расчетливым, быть может, даже слегка прижимистым, но никак не скрагой, а именно мужиком, который копейке цену знает. В повседневной жизни это был человек чрезвычайно рассудительный, любивший все делать обдуманно, неторопливо и методично. Оставаясь он в деревне, без всяких воздействий со стороны интеллигенции, — стал бы он первым хозяином в околотке, местным богатеem и волостным старшиной.

„За этими внешними чертами крепкого и хозяйственного мужика, в нем, однако, проступала глубокая и сильная натура, затаянная страстность темперамента и огромный характер. Такой человек несомненно, способен переживать моменты взрыва его стихийной силы наружу, т. е. моменты страстного одушевления, когда его речь может звучать патетически. Поэтому я совершенно убежден в том, что его знаменитая речь принадлежит именно ему, хотя ее отдельные мысли, конечно, могли запасть ему в голову от кого-нибудь из товарищей.

„В общем, по моей оценке, Петруха является одной из наиболее крупных личностей, встреченных мною в ссылке, хотя его сила состояла не столько в умственных качествах, стоявших не выше, но, быть может, и не многим выше среднего уровня, сколько в неслыханной глубине чувства и твердости воли“.

В своих отношениях к людям вообще и товарищам в частности Алексеев отличался большою снисходительностью. В моей памяти не сохранилось ни одного случая, когда бы Алексеев стал кого-либо осуждать, а тем более оговаривать, „перемывать косточки“, как это водилось среди сильных зачастую. Особенно бережного отношения требовал он к своим близким товарищам, как Ковалик и Войнаровский.

Алексеев, несмотря на отсутствие у него чисто научных интересов, с большим участием, однако, относился к моим исследованиям в области изучения якутского языка. Доказательством этого может служить тот факт, что он подарил мне толстую (900 страниц, в четвертку) тетрадь, переплетенную для него Цициановым и предназначенную для задуманного Алексеевым романа, который должен был называться „Оторва“ и носить характер биографии человека, оторванного от жизни и дела. Роман этот написан не был, — но крайней мере, в бумагах Алексеева никаких следов его не оказалось.

Алексеев был человек необычайной силы. Во время его приезда ко мне, когда я жил вместе с якутами, неоднократно приходилось наблюдать, как Алексей вместе с якутами, неоднократно приходилось наблюдать, как якуты пробовали тягаться с Алексеевым на палке. Самые сильные якуты, слывшие бо-батырями, вынуждены были уступать Алексееву во всех приемах, посредством которых испытывается мужская сила. Доказательством его физической силы служило, между прочим, громадное количество копен, которое он успевал паковать за день. Самый лучший якутский косец накашивал едва половину этого количества.

Случилось как-то, что один здоровенный якут, Егор Абрамов, впоследствии один из убийц Алексеева, позволил себе обратиться к нему по какому-то поводу с упреком, что-де „государственные преступ-

ники" так, мол, не должны поступать. Алексеев, находя в словах якута как бы поношение звания государственного преступника, взял его за шиворот и поднял вверх со словами: „Видишь, что я могу с тобой сделать?“ Тот сдвинутым голосом ответил: „вижу“. Тогда Алексеев опустил его на землю. Вряд ли это мог сделать человек, не обладавший богатырской силой!

VII.

Алексеев жил в ссылке одиноким и все делал сам, редко пользуясь услугами якутов или якуток. К приведенному выше описанию юрты, в которой жил Алексеев, остается прибавить, что в ней был пол из лиственничных плах и стеклянные окна из целых стекол, причем на зиму вставлялись еще рамы с двойными стеклами. Тут же неподалеку стоял амбар, запертый на замок с накладной печатью в случае отъезда куда-нибудь. Жительство Алексеева от центрального пункта улуса—селения Чурапча—отстояло в 80 верстах, но, по убеждению якутов, если ехать не по так называемой „вешоной“ (веховой, усаженной вехами) дороге, расстояние это можно сократить до 60 верст. Мне самому приходилось слышать от якутов об этом, и я тоже очень хотел воспользоваться удобным случаем, чтобы узнать этот кратчайший путь.

В один из августовских дней 1891 года, когда я был у себя на допосе, при чем вместе со мною косил нанятый поделно татарин, а скошенное ранее сено сгребала нанятая якутка, ко мне на покос явился верхом на своей лошади Алексеев. Он уже откосился и приехал узнать, как идет работа у меня, с намерением пригласить меня к себе, чтобы отпраздновать со мною окончание полевых работ, для чего им сохранялась бутылка хорошей водки. Взяв у татарина косу, которая, как вспоминаю, была Алексееву не по росту (татарин был ниже среднего роста), и желая нам показать, как надо косить по-настоящему, по-крестьянски, Алексеев прошел несколько прокосов. Это были, действительно, замечательные взмахи косы, захватывавшие целую копну сена, и я убедился, что в рассказах Алексеева о числе скашиваемых им в день копен нет ничего неправдоподобного.

Во время полуденного отдыха и чаепития Алексеев заметил, как хорошо работать компанией, по-семейному, обмениваться разговорами во время отдыха, затем опять дружно принялся за работу. В словах Алексеева сквозила какая-то тоска, что вот он до сих пор живет бо-былем; носились даже слухи, что он, во время поездок в город и оттуда в село Павловское, увлекался довольно серьезно одною из павловчанок. По окончании чаепития Алексеев стал собираться домой и, прощаясь со мною, дважды повторил каким-то, как мне показалось тогда, назидательным, как бы пророческим тоном: „Работайте, работайте!“ Это было последнее с ним свидание и последние слышанные от него слова.

Рассказывая о самом себе, Алексеев жаловался, что ему чрезвычайно надоело предложением разных услуг его ближайшие соседи Федот Синдоров и Егор Абрамов и что последний окончательно запутался в долгах, так что трудно себе представить, как он из них выкрутится. Назойливое ухаживание за ним до того претило Алексееву, что он рад бы какою-либо ценою отказаться от этих услуг, но у него

не хватало на это духу, как ни противно было пользоваться их предупредительностью.

Откосившись, я вспомнил, конечно, приглашение Алексеева и решил поехать к нему через 3-й Жехсогонский наслег, сделав для этого небольшой круг. Подъезжая к месту жительства Алексеева, я увидал издали всадника, едущего не то ко мне наперерез, не то вперед от меня по тому же направлению, но как бы с желанием далеко опередить меня. Мне это обстоятельство показалось тогда довольно странным: как это якут может вдруг уклониться от свидания с едущим по одной с ним дороге человеком? Я прищипорил своего коня и, когда поровнялся с якутом, то узнал в нем знакомого содержателя местной обывательской станции, ближайшего соседа Алексеева, якута Федота Сидорова, выбранного в родовые старшины. Не помню, задал ли я ему вопрос, почему и куда он так торопится, или нет, но поведение его было положительно необъяснимо. Вопреки якутскому обычаю, он был до крайности холоден со мною и не обнаружил ни малейших признаков обычного якутского гостеприимства.

В своем месте я забыл рассказать, что, когда на одном из своих покосов я метал seno в один из холодных и ветреных сентябрьских дней, ко мне приехал участковый выборный, якут Жулейского наслега, Роман Большаков и, отозвав меня в сторону, просил совета, как ему поступить в виду полученного на имя Алексеева разрешения на поездку в город Якутск для закупки необходимых товаров. Не помню хорошо, что именно я посоветовал сделать: вероятно я нашел какой-нибудь выход, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Дело в том, что Алексева на месте не было: он уехал, неизвестно куда, о чем родовое правление своевременно не донесло, как это оно обязано было сделать, а теперь оно должно было объявить разрешение под личную расписку Алексеева. Кажется, самое разрешение тоже пролежало порядочное время у выборного. Вероятнее всего, я посоветовал ответить на эту бумагу в том смысле, что-де Алексева уехал в город, вероятно, в том расчете, что к его поездке туда со стороны полиции препятствий не встретится. Вспоминается еще, что при самом окончании покоса у меня через окно занимаемого мною помещения случилась мелкая покража, при чем мне удалось напасть на след вора. Я потребовал старосту, который призвал родовых старшин для разбирательства этого дела. Явились и некоторые „старинки“. Когда родовые власти и „старинки“ старались разбить мои подозрения на счет указанного мною субъекта своими неосновательными, по-моему соображениями, я пришел в возбужденное состояние и в виде пробного шара произнес: „Вот уж сколько времени я расспрашиваю об Алексееве, и никто об нем ничего не знает, а имущество осталось,—самое удобное время его раскрасть; самое лучшее было бы и меня уничтожить, а потом и мое имущество разграбить. Не дожидаясь, пока оно попадет в казну“. Ни один якут ни одним словом мне на это не возразил, хотя я, в сущности, говорил нечто несуразное. Это навело меня на тревожные размышления; не кроется ли в моих, повидному, несуразных словах крупинки истины, ибо в противном случае и при других условиях якуты в один голос стали бы повторять: „что ты, что ты, как можно так говорить, Боже избави от такого дела!“ Тут же все сидели как будто воды в рот набрали, и как будто та же смерть пробегала по вратам этого гробового молчания. Крешко врезаюсь эта сцена в мою память. Когда проездом к Але-

Алексееву, я был у Троцанского и рассказывал последнему об этой сцене, но Троцанский успокаивал меня и сделал предположение, что Алексеев мог проехать и не заезжая в Чурапчу, откуда он, Троцанский, сам недавно приехал, или что Алексеев проехал в город напрямик с кем-нибудь; при этом Троцанский почему-то высказал предположение, что Алексеев поехал жениться. Несколько успокоенный я и приехал в Жулейское родовое управление, надеясь, если не застать Алексеева, то хоть получить о нем какие-нибудь сведения. Войдя в родовое управление, я стал обстоятельно расспрашивать у Федота Сидорова о времени и обстоятельствах отъезда Алексеева. Сидоров с некоторой неуверенностью отвечал, что Алексеев по дороге встретил попутчика на Тerasинской станции¹⁾, с которым и поехал в город, минуя Чурапчу, — что это было в середине августа. На мой вопрос, цели ли турпанин выводки, пущенные Алексеевым в озеро с подрезанными крыльями, Сидоров ответил утвердительно. Я просил Сидорова по возвращении Алексеева напомнить ему, что он обещал поделиться со мною частью выводов. Помнится, я старался беседовать с Сидоровым так, чтобы не дать ему повода подумать, что я сколько-нибудь тревожусь за судьбу Алексеева; угрожался ли я чаем, не помню, вероятно — да, только долго я не расслаживал, потому что уже вечерело.

Вернувшись благополучно домой, я решил съездить к Всев. Мих. Понову, жившему от меня в 35 верстах (во 2-ом Игидейском наслеге смежного Байгантайского улуса). Понову я рассказал подробно все описанное выше и свои сомнения, тем более тревожные, что Алексеев не оставил для меня никакой записки с уведомлением, что он уезжает, а насчет о своем приглашении он не мог. Понов разделял все мои сомнения и опасения, что с Алексеевым могла случиться какая-либо беда, и посоветовал мне еще раз съездить в усадьбу Алексеева и хорошенько ее осмотреть.

Под влиянием разговора с Поновым нервы у меня были так напряжены, что я решил ехать к себе ночью же, не оставаясь на ночевку. Хорошо помню, что я ехал теперь не так беззаботно, как это было раньше, проезжая густым лесом. Хотя я всегда был с револьвером (со времени нападения якутов на Цепанского и Рубиника), но мог ли револьвер защитить от нападения? Он только давал некоторую отсаску, но не защиту. Тем не менее я вернулся к себе благополучно, так как знал хорошо дорогу (а ночь была темная-претемная).

Прибыв домой под утро, я дал отдых себе и лошади, а затем в 2 или 3 часа полудни поехал в Жулейский наслег.

Не доезжая до усадьбы Алексеева версты $1\frac{1}{2}$, я в целях рекогносцировки решил заехать в придорожную ярту к знакомым якутам. Здесь встретил хорошо знакомого мне родича Михаила Калмикова из „лучшей“ семьи, человека порядочного, мне несколько обязанного, с которым я был в хороших отношениях. Из непринужденного разговора самым образом с Калмиковым я узнал, что Алексеева все еще нет, что, по слухам, он якобы уехал в город. Я осторожно стал высказывать свои сомнения, что не мог Алексеев уехать в город, не предупредив меня об этой поездке, и что мне не приходилось слышать о том, чтобы Алексеев был на Чурапче у кого-либо из свекрови или сватанцев; я выложил предположение, не случилось ли с Алексеевым на дороге какое-либо несчастие? После этого Калмиков сразу же раз-

¹⁾ Первая станция на пути из Жулейского наслега в Чурапчу.

говорился и категорически склонился к моему подозрению, подкрепляя таковое тем, что и он со своей стороны расспрашивал якутов, между прочим, и на Терасинской станции, не выдал ли кто проезжавшего в город русского на таком-то и таком-то коне, и от всех получал отрицательный ответ. Тогда я сказал: „Во всяком случае я поеду и посмотрю юрту Алексеева“. — „Поеду и я с тобой“, отвечал Калмыков. Этому я был несказанно рад, ибо и сам думал его пригласить с собой, но не решался ввиду позднего времени, а Калмыков, в свою очередь, боялся меня одного отпустить, чтобы и меня, как и Алексева, не отправили туда же, как он мне объяснил впоследствии.

Солнце было уже довольно низко, когда мы подъехали к редовому управлению; без всяких обиняков мы объявили цель своего приезда, т.е. желание осмотреть обстоятельно юрту Алексева, цемпили окна, а также замки у юрты и амбара. Когда мы подходили к юрте через небольшой дворик, то Федот Сидоров как-то порывисто вагнулся, достав из-под бревна топор, которым Алексеев колол дрова, и, показывая его мне, сказал: „А вот его топор“. Мне почему-то не понравилось это деяние Сидорова, и я сухо сказал: „Ну, и положи на место, пусть лежит“. Замки оказались целы, окна — тоже. Через окно мы увидали, что в юрте был беспорядок, т.е. чашки и чайник не были убраны со стола, постель не застлана, одеяло отброшено на правую сторону и на нем лежал помер газеты, показывавший, что Алексеев читал лежа в постели, но был чем-то отвлечен, не успев даже прибрать свою постель. Через другое окно, в другом отделении юрты, заменявшем кабинет, мы заметили на письменном столе очки, без которых Алексеев никуда обыкновенно не уезжал. Что-то заметил и Калмыков, сказав о своем наблюдении вслух. Сидоров несколько нетерпеливо, с едва заметным раздражением ответил: „Все, что было, то и есть“. Калмыков с своей стороны отпарировал: „Ты что же запрещаешь говорить? мы ведь затем и приехали, чтобы посмотреть, что видно через окно“. Не помню других мелких наблюдений, вроде того, что у косяка перегородки висел, кажется, нож с поясом, но и того, что было нами усмотрено, для меня оказалось вполне достаточно, чтобы сказать вслух совершенно утвердительно, что „Алексеев дальше 5-ти верст от своей юрты не уезжал“.

Окончив осмотр юрты, я на клочке бумаги написал записку приблизительно такого содержания: „В случае назначения следствия по поводу безвестной отлучки Алексева с места жительства, прошу следователя вызвать меня через нарочного, чтобы я мог сообщить ему свои соображения“. Записку эту я вложил в дверной пробой, а Сидорову строго наказал, по прибытии заседателя или следователя, тотчас же обратить их внимание на оставленную мною записку. Это было в конце сентября.

Писал ли я заявление в управу и окружающую полицию, теперь уже не помню, но факт тот, что в городе чурапчинские товарищи подняли некоторую тревогу относительно исчезновения Алексева, условившегося ехать в город вместе с ними, и со своей стороны сделали полиции заявление, настаивая на следствии. Полиция не замедлила поручить участковому заседателю Пансию Ксенофоновичу Атласову, немедленно выехать в Бугурусский улус и произвести предварительное следствие. Атласов, один из лучших и добросовестнейших заседателей округа, был в довольно хороших отношениях с политическими ссыльными и боялся производить следствие без представителя

последних, чтобы не быть заподозренным в получении взятки со стороны якутов. Ввиду этого чурапчинские ссыльные командировали вместе с ним одного из товарищей, именно Митрофана Эдуардовича Новицкого, отличавшегося своим хладнокровием, обстоятельностью и практичностью.

Заседатель ехал в штатском платье, и его по пути принимали за „государственного“.

Не доезжая 5-ти верст до Терасинской станции, они заехали к ссыльному поляку Рудницкому и, между прочим, заговорили о слухах, будто неизвестно, куда делся государственный ссыльный Алексеев. Рудницкий тоже принял заседателя за государственного ссыльного и разговорился откровенно. Он сообщил, что не очень давно через Терасинскую станцию проехал якут Жулейского наслег Егор Абрамов и провез с собою не менее ведра водки и другие продукты. Это обстоятельство удивило почти всех, так как всем было известно отсутствие у Абрамова денег. На вопрос о подозрительных лицах в Жулейском наслеге, Рудницкий указал именно на Абрамова.

Сам Атласов, приехав в Жулейский наслег, немедленно вызвал меня с парочным казаком, и я, конечно, тотчас же поехал по его вызову. Только по моем прибытии начал Атласов формальное следствие. Он задал мне вопрос, который задавал, вероятно, и другим товарищам: „Не мог ли Алексеев бежать из Якутской области?“ Я доказывал, что Алексеев не мог бежать без того, чтобы кто-нибудь из товарищей не знал об этом, что товарищи, в таком случае, просто молчали бы об обстоятельствах исчезновения Алексева и во всяком случае не стали бы утверждать категорически. „Нет, он не бежал“. Только окончательно „убедившись внутренне“, по выражению заседателя, что здесь нет факта побега, он решил приступить немедленно к следствию.

Прежде всего решено было осмотреть внутренность юрты и амбара. Кроме признаков, перечисленных выше и указывавших на кратковременную отлучку Алексева, на столе была найдена полученная Алексеевым незадолго до отъезда записка участкового выборного Романа Большакова, сына местного родового старосты, с просьбой ссудить его двумя кирпичами чаю. Начало следствию и было положено этой запиской, как „документом“, наталкивавшим на мысль, что Алексеев мог сам повезти к выборному просимые тем кирпичи чаю. На допросе выборный подтвердил, что он, действительно, просил Алексева ссудить ему 2 кирпича чаю, что он тогда нуждался в чае, хотя сам только-что вернулся из города, о чем нам каким-то образом уже стало известно. В доказательство своей нужды именно в чае выборный указывал на то, что ему пришлось занимать у матери $\frac{1}{4}$ кирпича и даже на заварку чая, и, в доказательство справедливости своих слов, ссылался на свою мать, не рассчитывая, вероятно, что ее станут тревожить из-за такого пустяка. Но тут нужно было хвататься за каждую мелочь, которая могла бы навести на какой-либо след. Старуха была вызвана чрез казака, которому было строго приказано держать язык за зубами и не давать ей возможности переговорить с кем-либо из якутов.

В ожидании приезда старухи решено было допросить старшину Егора Абрамова, на которого я с самого начала указал, как на человека, подозреваемого мною, вспоминая, как жаловался Алексеев на несправедливость его и Федота Сидорова. Егор Абрамов, спрощенный и на-

честве старшины, отозвался совершенным незнанием, куда и как мог уехать Алексеев; при этом Егор Абрамов, зная по-русски, отвечал на все вопросы по-якутски, пока я не предложил заседателю потребовать, чтобы тот говорил по-русски. Абрамов вертел в руках платок и табакерку, поминутно нюхал табак и протирали платком глаза, что дало мне повод заметить: „Ведь ты раньше не нюхал табак, а теперь я тебя вижу нюхающим“. — „Это я от болезни глаз стал нюхать, чтобы прочистить глаза“. — „Все-таки—настаивал я—ты мог бы в присутствии начальника повременить нюхать и тереть глаза“. — Пришлось повторить мое требование. Абрамов стоял как раз против меня, а я полулежал на лавке и в упор смотрел на него. Правый глаз Абрамова стал мигать с замечательной быстротой; Абрамов впирал свой взор в меня, а я тоже пронизывал его своим взглядом. И вот, во время этого совсем непродолжительного обмена взглядами, я вполне ясно для себя прочел в глазах Абрамова, что передо мною стоит и смотрит на меня не кто другой, как убийца моего товарища Алексеева. Об этом своем впечатлении я сообщил заседателю и М. Э. Новицкому, предложив вслед за этим произвести психологической опыт, а именно заставить Абрамова в нашем присутствии прочитать предписание окружной полиции о назначении следствия по поводу исчезновения Алексеева. С их согласия и одобрения я посадил Абрамова за стол слева от себя и дал ему прочесть предписание вслух. Он стал читать довольно неохотно. Я его подбадривал. Он почти на каждом слове запинался, протирали глаза и как-то испуганно оборачивался в мою сторону, прося разобрать то или иное слово. Глаза у него, повицимому, завлакивало туманом. Иногда он так порывисто оборачивался в мою сторону, точно боялся, что я его пну ножом в бок. Наконец, найдя, что для наблюдений было достаточно произведенного опыта с чтением документа, и желая оставить в Абрамове такое впечатление, как если бы в этом предписании сообщались сведения положительного характера, в которые его, Абрамова, посвящать нельзя, я закрыл рукою дальнейший текст, сказав, что дальше ему читать не предполагается. На наблюдателей этот опыт произвел ожидаемое впечатление. Заседатель и мой товарищ увидели, что во время чтения Абрамов вел себя чрезвычайно неестественно, в чрезвычайном смущении и волнении, особенно когда произносил фамилию Алексеева.

Отпустив Абрамова, допросили старосту и других старшин, которые все отозвались полным незнанием, куда мог деваться Алексеев. На поставленный старосте вопрос: может ли он поручиться, что Алексеева не убили в его наслеге, староста ответил, что поручиться не может.

Когда было доложено о приезде жены старосты (она же мать выбранных Романа Большакова) и мы стали ее допрашивать, действительно ли ее сын занимал у нее чай четвертьями кирпичика и даже заварками, она ответила отрицательно, возмущенная таким предположением. „Как это можно допустить, — сказала она, — чтобы мой сын брат у меня чай в долг, когда он может брать его у меня сколько угодно?“ Старуха совершенно не знала о противоположном показании сына. По окончании допроса она была отпущена домой. Об ее ответе было сообщено ее сыну и мужу. Дело получало очень неприятный для них оборот: полное расхождение в показаниях матери и сына.

Через некоторое время староста знаками стал выносить меня из комнаты. Увед, поминутно, в темный угол, пристроившийся к юрте родо-

вого управления, и там со слезами стал жать мою руку, целовать и нюхать меня, прося спасти его сына, который в этом деле не замешан. Он сказал, что в этом деле они подозревают Егора Абрамова, и дрожа всем телом, просил не выдавать его, старосту, ибо самого его убьют. Я поблагодарил старосту за ценное для следствия сообщение и был уверен, что им будет сделано все, чтобы раскрыть преступление. Успокоив по возможности старосту относительно сохранения в тайне его сообщения, я вернулся в родовое управление и сообщил о своем разговоре со старостой заседателю и Новицкому.

Заседателем было замечено, что, в сущности говоря, родовое управление для производства следствия является крайне неудобным местом, так как подслушать здесь было чрезвычайно легко, и потому заседатель наметил для дальнейшего такого рода план: продолжение следствия перенести в инородную управу, а местным властям объявить: 1) что он вынужден прекратить следствие, так как они не дали ему, заседателю, никаких нужных сведений, ничем не помогли ему в этом деле; 2) что он требует от них с завтрашнего же дня, чтобы они начали искать в озерах при помощи невода, а также в сметанных непокое Алексеева стогах сена, не окажется ли там трупа Алексеева; 3) что если Алексеев не будет отыскан живым или мертвым, то он, заседатель, нагонит сюда для розыска казаков, которые повывекают их рыбные озера и разорят целый наслег; 4) что полиция не успокоится до тех пор, пока не будет иметь сведений об этом государственном преступнике; 5) так как ему, заседателю, повидимому, здесь делать нечего, то он возвращается в город, оставляя для наблюдения за принимаемыми властями мерами двух товарищей Алексеева, т. е. Новицкого и меня.

VIII.

Дальнейший план заседателя, как он сообщил нам по секрету, состоял в следующем: он отправится в инородную управу, займется рассмотрением полученных за это время распоряжений из окружной полиции и, пробыв там сутки или двое, даст экстренное предписание о немедленном вызове в управу выборного Романа Большакова и членов Жудейского родового управления, как старых, так и вновь избранных, для нового допроса, ввиду полученных из города сведений, касающихся Алексеева. В то же время приказано будет казаку, чтобы он, под предлогом поездки в смежный Хайхситский наслег, завернул за женой Егора Абрамова и секретно доставил ее в инородную управу. Порешивши на этом, мы расстались с заседателем.

Чуть ли не тотчас после его отъезда староста велел приступить к последней неводьбе, на которой ни я, ни Новицкий не присутствовали, заперев в родовом управлении. Неводьба не дала никаких результатов, хотя и производилась по указанию шаманки, которая не отрицала возможности нахождения трупа, но не могла определенно указать местонахождения, говоря, что труп переходит с одного места на другое. Это обстоятельство комментировалось на разные лады.

На другой день явился вызванный наслегский иискарь Егор Дмитриевич Николаев, бывший воспитанник реального училища, принимавший очень энергичное участие в деле расследования. Нужно было устроить торги на оставшуюся после Алексеева корову. Я выставил свою цену, и, кроме меня, других покупателей не оказалось. На

имея при себе наличных денег в достаточном количестве и желая в то же время, под предлогом нужды в деньгах для уплаты по торговому листу за корову, взыскать с Егора Абрамова должную им мне сумму, я настаивал на немедленной уплате этого долга. Сбегав домой, Абрамов тотчас вернулся, но с пустыми руками. И продолжал настаивать на уплате деньгами, предполагая, что получу бумажку совершенно новенькую, не измятую, какими нам выдавалось ежемесячное пособие, без нарушения порядка №№, обыкновенно пятирублевками. Ввиду моих настояний, Абрамов на виду у всех переговорил о чем-то с Федотом Сидоровым, сидевшим рядом с ним, и тот ответил с недовольным видом: „Ну, и будет дано“. Через несколько секунд Сидоров вышел. Все присутствовавшие переглянулись между собою. Через некоторое время Сидоров явился с пятирублевою бумажкой, которую Абрамов принял от него и затем положил мне на стол, за которым я сидел вместе с писарем. Бумажка оказалась новехонькой, и я попросил писаря записать ее номер на торговом листе, дабы отдельная запись как-нибудь не затерялась. Та же мысль мелькнула и у писаря. Мы оба имели в виду, что может попасться при обыске у кого-либо такая же бумажка в порядке соседних №№, которая послужит сильною уликою против ее владельца.

В тот же, кажется, день, в качестве нового старшины был приведен писарем к присяге Федот Сидоров. Это было сделано тоже без расчета. Имелось в виду, что Сидоров, когда потребует его присутствие в управе, в качестве обыкновенного родовича, может не явиться, но не посмеет отказаться, как старшина.

На другой день было приступлено к разрытию стогов сена на покосе Алексеева. Самое деятельное участие в этой работе проявил Егор Абрамов, старавшийся, видимо, обратить на себя наше внимание. Федот Сидоров ходил в задумчивости, что не ускользнуло от внимания старосты и писаря, которые очень недвусмысленно дали мне понять, что в данном деле и Сидоров замешан не менее Абрамова. Тут же они подозвали его и, под видом дружеского отношения к нему, указали на то, как неосторожно он вел себя в родовом управлении, когда шепотом переговаривается о чем-то с Абрамовым, потом вышел и принес Абрамову деньги. Сидоров как-то испуганно поблагодарил за предупреждение и даже перекрестился, как бы отражая себя от возможной опасности быть так легко замешанным в дело.

Когда настал вечер, староста пригласил меня, Новицкого и писаря к себе на ночевку. Прием был оказан самый лучший со всевозможными якутскими угощениями и неизбежными спиртными напитками. И Новицкий ежеминутно ждал прибытия казака. И вот, в самый разгар ужины, неожиданно для хозяев и писаря, как снег на голову, является казак с предписанием немедленно доставить в управу таких и таких-то должностных лиц для нового допроса. Староста, ничего этого не предвидевший, страшно заволновался и немедленно отдал распоряжение о сборе лошадей со стороны более зажиточных якутов и о скорейшем приготовлении к отправке целого поезда.

Мы выехали в ту же ночь по свежее выпавшему снегу на легких санках-нартах. Почти одновременно с нами, только другой дорогой, отправился в управу казак Асламов с женой Егора Абрамова.

По прибытии в Чурапчу, Егора и его жену поместили в разных домах под строгим наблюдением. Немедленно было приступлено к допросу, который и велся в присутствии заседатели и моем Амгинским

известным писарем Вас. Вас. Киреевским, очень опытным в этом деле человеком.

Как-то скоро выяснилась необходимость, под благовидным предлогом, уединить Федота Сидорова, который и был помещен под надзор дежурного Новичкова в его доме, находившемся в 6. ёлоческом селении близ Чурапчи.

Следствие велось очень энергично и день и ночь; постоянно извещались распоряжения о доставке того или другого свидетеля или свидетельницы по мере дачи показаний Абрамовым и его женой.

Надо сказать, что заседатель был тогда еще довольно молодой человек, вполне приятной наружности, с чистым лицом, небольшой, с одной и усамн, очень к нему шедшими. И вот заседатель, зная эти свои данные, воспользовался ими при допросе одной молоденькой девушки, робевшей перед ним, как чиновником; чтобы придать ей больше смелости, он брал ее за руку, держал некоторое время в своей руке таким способом заставил ее развязать язык и дать важные показания. Потом уже начались более смелые и подробные показания других свидетелей и свидетельниц.

Оказалось, что к Егору Абрамову, как к „городчику“, т. е. только что приехавшему из города, собралось было его ближайшие сородичи, которых он, согласно обычаю, угощал водкой, не забывая, конечно, и самого себя. В опьянении он пел песню-импровизацию, что-де хорошо им жить беззаботно, не неся никакой ответственности, не то, что ему, лицу должностному, отвечающему и за живых, и за мертвых. Вот ему представляется, что едут люди с колокольцами, звенят стрелы, произойдет большой переполох, и в результате будут некоторые пострадавшие и т. д. в этом роде.

Гораздо подробнее и несомненно вернее передано содержание песни в частном письме товарища Алексеева по ссылке от 6 ноября 1891 г., напечатанном в женевском „Социал-Демократе“ (кн. IV, 1892 г., редакция Г. В. Плеханова). Перевод этой песни приложен, как сказано в письме, к делу об убийстве Алексеева.

Жил был в одном утесе русский богатырь, силы необыкновенные. Богатырь (следует поэтическое описание его силы и богатства). Он напился богатыри-якуты, которые его победили и богатство его присвоили. Тешиг он бездыханный в дремучем лесу и никогда больше не встанет. Не увидят его никогда ни конного, ни пешего. Ни один человек не увидит, чтобы из трубы его юрты выходил дым". Потом Егор обращается к сородичам и просит простить богатырей за беспокойство, которому они подвергаются, благодаря исчезновению русского. „Не пройдет и двух недель, — поет он дальше, — как все известность огласится стуком телег с коваными колесами, и поедут в них люди с блестящими пуговицами и станут спрашивать-допрашивать всех, куда делся русский. Но никто ничего не скажет, ибо никто не знает, где он. Знают об этом только два богатыря, а кто они, может быть, впоследствии и узнается, но теперь он не скажет". (Цитировано по выдержке, сообщенной Н. А. Виташевским в мае 1907 г.)

По словам свидетелей, все поняли, что Абрамов в своей импровизации намекал на таинственное исчезновение Петра Алексеева, о чем потом якуты секретно передавали друг другу при встречах (в лесу, например, на дороге и вообще в глухих местах); носились слухи, что собаки таскают откуда-то обглоданные лошадиные кости и т. п. подробности.

Решено было произвести обыски в юртах Абрамова и Федота Сидорова.

При отправке одного нарочного в Жултеский наслег присутствовал Федот Сидоров, пытавшийся поговорить с этим нарочным, но был остановлен старостой этого наслега. Тем не менее, несмотря на запрещение старосты вступать в разговоры с посторонними, Федот Сидоров успел сказать несколько слов, прося передать жене об имевшихся 42 рублях. На заданный мною вопрос, о каких деньгах он говорит, Сидоров, ведший себя с некоторого времени вообще грубо ко мною и другими причастными к следствию лицами, ответить не удостоился. Добиться от него каких-либо определенных показаний было невозможно. Обо всем он отговаривался незнанием.

Для производства обысков был командирован один из выборных (якут другого наслега), я и Новичкин. При обыске у Абрамова мы, главным образом, старались найти на одежде и обуви следы крови и конского жира (предполагалось, что конь Алексеева убит и съеден). Конский жир оказался на кожаных рабочих рукавицах Абрамова, которые мы захватили, как вещественное доказательство. Более ничего подозрительного мы не нашли.

У Сидорова также ничего подозрительного найти не удалось. Жена его на все вопросы отвечала незнанием. На требование наше выдать деньги, какие ей оставил муж, она, не отрицая самого факта, ответила, что деньги она уже израсходовала на покупку коровы и другие расходы. По проверке оказалось, что корова, действительно, была куплена рублей за 20, других же расходов, которые бы подтвердились, она указать не могла. Тогда я счел своевременным сказать ей, что муж ей оставил ровно 42 руб., и она должна указать, куда она их дала, или предъявить нам. При упоминании суммы на лице ее выразилось крайнее удивление; она вынуждена была спастись перед такими имевшимися у нас в руках точными сведениями и вскоре принесла все оставшиеся у нее бумажки, а бумажки были все новенькие, пятирублевые и в порядке номеров. К ним подошла в порядке номеров и та бумажка, которая была получена мною от Абрамова и уплачена по торговому листу.

Где-то нам было поручено произвести еще обыск, но там мы не нашли ничего подозрительного и вскоре вернулись в управу.

Результаты обысков были сообщены заседателю и Киренскому. Последний, кроме жира, при свете лампы нашел на захваченных при обыске рукавицах, шитых жилыми нитками, по продольному шву явные следы крови. При более тщательном осмотре кровь была найдена и на многих других местах рукавиц.

Но помимо теперь разъяснений Абрамова, но факт тот, что Абрамов в своих показаниях крайне путался и сам ясно видел, сколь противоречивы его показания. Не то было с Федотом Сидоровым: тот твердо стоял на своем, что он к данному делу никакого касательства не имеет, и в показаниях своих был крайне сдержан. Решено было поехать к Новичкову и там осмотреть всю одежду и вещи Сидорова. Нам раньше не могло даже прийти в голову осмотреть летний шиник, который был на нем, но когда очередь дошла и до этого шиника, то мы на нем нашли массу кровавых следов. Помнится, Сидоров объявил, что зажимал штаны кровью, когда нес убитых на спине убит.

Допрос производился беспрерывно в течение не менее 2—3 суток, при чем заседатель, Киренский, и я совершенно не могли ни

Абрамов, под тяжестью добытых вполне определенных сведений и своих сбивчивых и окончательно его запутывавших показаний, решил таки сознаться,—не без моего, может быть, влияния. Я советовал ему лучше чистосердечно сознаться, потому что каторги ему все равно не миновать; упорным отрицанием своей вины он только ухудшит свое положение, ибо в качестве свидетеля я обязан буду сообщить то, что слышал от Алексеева относительно распространения им, Абрамовым, фальшивых серебряных рублей. Должен сказать, что некоторые показания давались Абрамовым при условии моего отсутствия (часто я скрывался за перегородкой); когда же Абрамов решил сознаться в совершенном преступлении, то категорически потребовал, чтобы меня при этом не было, и я должен был удалиться.

Прохаживаясь в соседней комнате из угла в угол, я заметил сквозь неплотно притворенную дверь, что Абрамов стоял перед заседателем на коленях. Ясно было, что он делал „чистосердечное признание“. И действительно, через некоторое время заседатель вышел и сообщил мне, что Абрамов признался в убийстве Алексеева, совершенном им совместно с Сидоровым.

Как ни был я подготовлен к такому конечному результату следствия, тем не менее тут я не удержался, чтобы не разрыдаться истерически.

Потребное показание Абрамова было записано, кажется, в мое отсутствие, да мне собственно и незачем было присутствовать. Сущность его показания состояла в следующем:

Сидоров сообщил как-то Абрамову, что ему удалось через окно подсмотреть, как Алексей раскладывал на столе кредитные бумажки, по толщине пачек, на взгляд, около 2—3 тысяч (?) рублей, и стал подбивать Абрамова заманить куда-нибудь Алексеева и убить, после него деньги разделить пополам. Надо думать, что Сидоров подсмотрел, как Алексей запивал деньги в свой суконый азям (кафтан). Обоим заговорщикам было известно, что Алексею очень хотелось узнать кратчайшую дорогу до Чурапчи, и они условились между собою, что рано утром в определенное время Сидоров постучится к Алексею и станет торопить его поскорее одеться, если он желает знать ближайший путь на Чурапчу, так как он, Сидоров, должен сейчас же ехать в том направлении. Абрамов в это время должен будет выйти с правой стороны дороги им на перерез, как бы высматривая удобное для косябы место на находящейся близ дороги елани (поляна в лесу). Елань эта находилась в одной—двух верстах от родового управления и жилища Абрамова. Когда Алексей и Сидоров подъехали к условному месту, тут же показался у опушки леса Абрамов с горбушею (коса) на плече, поздоровался с Алексеевым и, чтобы устранить у последнего всякое опасение, бросил горбушу в остожье; затем подошел к Алексею и Сидорову поговорить, как это водится обыкновенно между якутами. На вопрос Алексева, не думает ли Абрамов косить на этой елани, Абрамов ответил, что хотел бы начать косить, да что-то голова болит. Тогда Алексей будто бы вынул из кармана бутылку водки и предложил выпить ему и Сидорову.

И—рассказывал Абрамов—немного отпивши, опять-таки, чтобы рассеять у Алексева всякое подозрение, ответил, что ~~пачка~~ водка останется для него самого, так как ему все-таки ехать ~~порядочно~~. Сидоров совершенно отказался отводки. Алексей немного отпил и затем бутылку спрятал в карман. После этого Алексей и Сидоров стали соби-

ратся в дальнейшую дорогу. Я подскочил к лошади Алексеева и из уважения взял ее под уздцы, при чем обратил внимание Алексеева, чтобы он подтянул подпруги у своего коня. Когда Алексеев занялся этим делом, Сидоров с силой пырнул Алексеева в правый бок. Алексеев, обернувшись, одной рукой схватил Сидорова за грудь, а другой за правую руку и, обладая громадною силою, повалил того на землю. Я было растерялся; у меня мелькнула мысль сесть на лошадь Алексеева и удрать, но в это время Сидоров властно и настойчиво стал кричать: „Коли, коли!“ Повинуясь этому приказанию, я выхватил свой нож и, всадив Алексееву в самый крестец, стал водить ножом поперек, пока тот не выпустил из своих рук Сидорова. Поднявшись на ноги, Алексеев пошел по дороге, как бы нища чего-то. Меня взяла оторопь при мысли, что Алексеев найдет дружок и, при своей богатирской силе, укокошит кого-либо из нас. Пока я размышлял, не удрать ли мне и в самом деле на алексеевской лошади, Сидоров начал наносить Алексееву, направившемуся в обратную сторону, по дороге домой, удары ножом один за другим, куда попало. Алексеев все более и более замедлял шаг и, истекая кровью, упал. Тогда Сидоров нанес последний смертельный удар в левый бок. После этого мы ножи свои воткнули в землю у основания придорожной листовницы, труп Алексеева связали ремнем, притянули голову к ногам и затем, продев палку, подняли на плечи и унесли в глубь тайги, где опустили труп в глубокую лесную ямину, завалив ее обильным валежником.

IX.

В несколько иной версии сообщены подробности убийства Алексева в упомянутом выше письме товарища по ссылке от 6 ноября 1891 г. ¹⁾ „Федот Сидоров заманил Алексева в лес, по совершенно глухой дороге, якобы самой короткой, ведущей на Чурапчу. В двух верстах они, будто случайно, встретили Егора Абрамова. Появилась водка, которую они стали выпивать, провожая знакомого. Петруша сидел на коне, и, когда надо было прощаться, Федот заметил ему, что у его седла ослабла подпруга. Ничего не подозревая, Петруша сошел с лошади и стал поправлять подпруги, обернувшись спиной к якутам. Этим моментом воспользовался Федот и, что было силы, всадил ему нож в спину. Петруше нельзя было броситься вперед, мешала лошадь, а якут, всадивший нож, не вынул его, а держал в ране; поэтому, чтобы освободиться от ножа, Петру пришлось повернуться и этим нанести себе более глубокую рану. После этого у него достало силы схватить убийцу за шиворот и повалить наземь, при чем якут успел еще раз ударить его ножом в живот. Завязалась борьба. Алексеев, стараясь обезоружить противника, стал звать на помощь другого якута, не подозревая в нем соучастника, но тот вместо помощи схватил его за волосы и пытался пригнуть к земле, а потом, в свою очередь, ударил его ножом. Бросивши их обоих, Петруша побежал. Один из якутов опомнился первый и бросился в погоню, боясь, что Алексеев найдет где-нибудь кол или дубину и с таким оружием отобьется от них. Конечно, догонять долго не пришлось.

¹⁾ „Социал-Демократ“ 1892, кн. IV.

Тяжело раненый, Петруша отбежал всего шагов на 60—70 и то уже под конец шатался, как пьяный. Догнавши, якут повалил его на землю несколькими ударами ножа. Они его страшно изрезали, прежде, чем он умер. Деньги 107 р., найденные в чамарке, которую Петруша сбросил на бегу, были тут же разделены поровну. Труп, связавши контесами ¹⁾, унесли в лес и спрятали в яму, заваливши ее всякой всячиной. Часы бросили в озеро, как вещь, резко бросающуюся в глаза. Коня увели далеко в лес в другую сторону и, продержавши два дня привязанным (чтобы сало не испортилось!), убили; мясо, разделивши, спрятали и съели понемногу.

Спрятали мясо, наверное, в лесу, в подходящих яминах, обыкновенно, даже среди лета, сохраняющих под лесным мохом лед.

Тут уместно будет привести записанный Н. А. Виташевским 16 февраля 1892 г. следующий „Рассказ матери Егора Абрамова о дне убийства“:

„В этот день Е. А. рано возвратился с покоса и был в угнетенном состоянии. На вопрос матери (жена жала хлеб за 10 верст), что с ним, не болен ли он, что так рано пришел, Е. А. ответил, что ему, действительно, нездоровится. Он изловил коня и залег на орон ²⁾, задернувши занавеску. Мать все удивлялась и спрашивала, почему он не заказывает пицци, и чего он хочет—чаю или сливок. Он сказал, что пусть не шумят и дадут ему отдохнуть. Мать тем не менее приготовила ему сливок; он встал, хлебнул ложки две и опять лег. На вопрос матери, пойдет ли он опять на покос, сказал, что сегодня не может работать и что изловил коня, чтобы поехать на охоту. Мать думает, что Е. А. хотел тогда же бежать. Она выдает за достоверное, что между убийцами условлено было, что в случае намека на подозрение, они оба убегут. Но в первую минуту, повидимому, у Е. А. явилось непреодолимое желание скрыться, тем не менее он одумался и опять отпустил коня в поле. Через несколько дней Е. А., напившись пьяным у своего родственника, стал на утро петь песню, в которой говорил, между прочим, что все будут встречать новый год (Покров) у себя в домах и хорошо проведут зиму, но что он будет далеко от дому. Тут, будто, домашние сообразили, почему 16 августа Е. А. был так необычно расстроен. Старуха говорит, что Сидоров часто приходил к Е. А., поил его водкой и уговаривал убить А-ва“.

Важно было прежде всего найти орудия преступления. Таковые были разысканы по указанию Абрамова. Была привезена на Чурапчу для дачи показаний жена Сидорова. Абрамов сразу же признал свой нож, не более четверти длиною, с деревянным черенком.—Другой такой же величины нож был предъявлен Сидорову, который отозвался незнанием, что это за нож, и стоял на своем даже после того, когда жена Сидорова признала нож принадлежащим ему и повела себя после этого явно враждебно по отношению к мужу. Она сообщила нам, что муж заставил ее носить свои летние штаны и, на требование предъявить их, она ответила, что штаны на ней, а у ней как раз в это время менструации; для нас стало понятным, что Сидоров заставил жену носить свои штаны, чтобы скрыть следы крови на них.

Оставалось теперь разыскать труп Алексева и после этого попробовать добиться сознания Сидорова. Для этого заседатель, выбор-

¹⁾ С якутского контос—лошадиный повод; чембур. Э. П.

²⁾ Спальная лавка у стены, заменяющая кровать. Э. П.

ный, казак и я с Новицким отправились в Жулейский наслег в сопровождении обоих убийц. Оставив Сидорова на месте в родовом управлении, со связанными сзади руками и под караулом, мы отправились в сопровождении Абрамова к месту убийства. Место это мне очень памятно; оно представляет небольшую прогалину на пригорке, выходящую на большую елань (полян). Налево от этой прогалины шла почти непроходимая тайга, густо поросшая крупными и мелкими лиственницами, меж которых лежала масса бурелома. Туда-то, в перпендикулярном направлении, и повел нас Абрамов, как-то дико осматриваясь по сторонам, как бы стараясь распознать то место, где они, убийцы, спрятали свою жертву. С замиранием сердца я думал: „а вдруг Абрамову придет в голову сказать, что он не может найти“, но, наконец, он остановился и тихо сказал: „Здесь“. Место было заброшено валежником и хвоей до того, что вряд ли без указания кто-нибудь мог бы догадаться, что здесь скрыт труп. Когда уже отвалили набросанные на труп гнилые и полугнилые бревна, обломки ветвей и мох с хвоей, то самое направление, в каком лежал скрытый труп, можно было узнать лишь тогда, когда кто-то наткнулся руками на торчавшие на поверхности ноги; так как труп успел примерзнуть к земле, то пришлось вырубать при помощи железных ломов. Труп был добыт в виде громадной мерзлой глыбы, которую с большой осторожностью взвалили на сани и отправили в юрту покойного. Обратный путь мне пришлось ехать в одних санях с Абрамовым. Абрамов просил меня посоветовать, как ему добиться облегчения своей участи; я мог лишь ему сказать, что он, ввиду сознания, будет подвергнут меньшему наказанию, чем его товарищ по убийству. По прибытии в родовое управление, власти с заседателем во главе отправились в юрту Алексева, куда труп уже был внесен и положен на стол, и туда был приведен Сидоров. На вопрос заседателя, знает ли он, кто это лежит, он ответил: „Да, знаю“. — „Кто же?“ — „Алексеев“, — ответил Сидоров. — „Где его голова?“ — „Здесь“. — „Где его ноги?“ — „Там“. — „Кто его убил?“ — „Не знаю“. — „Ты не участвовал?“ — „Нет“.

Когда, по окончании этого краткого допроса, стали выходить из юрты, то Сидоров не без подобострастия забежал несколько вперед заседателя и как бы конфиденциально заявил заседателю, что он в этом деле подозревает Абрамова, который давал ему деньги за молчание в случае, если обнаружится что-нибудь грозящее Абрамову. Это был последний ход, последняя соломинка, за которую хватался Сидоров, чтобы спасти свою шкуру.

Труп был оставлен в той же юрте Алексева. Преступники, по соблюдении всех формальностей по составлению акта, были немедленно отправлены под наблюдением казака в г. Якутск и заключены в тюрьму. Между арестантами очень быстро разнеслось сенсационное известие о том, что привезли разысканных убийц „государственного преступника“ Алексева.

Через некоторое время, в ноябре того же года, был командирован на место преступления окружной врач Несмелов для судебно-медицинского вскрытия. Он приехал в сопровождении М. Э. Новицкого. О его прибытии, вероятно, по инициативе последнего, было сообщено и мне. Когда я явился, то врач распорядился об очистке трупа от крепко примерзших комьев земли, загрязнивших самое тело; труп был спущен в находящийся по близости часовни пруд, и подледным передвижением от одной проруби до другой труп отмыли до извест-

ной степени. К вскрытию было приступлено, как только он оттаял в жарко натопленной специально для этого юрте Алексеева. При вскрытии присутствовали Новицкий и я, при чем мне было предложено записывать протокол вскрытия. Труп, совершенно обескровленный, был неузнаваем. По подсчету врача на нем было 22 раны. Самые крупные раны были нанесены с обоих боков и зияли в виде круглых дыр. Рана на крестце была длиною $2\frac{1}{2}$ вершка и шириною $1\frac{1}{2}$ вершка. Врач определил телосложение покойного, как очень крепкое, атлетическое. Дальнейших подробностей вскрытия я не помню. Врач, сделав свое дело, распорядился о погребении.

Мы с Новицким похоронили Алексеева в ограде часовни чуть ли не у самой (левой) ее стены. Для присутствовавших якутов мною было сказано по-якутски надгробное слово.

Х.

Когда таким образом якутские политические ссыльные, похоронив Петра Алексева, оплакивали безвременную гибель одного из своих лучших товарищей, в это самое время департамент полиции считал Алексева все еще в бегах и, предписывая „циркулярно“ и „совершенно секретно“ разным подведомственным властям принять все меры к разысканию и задержанию Алексева, указывал на опасность, которую грозит государственному строю свободное проживание в пределах России такой революционной силы, как Алексеев. Вот подлинные слова циркуляра департамента полиции от 28 ноября 1891 г.:

„Алексеев, происходя из простого звания, обладая природным умом и бесспорным даром слова, представляет собою вполне законченный тип революционера-рабочего, закоренелого и стойкого в своих убеждениях, и едва ли после побега удовольствуется пассивной ролью, а, напротив, воспользуется обаянием своего имени в революционной среде и, несомненно, перейдет к активной деятельности, которая может оказаться, в особенности же в пределах империи, весьма вредною для общественного порядка и безопасности“¹⁾.

Можно себе представить, как облегченно вздохнул департамент полиции и ниже с ним, когда до них дошла, наконец, радостная весть, что столь опасный для „порядка“ человек убит...

Через некоторое время мне удалось приобрести камень, на котором я вырезал дату убийства, имя и отчество покойного, а затем (в 1894 г.) распорядился о постройке над могилой небольшой деревянной ограды с навесом. У меня сохранился подлинник подписки об обязательстве устроить надгробный памятник. Вот буквальный текст этого последнего письменного документа о покойном Алексееве:

„1894 года марта 9 дня, я нижеподписавшийся якуть Жулейскаго наслега, Ватурускаго улуса, Николай Софроновъ, далъ сіе подписку Государственному преступнику Эдуарду Пекарскому, въ томъ, что я обязуюсь на собственномъ своимъ кочтомъ сдѣлать памятника государств. преступника Петра Алексѣева съ лезомъ места три сарая изъ сараемъ²⁾, такъ какъ о покоемъ памятника жены Николая Больша-

¹⁾ „Былое“, 1907, X, стр. 113—114.

²⁾ Т.-е. с железными скрепами в трех местах и с сараем (навесом). Э. И.

кова непримѣнно окончить 19 Юня с. г. за что платы получили отъ Пекарскаго три воевъ саженных и зеленных сѣна, въ противномъ случаѣ подвергаю строгій законной взысканіи. Въ чемъ и подписуюсь Якутъ Николай Софроновъ по безграмотству за его росписался Якутъ Романъ Александровъ. Въ дѣйствительности правильности и законности въ томъ свидѣлствуетъ Марта 9 дня 1894 года Староста П. Большаковъ. Старшины Иванъ Винокуровъ, Трофимъ Васильевъ, Михаилъ Кольмаковъ. Печати ихъ описалъ Якутъ Романъ Александровъ“.

Приезжавшій изъ города по деламъ якутской Сибиряковской экспедиции Н. А. Виташевскій при довольно пасмурной осенней (1894 г.) погоде снялъ съ могилы фотографію, „не вполне, по его мнѣнію, удачную“, она была прислана мнѣ изъ Женевы при письмѣ отъ 18 апреля н. с. 1907 г.

Уцелела ли эта ограда?—Вряд ли...

Дѣтство, проведенное въ бедной крестьянской семьѣ, отрочество и юность въ той же семьѣ въ условияхъ тяжелой крестьянской работы, пребываніе на ткацкой фабрике въ качестве простого рабочаго, сближеніе съ революционерами, пропаганда среди фабричныхъ рабочихъ, арест, тюрьма, суд, „централка“, карийская каторга, поселеніе среди якутовъ, редкіе встречи съ товарищами, занятіе сенокосеніемъ и, наконецъ, смерть въ глухой тайгѣ отъ руки двухъ якутовъ, ближайшихъ соседей,— все это можетъ послужить прекраснымъ матеріаломъ для созданія хватающей за душу драмы, обрисовывающей въ то же время целую полосу въ исторіи нашей общественности...

Э. Н. Пекарскій.

21 октября 1920.

16 апреля 1921.

Флеровский-Берви и чайковцы ¹⁾.

В начале августа 1871 года я приехал из Харькова в Петербург. Пошла новая полоса моей жизни. Много забывается, многое покрывается тусклым налетом, ржавчиной... Но эта полоса моей жизни глубоко врезалась в моей памяти, крепко засела в мозгу, клещами не вытащишь ее оттуда.

Лучшая полоса моей жизни. Я застал в Петербурге конец „нечаевского дела“. Я бывал на суде и зорко следил с живым интересом провинциала за всем. Подсудимые произвели сильное впечатление—не только на меня, но и на прочую студенческую и не-студенческую молодежь. Но и здесь, как и в Харькове, отношения молодежи к Нечаеву и к тому, что мы прозвали „нечаевщиной“, были принципиально отрицательные.

Масса молодежи в целом вовсе не была тогда революционно настроена, а потому призыв к революции, заговор и т. д. пугали ее и далеко отбросили ее от революционного пути на путь мирной работы. Меньшинство же, как, напр., чайковцы (как ниже увидим), с самого начала противостояло агитации Нечаева и его тактике.

Я лично стоял тогда на перепутьи, а пока что знакомился по книжкам с „рабочим вопросом“ на Западе, с его теорией и практикой („доктриной“, как мы тогда выражались, „идеологией“—по современной терминологии). Все это, конечно, меня захватывало, как и всех, изучавших движение рабочих масс на Западе, сплотившихся под знаменем социализма. Но к практической в этом смысле работе я еще и не думал приступать, ибо я не чувствовал себя для этого достаточно подготовленным. И тем более я был решительным противником Нечаева и „нечаевщины“, в особенности: самозванщина, пезунтизм и маккиавеллизм глубоко претили мне вообще, а применение их к товарищам по работе я считал просто преступлением. И это убеждение мое утвердилось еще больше впоследствии, когда я примкнул к революционному движению молодежи последующих годов. Я смотрел на „нечаевское дело“, как на вредную революционную попытку того времени, как на недозволенный революционный опыт, и считал его тяжелым кошмарным эпизодом в истории нашего революционного движения. И по сие время я стою на этом. Большое народное дело, по моему, не может быть осуществлено таким образом. Са-

¹⁾ По личным воспоминаниям, свидетельствам современников, литературным и архивным данным. Этот очерк тесно связан „с напечатанным в 18 ой книги „Вылого“ очерком: Флеровский-Берви и кружок Долгушина“ и должен читаться ранее последнего. О. А.

мозванство исторически изжило себя. Исторически „нечаевское дело“ — наглядный пример для современности отрицательного революционного опыта. В этом смысле оно глубоко поучительно, в этом смысле оно сделало свое дело, сыграло свою роль.

Я всю жизнь остался благодарным товарищу моего детства, С. Шору, за его настойчивый совет поступить в медико-хирургическую академию. (Я было решил раньше поступить в университет на естественный факультет.) Не поступи я в академию, жизнь моя, пожалуй, сложилась бы иначе. Но я отнюдь не сожалею об этом. Разве можно сожалеть о том, что в молодости был молод? Разве можно сожалеть о том, что лучшие годы, годы молодости прошли в хорошем обществе? А общество в академии, действительно, было самое лучшее, отборное. Общество здоровых, сильных, бодрых разночинцев. Здесь разночинским духом пахло, здесь демократизм был не наносный, а подлинный — *ring sang*. Уж одна внешность студента академии, несмотря на то, что полагалась форма, бросалась в глаза. Блуза, косоворотка, высокие сапоги, широкополая шляпа, длинные волосы — такова в общем фигура медика. Нигде, думаю мне, студенты не были так объединены, как в академии. И объединяли их не только специально медицинские интересы, но культурно-просветительно-общественные интересы. Центром, объединявшим студентов, была студенческая библиотека. Кто-то шутя прозвал библиотеку яacobинским клубом. Меткая кличка. Это, действительно, был клуб: библиотека, читальня, место для сходов, куда был свободный доступ и не-студентам. Одним словом, открытая политическая арена. Были в этом клубе и „Гора“, и „Центр“ („Доллина“, „Болото“). Я хорошо помню отдельных представителей каждой фракции. Типичные, красивые фигуры. Но об этом потом. Библиотека помещалась в одном из многих дворов академии. Большая передняя, она же — читальня. Тут же газеты и журналы. Большая, несуразная, довольно грязная зимою, мрачная комната. Это собственно библиотека с ее отделами. Заведывала библиотекой комиссия из выборных членов: по два с каждого курса. Во главе комиссии для сношения с начальством стоял уполномоченный — один из членов комиссии. Библиотечная комиссия выбиралась на год. Комиссия ведала все административно-хозяйственные дела библиотеки, отвечала за сохранность библиотечного имущества, следила за современным пополнением библиотеки новыми книгами. Но для последнего требовалось предварительно заявление 30 человек. Заявление заносилось в журнал, и как только собиралось 30 подписей, комиссия в течение определенного срока обязана была исполнить это требование. Журнал этот, первоначально имевший определенно-специальное назначение, мало-по-малу, совершенно незаметно, превратился в своеобразный критический сборник. Дело в том, что нередко предлагаемая книга вызывала нарекания, осуждения, недовольство. Завязывалась полемика, в общем содержательная, серьезная, а порою и страстная и пристрастная. Писывались *pro* и *contra* целые страницы. Люди писали, как понимали, как бог на душу положил. И в этом-то был весь интерес этих писаний. Читалась эта полемика с величайшим интересом. Ведь в них, в этих импровизациях литературных, непосредственно отражалось умонастроение молодежи. Сколько бодрости, свежести, прямолинейности чулось

в этих суждениях. Право, жаль, если этот журнал затерялся совсем. В мое время не сменяемым представителем комиссии был Василий Семенович Ивановский, или, как любовно прозвали его товарищи, „Василий Великий“. Это—типичная, яркая фигура „Горы“. Крепкая, как кремнь, твердая, как дуб, индивидуальность. По внешности холодный, а ударьте по нем—искры сыплются. По внешности—тонкий, а согните его—не гнется. Трещит, а не гнется, ломается, а не гнется. Чтобы сломать его, нужны мощные порывы ветра, буря и гроза, топор и могучая рука. Цельная натура.

Я прямо любовался им: его огромным ростом, открытым лицом, ясными спокойными глазами. Вот он в блузе, подпоясанный ремешком, в картузе, в высоких смазных сапогах. Зимой поверх этого—педубленный полшубок. Когда, бывало, я говорю с ним,—один только смех,—я задираю голову вверх, а „Василий Великий“ опускает голову долу.

Ну, и человек же! Все товарищи, без исключения, уважали его, уважали за прямоту характера, за твердые убеждения.—„Демократ!“—произносилось по его адресу с неподдельным уважением. И Василий Великий, действительно, возвеличил демократизм, поднял на высоту знамя его и высоко держал его все время. Начальство, профессора тоже платили дань его спокойному характеру и демократическим убеждениям. Он являлся к начальству в кожаных. Ничего! почет и место. Он нередко являлся на экзамен недостаточно подготовленным (многочисленные общественные занятия отклоняли его от систематических занятий). Профессор-экзаменатор берет у него самое существенное, безусловно необходимое,—и отпускает его с миром.

Библиотеку он поставил отлично, обогатил ее многими ценными произведениями специального и общеобразовательного характера. Связи у него были большие среди книгопродавцев и издателей. Открыл при библиотеке секцию „книжного дела“ чайковцев. Он прекрасно знал педагогическое дело,—не только теоретически, но и на практике. Но его главная заслуга,—уже тогда, когда началось хождение в народ,—открытие им при библиотеке специального отдела по продаже народной литературы. Отдел этот был хорошо составлен и находился в руках людей, фанатически преданных делу народного образования. Назову хоть братьев Воскресенских и Козельского.

Можно без преувеличения сказать, что В. С. Ивановский вписал свое имя в историю духовного развития студентов медико-хирургической академии.

Помню первое мое знакомство с „Василием Великим“.

Сижу я как-то в свободное время в библиотеке и читаю газеты. В то время бонапартисты во Франции затевали какую-то пакость. Возмутило это меня. Не удержался и воскликнул: отчего его не задушат? Крик вырвался сам собою.

Я смутился. Поднял глаза: два ясных глаза с улыбкой смотрят на меня. Ивановский. Смутился я пуще того.

— Кого это вы собираетесь душить?

— Ну этого... Наполеона III...

— За что?

— Ну, уж это вы, пожалуй, не хуже моего знаете...

Улыбнулся открытой улыбкой.

— Верно!—рассмеялся.—Но не слишком ли это просто... прямолинейно...

Так познакомились. В другой раз я обратился к Ивановскому за какими-то справками. Сейчас припомнить не могу. Подумал некоторое время, потом сказал: „Знакомы ли вы с Чайковским? Нет? Ну, так вам надо познакомиться, от него и узнаете, что вам нужно. Только торопитесь—он уезжает.“

Дал адрес Чайковского. В тот же вечер пошел, но не застал дома. Ждал и не дождался. А через несколько дней совсем уехал из Петербурга (говорили, будто за границу уехал).

Сошелся я уж несколько ближе с Ивановским, когда вступил в члены правления.

Хорошо сохранилось в моей памяти последнее наше свидание. Я был тогда на выпускном курсе и собирался совсем оставить академию и „пойти в народ“. Ивановский приехал из деревни, где был врачом. Потянуло меня к нему—поговорить с ним, посоветоваться. Это, —думал я,—скажет.

Поразила меня с первого раза скорбная складочка на открытом его лице. Поделился со мною своими деревенскими впечатлениями. Много там работы для врача. Но все усилия разбиваются о бедность, темноту и косность массы.

— Можно ли работать, ради целей пропаганды, в качестве врача?

— Конечно! И для вас, пожалуй, это самое подходящее положение. Фабричным или заводским вы не можете стать... слабенький вы. Ремесла не знаете? надо научиться... Это подходит... попробуйте... Как школа, это полезно... Но для пропаганды—любое положение годится: все зависит от человека...

Распрощались. Больше мне уже не пришлось встретиться с „Василием Великим“. Но слухи о нем доходили до меня. Слышал, что в 1877 году, кажется, бежал из-под ареста в Москве и ушел за границу. Вернулся в Россию в начале 1881 года, снова был арестован, бежал из тюрьмы за границу—в Румынию, где и скончался в 1911 году.

Последний привет я от него получил через сестру его Прасковью Семеновну Волошенко-Ивановскую. Она передала мне, что Василий Семенович ждет меня к себе, когда буду возвращаться в Россию ¹⁾.

Да, замечательный был человек В. С. Ивановский. Один из могикан „активного народничества“. По словам В. Г. Короленко, посвятившего Ивановскому фельетон в „Русских Ведомостях“,—он, Ивановский, „до конца своей жизни остался“ народником „во взглядах и, что еще важнее, в жизни“. В. Г. Короленко в своем фельетоне поставил эпиграфом следующие слова Гофмана:—„Есть люди, подобные монетам, на которых чеканится одно и то же изображение; другие похожи на медали, выбиваемые только для данного случая“. Эти слова Гофмана следовало бы высечь на могильной плите В. С. Ивановского. „Василий Великий“ был именно такой медалью.

Не успел я оглянуться, как первое полугодие, проведенное мною в Академии, промелькнуло, как метеор. Но за это время я вполне освоился с моей *alma mater*, с ее серьезными научными требованиями, перезнакомился с моими товарищами, вошел в курс академических

¹⁾ Это было в 1907 году, в Женеве. А.

интересов и вполне приспособился к шумному кипучему Петербургу. Зима 1872 года. Среди молодежи резко бросается в глаза подъем на строения: образуются ячейки, строятся кружки, все чаще и чаще собираются сходки—то кружковые, то делегатские, то смешанные, смотря по надобности,—по важности накопившихся и требовавших решения вопросов. Нет высшего учебного заведения в Петербурге, в котором студенты не спланивались в кружки и не собирались. В качестве уроженца Екатеринославской губернии, и я, вскоре по прибытии моем в Петербург, вступил в Екатеринославский кружок. Через одного из наших членов кружок наш находился в постоянном сношении с кружком чайковцев и прочими кружками Петербурга. Кружок екатеринославцев ничем особенным не выделялся в практическом отношении. В теоретическом же отношении надо отметить его серьезную, вдумчивую систематическую работу. Членами кружка обязательно составлялись рефераты по вопросам биологии, экономики и социологии. Референты добросовестно относились к своей работе, так как кружок был строг в своих требованиях. Среди наших референтов, помню, особенно выдавался медик IV курса, Исаак Оршанский (впоследствии известный невропатолог и психиатр, профессор Харьковского университета). Его рефераты о дарвинизме и систематическое изложение „Капитала“ Маркса были выслушаны с захватывающим интересом. Особенно реферат о дарвинизме был интересен богатством новых фактов, вносивших иное понимание дарвинизма вообще и ограничивавших силу и значимость выставленных Дарвином основоположений. Изложение „Капитала“ было блестящее, тем более, что референт то-и-дело проводил параллель между экономическим учением Маркса и учением классических и „вульгарных“ политико-экономов.

В дополнении к последнему реферату весьма интересен был реферат В. Анрепа (будущего известного ученого и профессора, общественного и государственного деятеля) о французской „вульгарной“ экономии.

Пишущий эти строки прочитал реферат „О законе народонаселения Мальтуса“ с критикой этого закона Чернышевским и Марксом и соображениями биологического характера по Спенсеру. Все эти рефераты были полезны и вызвали живой обмен мнений. В результате этих и других рефератов получился весьма заметный сдвиг в сторону научного социализма. Практические вопросы сами собою выдвигались, но то были далекие, заглядывающие в будущее вопросы; относительно же современной действительности с ее „проклятыми вопросами“ кружок пока-что признавал настоятельную необходимость разрешения их в рамках исторически данного общественного строя, чтобы этим путем подготовить необходимые фактические предпосылки коренного изменения этого строя, в сторону социализации всех общественно-экономических отношений.

Кружок собирался раз в две недели аккуратно и продержался до того момента, когда вполне уже обозначилось массовое, неудержимое стремление молодежи в парод, когда, само собою, о таком направлении кружковой работы не могло быть уже и речи. Довлест днени злоба его.

В центре всех петербургских кружков стоял „кружок чайковцев“. Он объединял все кружки единым принципом—принципом

обязательной выработки для революционной деятельности сознательной, теоретически подготовленной стойкой личности, с одной стороны, и единым, цементирующим все кружки в одно целое практическим делом — „книжным делом“ — с другой.

В этом сущность его деятельности и заслуга его перед русской революцией, накануне пилигримства молодежи в народ. В этом смысле надо считать кружок чайковцев авангардом революционной молодежи 70-х годов; в этом смысле чайковцы были пионерами этого движения. Это, повторяю, большая их заслуга.

О чайковцах уже так много писали, что я в воспоминаниях о них ограничусь лишь существенным, что лично мне известно, так или иначе, о них и что не сделалось еще достоянием печати. Отмечая главные моменты в работе чайковцев. Прежде всего вопрос: что послужило ближайшим поводом к возникновению кружка чайковцев? Когда он собственно построился? Из каких элементов он первоначально состоял? Вот что насчет этого рассказал мне Марк Андреевич Натансон.

В 1869 году он состоял студентом медико-хирургической академии. Несмотря, скажу я, на его юность (ему было тогда не больше 19 лет), он уже успел выдвинуться среди своих товарищей как энергичный, с большой инициативой и несомненно организаторскими дарованиями, человек. Ему студенты-медики обязаны устройством своей библиотеки, которая была отделена совершенно от обще-академической, как самостоятельное, автономное учреждение.

Натансон сумел скоро поставить библиотеку на должную высоту, построил ее на строго демократических началах, обогатил ее книгохранилище ценными произведениями и в таком же виде сдал ее В. С. Ивановскому. Это большая заслуга Натансона перед студентами, и его хорошо помнили еще во время пребывания моего в академии. Кроме того, он участвовал во всех начинаниях медиков. Весною 1869 года вспыхнули в Петербурге студенческие беспорядки в медико-хирургической академии, технологическом институте и университете. Причины волнений чисто-академические. Натансон стоял во главе этих волнений.

В это время неожиданно является Нечаев и бросает в эту взволнованную среду искры революционной агитации: зовет молодежь на улицу, убеждает ее устроить политическую демонстрацию.

Нечаев говорит сильно, убедительно, прибегает к аргументам веским, не стесняется цитировать Канта, вообще импонирует слушателям. Силою и мощью веет от него, но в нем что-то отталкивающее, демагогическое. Натансон энергично выступает против него со всем жаром искреннего глубокого убеждения. На стороне Натансона — большинство академиков, а потом пристают и прочие студенты. Нечаев терпит поражение в высших учебных заведениях и переносит свою агитацию в замкнутые ячейки и кружки молодежи. Здесь он уже выступает без забрала: он зовет подвигать крестьян, которые-де к 1870 году сами уже поднимутся, так как в этом году (1870) кончатся их временно-обязанные отношения к помещикам. У Нечаева много сторонников, бороться с ними становится труднее и труднее.

Противники его прибегают к дипломатическому ходу: они предлагают прежде, чем окончательно решить этот вопрос о восстании, предпринять на каникулах повсеместно в деревнях анкету; чтобы действительно убедиться в том, что народ уже готов, как думает Не-

чаев, к восстанию. Предложение принимается и агитация завершается¹⁾. Нечаев оставляет Петербург, не солоно хлебавши. Натансон, передавая мне все это, сильно волновался, словно он все это снова переживал. В заключении он с горечью добавил: „А знаешь, Осип, ведь Нечаев отместил мне... впутал было меня в свою авантюру заграничную... из-за границы он шлет мне через Александровскую какую-то посылку... Александровскую на границе обыскивают и посылку находят... Меня, конечно, арестуют и держат в крепости... Ну, и я его не пощадил: я показал, что все это он сделал из мести ко мне... за то, что я обвинял его вредную, злостную агитацию“... Вот эта-то агитация Нечаева в Петербурге и дала непосредственный толчок к сплочению его противников в тесный кружок. Кружок этот стал известен под именем кружка чайковцев.

В этот кружок вошли отдельные ячейки и элементы совершенно солидарные в идейном отношении: кружок натансоновцев на Вульфовой улице („Коммуна“), кружок девушек С. Перовской, Ольги Шлейснер, сестер Корниловых и Ободовской, а также отдельных лиц высших учебных заведений Петербурга. Надо было сплотиться. Тень Нечаева носилась еще над молодежью и появление его в плоти могло оказаться роковым. Надо сплотиться и действовать согласно, по определенному плану. Так организовался кружок чайковцев.

Л. Шишко в своей книге „Общественное движение в шестидесятых годов и первой половине семидесятых“ рассказывает о возникновении кружка чайковцев почти буквально то же самое. Да оно и понятно. Л. Шишко вступил в кружок лишь два года спустя, в 1872 г., и товарищи, само собою, познакомили его с историей возникновения кружка.

В центральный (петербургский) кружок вошли: М. Натансон, А. Сердюков, Н. Чайковский, Ольга Шлейснер, С. Перовская, А. и В. Корниловы, Ободовская, Д. Клеменц, Франжоли, Куприянов, Чарушин, Ф. Лермонтов и Александров. Позднее в 1872 г. к ним присоединились: Л. Шишко, С. Синегуб, С. Кравчинский, П. Кропоткин, Д. Рогачев и др.²⁾ Из московских членов кружка в начале было трое: М. Антонова, Клячко и Иванчин-Писарев; потом присоединились: Л. Тихомиров, Н. Морозов, М. Фроленко, Н. Армфельд, Н. А. Саблин, Варвара Батюшкова, Т. Лебедева и др.

К одесским членам кружка принадлежали: Ф. Волховской, С. Чудновский, М. Ланганс, А. Желябов и Вс. Лопатин. К киевским членам кружка принадлежали: Н. Лопатин, Н. Колоткевич и П. Аксельрод.

¹⁾ Л. Э. Шишко. Общественное движение в шестидесятых и первой половине семидесятых годов. Государств. Изд. 1921, стр. 79.

²⁾ Странно, что никто из чайковцев не упоминает имени В. В. Воронцова. Я хорошо помню, что в Академии его считали „чайковцем“ (точнее: „натансоновцем“). Натансон очень дружен был с Воронцовым и когда, после ссылки, попал в Петербург, видался всегда с ним. Когда строилось „Народное Право“ (1892—1893 г.), мы вдвоем навестили В. В. в Москве. Натансон его считал „чайковцем“, — в этом я почти уверен.

В академии он был старше меня на 3 года (курса). В 1873—1874 г. он был уже врачом и в перемешку писал народные книжки беллетристического и научного содержания. Если не ошибаюсь, „Безобразный“ принадлежит перу Воронцова. Из научно-популярных помню одну по этнографии. Его книжечки ходко продавались в отделе библиотеки по народным книгам. В академии к Воронцову студенчество относилось с большим уважением. Вообще он идейно был близок к „революц. движению“ 70-х годов: А.

Можно без преувеличения сказать, что это был—цвет молодежи: ум, талант, доводы высокого умственного развитие в сочетании с несокрушимой энергией и волей, нравственная красота, ригоризм в личных и общественных отношениях—таковы были чайковцы в целом. Перебирая сейчас в моей памяти тех чайковцев, с которыми я впоследствии в разное время познакомился и сошелся, я, сейчас, на склоне моих лет уже, могу сказать: то были люди, и я счастлив, что знал их.

Ближайшим заданием чайковцев была выработка сознательных, стойких элементов среди молодежи для предстоящей революционной деятельности. Они были дальновидны, эти чайковцы. Они требовали от будущих революционеров основательной теоретической подготовки, нравственной чистоты и практической закалки. Надо твердо, отчетливо знать, чего хочешь, куда идешь, чтобы не дрогнуть в серьезную минуту. Настоятельно нужны, поэтому, и предварительная серьезная работа мысли в этом направлении, и практическое начинание, на котором выработались бы навык, выдержка, твердость и гибкость в действиях. Таковы были предпосылки чайковцев, таково их задание. Это—во-первых. А, во-вторых, такая система действий—надежнейшая охрана молодежи от всякой „нечаевщины“ и тому подобных „революционных авантур“. И нужно отдать справедливость—чайковцы вполне справились с своей ближайшей задачей.

Выработан строгий план действий, со строгим распределением функций и обязанностей между членами кружков, поскольку это диктовалось само собою, составом кружка, его численностью и индивидуальными особенностями его членов. Чайковцы впервые сумели на практике согласовать дисциплину в кружке с свободным самоопределением членов кружка; подчинение общим интересам без внешнего принуждения, авторитета, ибо в основе их организации лежал принцип нравственной солидарности, безусловного доверия друг к другу.

В самом деле, разве не из области мифов такой, например, факт? Молодая девушка, 18 лет, проникает в самое логовище чудовищного, можно сказать, апокалиптического зверя—в III отделение, это „высшее в государстве полицейское учреждение“, как оно само важно величает себя. Девушка через одного подкупленного жандарма заводит сношения с сидящими там товарищами, получает и передает им записки и всякие поручения, имеет с ними свидания в камерах и совершенно сказочным образом выводит своих товарищей для свидания с товарищами на воле, получает все следственное их дело из III отделения и т. д., и т. д.,—словом, девушка ни больше, ни меньше хозяйничает в III отделении. Эта девушка—Софья Перовская. Сколько доверия надо было иметь к 18-тилетней девушке, чтобы поручить ей такое рискованное дело¹⁾. Не мудрено, что у чайковцев дело спорилось. „Книжное дело их—этот „гвоздь“ всей их практической работы—в короткое время развернулось по всей России: от Петербурга до Одессы, от Москвы до Вятки. Везде филиальные отделения. Книги продаются по удешевленным ценам; покупаются на-расхват, читаются в засос,—везде организуются библиотеки и склад.

Энергия и уменье, проявленные здесь чайковцами, прямо изумительны.

¹⁾ Л. III и ш. к. Сергей Михайлович Кравчинский и кружок чайковцев, ст. 23—24. См. также Н. Флеровский: Три политические системы. Лондон 1897.

Н. Флеровский, в названной в выноске книжке своей, посвящает несколько восторженных страниц, проливших, чуть ли не преклонением перед беззаветностью, ригоризмом, удивительной ответственностью и стойкостью молодежи. Еще бы! ведь многих из них, как ниже увидим, он лично близко знал и сошелся с ними. Организация „книжного дела“ была проста: книги покупались и брались на комиссию с уступкой у книгопродавцев и издателей. Потом кружок открыл сам издательство и издавал и распространял те произведения, которые он считал наиболее соответствующими своим целям. Среди чайковцев были люди, хорошо владевшие иностранными языками. Этим кружок открыл у себя подсекцию переводчиков. Были, например, переведены Ланге „Рабочий вопрос“, работы Консидерана, Фурье (точно не помню названия), Геккель „Естественная история млекопитающих“. К сожалению книги эти так и не увидели света: были конфискованы и сожжены¹⁾. Какие же книги вообще распространял кружок? Одного беглого взгляда на перечень нижеприводимых книг достаточно, чтобы убедиться в том, какого направления были эти книги и насколько они согласовались с поставленной кружком задачей. Вот этот перечень! Сочинения Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Некрасова, Бокля, Костомарова, Щапова, Сергеевича, Морлоуца, Хлебникова, Берне, Дж. - Ст. Милля, Дарвина, Дрепера, Спенсера, „Исторические письма“ Миртова-Лаврова, „Положение рабочего класса в России“ Н. Флеровского, его же — „Азбука социальных наук“, первый том сочинений Ф. Лассалья, „Капитал“ Маркса, первый том „Истории французской революции“ Луи Блана, „Комедия всемирной истории“ Шерра, романы Шпильгагена и Швейцера („Эмма“ и „Люцинда“), Цшюкке („Делатели золота“), „Отщепенцы“ Соколова, „Пролетариат во Франции“ и „Ассоциации“ Шеллера-Михайлова и др.²⁾

Из непропущенных переводных книг собственного издания, кроме вышеуказанных, следует еще отметить: „Историю 48 года“, Л. Блана, „Историю Коммуны“ Корьеза и Ланжолле.

Habent sua fata libella! (и книги имеют свою судьбу!) — эта латинская поговорка пришла мне на ум, когда я сейчас просматривал список книг, распространяемых кружком чайковцев. В этом списке я, между прочим, нашел две книги, о которых современный читатель, пожалуй, и представления не имеет. Это — „Положение рабочего класса в России“ и „Азбука социальных наук“ Берви-Флеровского. Что это за книги, спросит недоумевающе читатель, и кто такой Флеровский, имя которого помещено в рядах таких писателей и мыслителей, как Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Милль, Спенсер, Лассаль и Маркс etc. etc.? Кто же он такой, этот Флеровский? Постыдно забытый писатель, большой писатель. Забыты и книги его. Забыт до того, что в течение долгого времени нельзя было добиться, расспрашивая компетентных писателей, жив ли Флеровский или он навсегда ушел от нас? Один из наших уважаемых писателей — *nomina odiosa sunt* — смеясь, сказал: — „Должно быть умер, ведь ему под 90 лет!“ „Литературный фонд“, который, казалось бы, должен был знать об этом, тоже отзы-

¹⁾ Сообщение Натансона.

²⁾ Л. Э. Шко, назв. раб., стр. 83, и в брошюре его „Сергей Михайлович Кравчинский“.

вался полным неведением... А умер Флеровский 4 октября 1918 года. Я хочу здесь воскресить в памяти читателя как вышеназванные две книги, так и светлый образ писателя, автора этих книг,—как я запомнил, сохранил в моей памяти из тех далеких, но незабвенных времен, когда эти книги и автор их всецело владели нами, как „учитель жизни“, как один из благороднейших друзей народа, как талантливый писатель и благородный мыслитель,—одним словом, „как друг-писатель“ молодежи. Этого требует, во-первых, наш долг перед Флеровским, этого требует, во-вторых, историческая правда, ибо в истории нашего революционного движения „в народ“ Флеровский сыграл выдающуюся роль—и как писатель, и как личность.

Канун революционного паломничества „в народ“ носит на себе яркую печать непосредственного могучего влияния Флеровского—его идей, его обаятельной личности. Но, прежде всего, обратимся к его литературному наследию—к его двум забытым вышеназванным книгам. Расскажу об этом, как современник этих книг, что пережил и перечувствовал, а со мною мои современники, такие же молодые, каким я тогда был.

Начнем с „Положения рабочего класса в России“. Впечатление, произведенное этой книгой на молодое поколение семидесятых годов, было поистине потрясающее. Лучше всего можно выразить это впечатление словами Герцена, высказанными им по поводу известного „Философического письма“ Чаадаева: „Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть о потере... все равно, надобно было проснуться...“.

И проснулись. Завеса упала с глаз. Впервые „великая крестьянская реформа“ выявилась в том виде, в каком она была в действительности. Впервые мы узнали доподлинно, что она действительно дала народу: потрясающая картина народного разорения, обнищания, пауперизма встала перед нами. Это—не западно-европейский пролетариат, „свободный, как птица“: это—нищий, голый, с сумой на плечах, блуждающий по деревням и селам „крещеной Руси“,—нищий и голодный, прикрепленный, как раб к своей галере, цепями бесправия к своей „общине“. Молодежь была потрясена до глубины своей души.

И если можно было без метафор говорить о клятве Аннибала, то у молодежи эта клятва—без слов, без красивых жестов—была выжжена в ее сердце и уме. О, она будет служить народу! она омоет его раны, она залечит его скорби, она выведет его с факелом науки и свободы в руках, на широкий простор культурного существования! Ей самой ничего, ничего не нужно, ему, ему, народу, все: и величие, и счастье!..

Так подействовала книга на молодежь. Но не только на молодежь она так подействовала, но и на широкие круги интеллигенции. Вся печать заговорила об этой книге. Покойный Н. К. Михайловский посвятил ей первый сочувственную заметку, а затем в „Отечественных Записках“ появилась об этой книге обстоятельная критическая статья. Заговорили даже и об „заключении“ этой книги, в котором брошены Флеровским первые семена его будущей мировой философии. Но и „общество“ отозвалось. Помню хорошо, что зимою 1873 года, среди нас, медиков, циркулировала какая-то программа для собирания сведений в народе,—программа, составленная каким-то земством.

В этой программе, между прочим, указывается на то, что за образец экономического исследования народа следует принимать работу Флеровского, при чем особенно подчеркивалась, — я отчетливо это помню, — художественная форма изложения, как особенно желательная, ибо правдивыми красочными картинками, как у Флеровского, реальное положение народа, выраженное цифровым языком, перевоплощается в чувственно-конкретные, глубоко запечатлевающиеся в душу впечатления.

Припоминая сейчас мои переживания, во время появления „Положения рабочего класса“, я не могу не поддаться искушению сравнить впечатление, произведенное „Положением рабочего класса“, с впечатлением, полученным нами тогда от маленькой книжки Миртова-Лаврова — „Исторические письма“. Обе книги читались одновременно, обе действовали на нас неотразимо. Параллель почти насильно навязывается. „Исторические письма“ — наш „символ веры“, указующий нам путь к „прогрессу“, будивший нашу „критическую мысль“, формовавший в известной мере наше мировоззрение, утврждавший нашу „личность“, „прогресс творящую личность“. „Положение рабочего класса“ своим ярко-выпуклым, конкретным содержанием, богатством и разнообразием красок, выхваченных из самой гущи народной жизни, кровью сердца автора написанными страницами будило наше чувство, заставляло биться наши сердца, возбуждая в нас беззаветную преданность и любовь к народу. „Письма“ стимулировали наш ум, давали синтез, философию жизни, „Положение рабочего класса“ давало конкретные факты действительности, „кричащие“, зовущие на помощь. Одно дополняло другое, оба одинаково действовали на нас, готовили нас к борьбе за лучшие идеалы жизни; оба, в конечном счете, подготовили нас к предстоящей революционной деятельности, когда наступила пора.

Вторая книга Флеровского — „Азбука социальных наук“ еще крепче связала установленную уже первой книгой внутреннюю связь между молодежью и автором этой книги. Вот как один из семидесятников отзывается об „Азбуке“ и описывает впечатление, произведенное ею на молодежь. „Когда в 1871 г. вышла вторая книга Флеровского „Азбука социальных наук“ т. I-ый, она явилась для интеллигенции России своего рода откровением. Это была целая философия коллективизма, совершенно новая, оригинальная, не имеющая у себя предшественников. Черная доказательств из области истории культуры и этнографии, она противопоставляла, как основной принцип исторической эволюции, дарвиновской борьбе за существование — союз за существование; общежитию, основанному на хищнических началах, она противопоставляла коллективистическое мирно-трудовое начало общежития. Она доказывала, что завоевание, рабство и насилия никогда не способствовали прогрессу человечества и только альтруистические начала спасали мир от разложения и гибели. На многочисленных примерах, взятых из истории и современной этнографии, она показывала, как все, что делалось властвующей личностью над себе подобными, для усиления и расширения своей власти, вело народы к регрессу, а всякая защита общественных начал, все, что вело к торжеству коллективизма, было прогрессивным. Правда, в прямолинейной защите своих положений автор местами доходит до парадоксов, но основная идея книги была настолько глубока, вопросы, выдвигаемые ею, представляли такой животрепещущий интерес, что

„Азбука социальных наук“ вместе с „Историческими письмами“ Миртова-Лаврова и „Примечаниями к политической экономии“ Чернышевского сделалась одною из самых любимых книг учащейся молодежи, всей передовой интеллигенции того времени. С этих книг начинались запятия по общественным вопросам. Вокруг них сосредоточивались наиболее горячие споры „утилитаристов“ и „альтруистов“ семидесятых годов¹⁾.

Подписываюсь без колебаний под этими прекрасными словами семидесятника Н. А. Малиновского. Так именно мы понимали „Азбуку“, приблизительно в таких именно терминах мы выражали нашу оценку этой книги, и была она для нас, действительно, „открытием своего рода“.

Что вызвало ближайшим образом появление „Азбуки“ в свет? какой повод? Ответом на это являются показания М. Натансона, самого авторитетного, непосредственно принимавшего участие и в издании, и в корректуре „Азбуки“, человека.

Но, прежде всего, необходимое отступление.

В то время среди учащейся молодежи, несмотря на доминирующее в ее среде стремление к положительному знанию, к критике, намечалось, — правда, довольно еще смутное, но все же сказавшееся уже течение. Это стремление, можно сказать — потребность в религиозном построении. С разных сторон мне приходилось слышать такого рода суждения: мир утопает во зле и неправде; чтобы спасти его, недостаточна наука, бессильна философия; только религия — религия сердца может дать человечеству счастье, только такая религия может переродить человека, вытравить из него зверя и вдохнуть в него божество — совершенство. Я помню хорошо одно небольшое бывшее у меня собрание товарищей (по субботам у меня обыкновенно собирались 8 — 10 товарищей для чтения и бесед). Мы только что прочли, кажется, в „Отечественных Записках“ статью об американских сектах. Статья, сама собою, вызвала споры. Одни высказались, что сектантство вообще исторический пережиток „религиозного периода человеческого мышления“, а другие, наоборот, видели в нем, в сектантстве, симптом нарождающегося умонастроения, идущего на смену и в отмену современному, слишком положительному, слишком материалистическому миропониманию.

Особенно горячо защищал это последнее положение юноша-грузин, общий наш любимец. Он был филолог и по субботам аккуратно с Васильевского Острова приходил ко мне, чтобы побеседовать, душу отвести. Как живой, стоит сейчас передо мною этот чудный юноша.

Среднего роста, стройный, как тополь, продолговатое тонкое лицо оливкового цвета, глаза газели. Что-то девственно-чистое, робкое лежало на его лице, светилось из его больших чудных, чуть затуманенных глаз. Он был очень начитан и талантлив, но робость его не давала ему высказаться, хотя по выражению лица его видно было, как мысли рвутся наружу, как многое он может сказать. За его внешность девичью я прозвал его „Тамарой“ и эта кличка закрепилась

¹⁾ Н. А. Малиновский. Не пора ли вспомнить? — „Русская Мысль“ 1905, апрель, стр. 130.

за ним. В эту субботу „Тамара“ был сильно возбужден. Тема статьи и последующие за нею споры, очевидно, сильно заделли его. Он доказывал, опираясь на сравнительную историю религии, что религиозным учениям человечество обязано тем, что оно вышло из животного состояния, что современное антирелигиозное направление—одно только недоразумение, основанное на смешении религии с ее внешними формами проявления—с догмой, ритуалом, церковью. Религия—это высшая форма эмоционального существования, приводящая к слиянию воедино индивидуального и мирового, единицы и космоса. Мои гости были все медики и—*eo ipso*—яркие материалисты и „безбожники“. Они обрушились на „Тамару“ сарказмами, резкими выражениями, огорчили его, но ничуть не смутили. Я мягко заметил „Тамаре“, что его религия недоступна современным массам, что она слишком бесплотна: масса склонна к перевоплощениям всякой чистой идеи, всякой высокой сложной эмоции, без символа масса не может обойтись—ей пужны идол, жест, ритуал—все равно, а раз это так, то неизбежны обряды, церковь, догмы, со всеми их последствиями: исключительностью, нетерпимостью к инако верующим, гонениями и проч., и проч. И вместо единства, союза будет разъединение, распыление людей, т. е. антитеза тому, чего повелительно требует религия. Когда все разошлись, я долго не мог заснуть. Передо мною, как чудное изваяние, стоял образ юноши-грузина, вопрошающего:

О, разрешите мне жизни загадку,
Вечно тревожный и страшный вопрос!

Как был хорош, духовно красив сегодняшний вечер этот юноша! Милый юноша, он вскоре ушел от нас: заболел скоротечной чахоткой и быстро сгорел! Это было для нас большое горе. Я долго не мог заснуть и все упорно думал о том, почему так живуча идея о религии, почему она так неистребима, несмотря на критику ее современным знанием, несмотря на особо материалистическую основу современного строя, несмотря на особый реализм современного человека. Почему? Разве наука, знание одни не способны дать человеку совершенство? Глаза мои стали смыкаться, мысли расплылись в тумане, еще раз промелькнул чудный образ юноши с грустно-задумчивыми глазами...

И заговорил об этом, чтобы познакомить современного читателя с теми тревогами сердца,—иначе я не могу назвать это настроение молодежи, которые мучили нас. Чайковцы также не были свободны от этого. И когда был уже составлен список книг, имеющих быть распространенными, они были поражены, что в этом списке нет книг об этике.

Как же так? А чайковцы тогда, можно сказать, болели вопросами этики. Я в этом убедился, когда жил с Натансоном в Якутской области. Уже зрелый мужчина, побывавший в боях, он, в наших беседах в тесном кругу (я и супруги Натансоны) нередко возвращался к этой теме. Он мне горячо доказывал, что пока у нас не будет великой книги об этике, мы не будем в состоянии осуществить социалистический строй. Когда я ему указывал на научный социализм, он упорно возражал, что научный социализм—лишь философия социального строя, в котором эксплуатация человека человеком не будет иметь места, в котором не будет деления на классы и т. д.,—словом, философия материального устройства человека, материального его

существования, но не духовного, во всей его полноте, глубине и красоте.

Последнее может дать только этика, как венец философии, высшее ее завершение. Пока творческие силы человека еще недостаточны, чтобы дать такое построение, а пока этого нет, мы будем долго, если не брести в потьмах, то двигаться извилинами и тропинками ¹⁾.

Если еще в ссылке десять лет слишком спустя Натансон все продолжал тревожно думать об этике, то можно себе представить, что было в начале 70-х годов, в пору самого неудержимого натиска и порыва! И действительно, кружок решил, что такая книга—книга об этике—должна быть написана. Кто же может написать такую книгу? К кому из наших писателей можно за этим обратиться? Остановились на Флеровском. Он тогда уже близко стоял к кружку. Жигя в Любани, он частенько ездил в Петербург, чтобы повидаться с Натансоном и другими чайковцами. Мысль написать такую книгу пришла по душе Флеровскому. Он уже присмотрелся к молодежи, видел, каким энтузиазмом она захвачена, что она делает, к чему готовится и по какому пути она пойдет. Он, самый старший среди них, самый образованный, самый опытный, горячо им сочувствовал, ибо их стремления были его стремлениями, путь—его путь. Надо им помочь. И вот он пишет „Азбуку“. Это еще не этика—что и говорить,—но это предпосылки к этике, первые камни, из которых должна быть построена „научная этика“, по выражению Флеровского.

Молодежь требует книги о „революционной этике“, но такая книга сейчас невозможна, ибо нет еще ее основания—„научной этики“.

Такова история появления „Азбуки социальных наук“.

„Азбука дорого стоила как ее автору, так и чайковцам. Книга эта навела какой-то мистический страх на всемогущее III отделение и на царя, Александра II. Флеровский попал в опалу, треть долгой своей жизни он permanently остается в ссылке, проводит в тюрьмах и казематах, — главным образом благодаря своей „Азбуке“. При каждом удобном случае, в каждой бумажке III отделения напоминает, что Берви (Флеровский) это именно тот, который написал „Азбуку“.

Чайковцы тоже получили порядочный удар: Натансон вырван из их рядов и сослан на север (в 1871 г.), Чайковского трепали изрядно, несколько месяцев продержали в заключении. Клеменца тоже, а равно и многих-многих прочих; наконец, склад книжный (центральный) потерпел урон: много книг конфисковано.

Отношения некоторых чайковцев к Флеровскому-Берви были трогательны. Перовская глубоко уважала его прежде всего за беззаветную преданность его народу, не надуманную, а непосредственную, вытекавшую из кристаллически чистой души его.

— Он, — говорила мне Перовская, — прирожденный народный пропагандист и агитатор... куда бы он не явился—народ льнет к нему. У него много связей, много преданных в народе... В голове у него копошатся немолчно большие гениальные мысли... по ряду с этим что-то наивное... Он полусерьезно, полупуштя считает себя

¹⁾ Помню, что в 1883 или 84 году печатались в „Вестнике Европы“ статьи Кавелина „Об этике“ (вышли отдельным изданием). Мы втроем с большим интересом читали эти статьи. И наши споры об этике снова возобновились. Натансон настойчиво требовал, чтобы я ответил Кавелину, находя многие мои возражения сепаратными. Я считал себя неподготовленным.

первым революционером в России... Пожалуй, он имеет право на это... Он не засиделся среди интеллигенции и выбрал (отчасти, конечно, невольно) благую часть... народ, народную среду... Он предтеча наш... Он стоит на почве народных идеалов... Боюсь только, что на практике слишком суживает народные требования, пользуясь для пропаганды текущими требованиями... Как бы он не разменялся... но он везде будит... Он прелестен, привлекателен, как личность, ригорист, проповедует добровольную бедность, словно апостол библейский... чудак он, но прелестен“...

Натансон также мне много рассказывал о Флеровском.

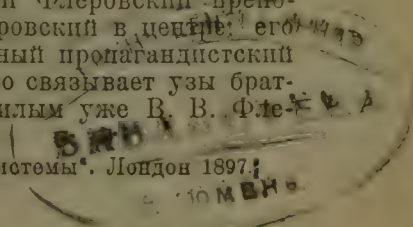
— У него большая голова, он призван совершить в умственной сфере очень большое... но я боюсь, что непрерывная ссылка может съесть его: ему надо жить в центрах умственной жизни, в столицах, а он, несчастный, томится в медвежьих уголках... Он высоко одаренный, редкой трудоспособности, огромной эрудиции, хотя, к сожалению, несколько односторонней... Многих авторов совсем игнорирует, словно их на свете нет... Его отзывы вообще верны, метки, но он склонен к преувеличениям и парадоксам... Он, когда я его оставил, был уж занят построением какой-то грандиозной, мировой философии... Он много мне об этом говорил—любит-таки Вильгельм Вильгельмович поговорить. Все об этике научной мечтает... Он сам верит в какую-то свою миссию... отсюда порою его самоуверенность, пренебрежительное отношение к академической учености... Он раз мне, Осип, самым серьезным образом заявил, что он единственный сейчас революционер в России... чудак Вильгельм Вильгельмович, чудак!..

(Я передаю, конечно, не буквально слова Перовской и Натансона, а лишь смысл их. За подлинность ручаюсь.)

Флеровский платил чайковцам тою же монетой. Выше я уже говорил, как восторженно он отнесся к „книжному делу“ кружка.

Некоторые фигуры обрисованы им так ярко, что так и хочется назвать их. От Перовской он просто без ума: в его восторженной характеристике она является какой-то сказочной феей, которая чарами своими производит чудеса... И это он говорит о девушке 18—19 лет.

Повторяю: те страницы „воспоминаний“¹⁾, которые Флеровский посвящает молодежи вообще накануне хождения в народ,—лучшие страницы по их искренности, правдивости и яркости красок. И в этом отношении они, эти страницы, представляют ценный материал для истории революционного движения семидесятых годов.

В 1872 году он переезжает из Любани в Финляндию, на дачу; конечно, тут иной умысел был—быть ближе к Петербургу. Дача его вскоре становится Каноссой, куда то-и-дело со всех сторон к нему идут поклонники. На даче несколько дней подряд живут Ободовская и Чемоданова (Синегуб по мужу), частенько появляется и Перовская—желанная из желанных; навещают его Кравчинский и Клеменц; наконец, появляются Долгушин, Дмоховский и Плотников,—вокруг дачи устроилась „коммуна“ молодежи, которой Флеровский преподает основы правоведения. Одним словом, Флеровский в центре: его обаятельная личность, его простота, его обширный пропагандистский опыт, его симпатии к молодежи,—все это крепко связывает узы братства и товарищества между сравнительно пожилым уже В. В. Фле-


¹⁾ Я разумею его брошюру „Три политические системы“. Лондон 1897;

ровским-Берви, с одной стороны, и совершенно еще зеленой молодежью, с другой.

Я останавливаюсь так долго на Флеровском потому, во-первых, что работа чайковцев и прочей молодежи так тесно переплеталась тогда с личностью Флеровского, что оторвать их друг от друга не представляется возможным. А, во-вторых,—и это особенно важно—я хочу воскресить светлый образ постыдно забытого человека, писателя, мыслителя, вписавшего свое имя в историю русского общественного движения второй половины XIX века.

Я хочу вместе с Н. А. Малиновским воскликнуть во всеуслышание: „Не пора ли вспомнить?“... Ведь у других народов, в других странах В. В. Флеровскому-Берви воздвигнули бы памятник за ум его большой, за высокие мысли его, великие идеалы его, за большие страдания его!.. А у нас современное поколение не знает его! Оно не знает, что всю долгую жизнь свою, гонимый и преследуемый царским правительством, он не переставал звать в народ, что любил он этот народ горячей любовью, что, говоря словами Н. К. Михайловского, у него, Флеровского, „мысли и чувства не глядели врознь“, что он сам, везде и всегда,—где бы то ни было—на воле кратковременной и в многолетней ссылке,—„ходил в народ“, вел среди него пламенную пропаганду, будил его дремлющую мысль, звал к борьбе и жертве, к сознательному строительству новой жизни. Не знает молодое поколение и того, что за великий и благородный мыслитель был Флеровский, неутомимый и беспокойный искатель истины и правды, воплощавший в личной своей жизни светлые идеалы, проповедуемые им: братство, равенство, самоотречение, суровый ригоризм, „добровольную бедность“ и труд,—труд, как основа разумной сознательной жизни, направленный на пользу своего народа, всего человечества—всех „слабых“ и угнетенных, эксплуатируемых и обижаемых.

Двадцать пять слишком лет, в самую пору расцвета творческих сил его, провел Флеровский в перманентной ссылке. Природа отметила его исключительным своим вниманием, вложила в него завидные задатки творчества как идейного, так и практического, но злой рок действительности, русской действительности—царский режим—безжалостно отрезал кудри Самсова и обессилил его... Искверкана и изломана вся жизнь, задавлено могучее творчество.

С воцарением Александра III, „Царя-Миротворца“, Василию Васильевичу был отрезан всякий доступ в литературу, имя его не произносилось, работы его преданы забвению—постыдному забвению...

Жестокое табу, как черная туча, повисло на многие годы на личности и творчестве одного из лучших людей нашей родины... Он забыт...—„В течение всех 16 лет моей литературной деятельности,—жалуется В. В. Флеровский,—я был в самом странном положении, из-за каждой своей книги, из-за каждой статьи я должен был биться, как начинающий писатель; я начал и кончил начинающим. То, что я писал, производило нередко большой шум, но идея всегда, без исключения, оставалась незамеченной. Из-за этого я пил горькую чашу, с отчаянием в душе и без всякой надежды я погружался в мрак забвения“¹⁾. „В мрак забвения!“ И жутко, и холодно становится от этого, читатель!..

О. В. Аптекман.

¹⁾ Флеровский. „Три политические системы“. Лондон 1897 г., стр. 463.

На грани смерти.

Страничка из биографии рабочего-народовольца Петра Антонова.

В 80-ых годах совершенно ясно обозначился перелом в формах борьбы правительства с революционными элементами страны. На арену сыскной деятельности выступили Судейкин, Стрельников, Середа и другие закаленные жандармы, не различавшие никаких путей, не брезгавшие никакими средствами и фанатично исповедывавшие незуитскую истину, гласящую: цель оправдывает средства. Для революционеров пришли времена нравственных мук и пыток. Трудно, бесконечно трудно стало проходить через руки больших и малых Судейкиных и Стрельниковых. Допросы превращались в постоянную пытку. Они сопровождались, смотря по обстоятельствам и в зависимости от характера намеченной жертвы, грубыми издевательствами, угрозами, избиваниями, разными провокационными выходками, а во многих случаях длительными искусно веденными увещаниями опомниться, бросить заблуждения и вернуться на путь честной жизни, что в устах сыщиков значило—чистосердечно рассказать обо всем и обо всех, стать, короче говоря, предателем, а дальше, если желаете, быть свободным и провокатором. Об этой закулисной стороне „предварительных следствий“, составляющей, быть может, самую темную страницу истории охранных отделений, в большинстве случаев умалчивает даже и „совершенно секретные“ дела. Начало этого перелома относится к концу 70-ых годов и совпадает со вступлением „Народной Воли“ на путь террора. Во всяком случае, при допросах Гр. Гольденберга, зимою 1879—1880 г.г. новая атмосфера уже налицо: ее создали такие герои, как прокурор Добрижинский и жандарм Оноприенко. В годы же 1882—1885 новые способы допросов достигли своего апогея.

Чтобы резче оттенить положение плененных революционеров того времени и ярче осветить закулисные темные действия тогдашней жандармерии, приведем несколько „свидетельских“ показаний современников и очевидцев, не нуждающихся в комментариях.

После смерти генер. Стрельникова, убитого по постановлению исп. ком. „Народной Воли“ Халтурным, небезызвестный Новицкий, начальник Киевского губернского жандармского управления, в откровенном письме писал 20 марта 1882 г. директору департ. госуд. полиции: „допускаемые при дознании, при допросах, дабы подвинуть к откровенному показанию, обещание помилований, угрозы за недачу показаний, доходившие иногда до ругательств, подвигали некоторых привлеченных к даче откровенных показаний... Арестанту Геккеру на допросе генерал Стрельников сказал, за неоткровенность в его показаниях он уничтожит не только его, Геккера, но и его семейство...

Находящийся в распоряжении генерала Стрельникова товарищ его, Лелеко, говорил помощнику моему и мне лично, что генерал Стрельников с пеною у рта производит допросы в резкой и обидчивой форме обвиняемым. Я позволяю себе откровенно доложить вашему превосходительству, — заканчивал свое письмо Новицкий, — что, по моему мнению, дознание, веденное лично генералом Стрельниковым, вызывает скорейшее его окончание и окончание в административном порядке, ибо может случиться, что на суде многие арестанты заявят *такие факты обращения с ними*, которые могут быть невыгодны и не желательны в смысле предания их, хотя некоторой, гласности¹⁾.

Небезынтесна и история откровенных показаний истеричной, по выражению М. Горького²⁾, Неонилы Истоминой. Представляя ее „в высшей степени важное объяснение“ Александру III, Дурново в сопроводительной бумаге всеподданнейше докладывал: „объяснение Истоминой дано ею после продолжительных, весьма искусно веденных увещаний“ со стороны тов. прокурора Янкуло и ротмистра Кузубова. Эти строки вызвали пометку царя: „заслуживают полной похвалы“.

Характерен еще проект воззвания от имени исполнительного комитета партии „Народной Воли“ по поводу предполагавшейся казни прокурора Московской судебной палаты Муравьева. Он был отобран у Г. Лопатина при его аресте в октябре 1884 г. Муравьев „принадлежит — говорится в прокламации — к позорной плеяде тех новейших юристов, которые принесли свой ум, высшее образование и науку о праве на службу невежеству, обскурантизму, произволу, насилию и бесправию. *Искусное вымогательство показаний, холодная жестокость к своим жертвам, доходившие до издевательств над ними*, и наконец, — рассчитанное безжалостное мучительство уже осужденных страдальцев с целью вынуждения у них позорных признаний, резко выделяли его из числа членов даже этой постыдной плеяды“.

Одни на юге, другие в Москве, третьи в Петербурге — везде, во всех углах России делалось одно темное и позорное дело, систематически проводилась одна политика, возведенная в стройную систему.

Истеричную Истому пришлось долго и искусно „обрабатывать“. Но так „обрабатывали“ не только ее, а большинство революционеров. Многие из них оказались бессильными устоять против подобных пыток: выдерживали наиболее крепкие.

Трагические минуты такого обрабатывания пришлось пережить и рабочему-народовольцу Петру Антонову.

Антонов принадлежит к числу виднейших и активнейших работников „Народной Воли“ послемартовского периода. Как революционер, его кратко охарактеризовал на суде Герман Лопатин следующими словами (они судились по одному процессу в 1887 г.): „Я Антонова очень люблю и уважаю; хотя он и простой рабочий, но, для своего звания и ремесла, человек недюжинного развития и образования. Он был искренний и безукоризненный работник революции“³⁾. Начало его революционной деятельности относится к 1882 г., когда он принял участие в работах полтавского народовольческого кружка, во главе которого стоял Яков Бердичевский. Из Полтавы он переехал в Харьков, где, между прочим, познакомился с Вагнером Фигнер. Весною 1883 г.

¹⁾ Дело департамента полиции, 1882 г., III елопроизводство, № 983.

²⁾ Былое, 1921 г., кн. XVI.

³⁾ „Процесс 21-го“, Женева 1887, стр. 14. В брошюре этой напечатан отчет по процессу Лопатина-Антонова и обвинительный акт.

он переселился на ст. Люботин, Харьковско-Николаевской жел. дор. и поступил там рабочим в мастерские. Здесь весьма активной деятельностью в местном народовольческом кружке он навлел на себя подозрение жандармерии. Арестовать его не удалось, так как он вовремя скрылся. В течение последующего периода времени, вплоть до задержания его 1 мая 1885 г., он участвовал в нападениях на почты под Харьковом 17 и 24 октября 1883 г. и под Воронежем 17 ноября 1884 г.¹⁾ 8 января 1884 г. он, по поручению партии, убивает шпиона Шкрябу. Далее он принимает энергичное участие в печатании № 10 „Народной Воли“²⁾.

Вскоре после ареста Антонов был доставлен в Петербург, в Петропавловскую крепость, где одно время содержался в кандалах. К „обработке“ его не замедлили приступить. „Ввиду такого значения Антонова,—читаем мы в всеподданнейшем докладе Оржевского от 7 июня 1885 г.,—в революционной среде, представлялось весьма желательным получить от него откровенное показание обо всем, ему известном, и с этой целью товарищем прокурора Романовым возбужден был несколько дней тому назад, с крайней осторожностью разговор с Антоновым. Последний, на сделанные ему намеки, просил разрешения подумать; затем, ввиду заявления Елько, что при личных разговорах с Антоновым ему, вероятно, удалось бы склонить его к даче откровенного показания, так он имел всегда влияние на него и руководил его действиями, 6-го сего июня в присутствии тов. прокурора Романова состоялось первое свидание Антонова с Елько, результатом коего было разъяснение Антоновым обстановки, при коей происходили нападения на почты“.

Наступили роковые часы. Антонов воочию убедился, что Елько, с которым он вместе недавно еще честно разделял все невзгоды и был искренним революционером, выдал его головой. „Я любил Елько, как родного брата, говорил он на суде, и делил с ним последний кусок хлеба, а потому, конечно, был страшно поражен, когда увидел его душу в настоящем ее свете“³⁾. Помимо этого Антонов ясно понимал, что его осторожно пытаются увлечь на путь предательства. Честная душа не выдержала. Антонов, не предвидя иного исхода, решился на исключительный шаг: покончить счеты с жизнью, чтобы не стать свидетелем собственного падения. На следующее после свидания с Елько утро он покушался на самоубийство. Цитированный доклад Оржевского рисует картину покушения:

„7 сего июня в 11 час. утра, содержащийся в С.-Петербургской крепости, по обвинению в государственных преступлениях, мещанин Петр Антонов покушался на самоубийство посредством разрыва поверхностной вены у кисти левой руки. Покушение это произведено деревянными спичками, заостренными при помощи ногтей и зубов. Разорвать совершенно вену однако не удалось; из сделанного же в ней отверстия вышло около 1½ ф. крови; арестанту тотчас была подана медицинская помощь и поранения, по заключению врача, не представляют опасностей для жизни больного“.

¹⁾ Вопрос о допустимости нападений на почту вызывал в то время споры; Исполнительный комитет высказывался против них, но об этом не было известно Антонову.

²⁾ Подробно о нем см. биографию его, написанную В. Н. Фигнер—„Шлиссельбургские узники“, изд. „Задруги“, 1920 г., стр. 111—128.

³⁾ „Процесс 21-го“, стр. 23

Решившись на такой шаг, Антонов, прежде чем наложить на себя руку, выпарапал на верхней поверхности крашеного деревянного стога своей камеры заявление-исповедь на имя товарища прокурора. Приводим этот замечательный человеческий документ полностью:

„Умирая, хотелось бы кому-нибудь открыть душу, облегчить страдания, мучившие всю мою жизнь с самого раннего детства. У меня была одна потребность — потребность любви, и эта-то потребность не удовлетворялась; в семье даже я был нелюбимым сыном, меня отталкивали. Я всей душой предался Богу и религии, целые ночи я проводил в молитве и изучении святого писания; еще 12-ти лет у меня явилась жажда идти проповедывать людям правду, любовь и братство, хотя бы это было сопряжено со смертью. 16-ти лет мне пришлось горько разочароваться в православии; я видел такие возмутительные и душу потрясающие сцены, проделанные пастырями церкви, которые были моими наставниками, что у меня и теперь духу не хватает вспомнить. Можете судить, что я испытывал, я не видал ни одного человека, кому бы я мог, с кем бы я мог поделиться своим горем. До этого времени я верил в правительство; хотя виденное мною и сильно подрывало доверие к нему, все не согласовалось с христианством; я не мог более выносить своих мучений (да, это была мука) и поведал их одному из любимых учителей своих; от него я узнал все, что мне хотелось знать. С какою любовью принялся за литературу, все что я читал — усваивал; прочитанное передавал другим, рассказывал рабочим-товарищам с такой любовью и верой, что самые грубые пьяницы и воры слушали меня с большим уважением. Но недолго мне пришлось проповедывать о всеобщей любви и нравственности; жалкое экономическое положение и вопросы, задаваемые на этот счет рабочими, заставили меня призадуматься. Ближайшее знакомство с этим вопросом указало мне на другой вопрос, неразрывно с ним связанный, — политический. В это время я уже слышал о нашем революционном деле, и люди, отдавшие себя на дело революции, были для меня святыня, но я еще ни одного человека не знал и вел пропаганду самостоятельно и мирным образом. Так было до Люботина. Здесь, видя положительную невозможность лично пропагандировать, я познакомился с представителями „Народной Воли“ в Харькове и примкнул к „Народной Воле“. Затем люботинская история заставила перейти в нелегальные. Дальше люди, которых сам я знал, скоро заменились новыми, часто приходилось наталкиваться хотя на незначительные неприятности, которые убивали меня. В конце я потерял веру сделаться полезным хоть чем-нибудь для человечества, и, еще накануне ареста, я хотел покончить с собою, но „квартирное“ дело остановило на время. Арест оживил меня, я думал, что, глядя на страдания товарищей, примирюсь с собой, но увы, сегодня, глядя на представителя партии, в сущности за свою шкуру наговаривающего, я выпил яд до дна; больше не под силу.

Предупреждаю, что арестованные по Воропеевскому делу — не те; один из участников за границей, а другого я недавно видел в Харькове¹⁾.

Не удалась попытка самоубийства, но Антонов выправился. Решительный и упорный, он явился на суд бодрым и веселым.

Р. Кантор.

¹⁾ Александр III; прочтя предсмертное заявление Антонова и доклад о попытке самоубийства, выразил надежду, что „может быть теперь и даст открытое показание“.

На заре Российской социал-демократии.

I.

Эпоха „кружковщины“ и „группа Бруснева“.

Лет десять назад, в дни тяжелой политической реакции и упадка рабочего движения, ко мне зашли петербургские рабочие, мои знакомые, с которыми ряд лет я поддерживал дружеские отношения. Разговорившись, невольно вспомнили прошлое, годы юности, когда мы впервые познакомились, участвуя в рабочих кружках конца 80-х и начала 90-х годов. Живо восстановились многие факты, лица, настроения, получившие через призму двадцатилетия новое освещение. В итоге разговора мы решили собраться специально для коллективного воспоминания и записи, пригласив на собрание „патриарха“ петербургского рабочего движения Шелгунова, начавшего уже сильно стареть и слепнуть, но обладавшего прекрасною осведомленностью и памятью.

В назначенный день пришли супруги Карелины, Алексей Егорович и Вера Марковна, Егор Афанасьевич Афанасьев, ныне покойный Василий Иванович Иванов и приведен был под руки начавший уже слепнуть Василий Шелгунов. Совместно установили имена и судьбы ряда рабочих, входивших в кружки и составлявших ядро чисто пролетарской „группы Бруснева“, так названной позднее „рабочедельцем“ Акимовым-Махновцем, в его воспоминаниях об этом времени¹⁾. Припомнили организацию отдельных кружков и „центральной кассы“ и условия, при которых мы собрались на первые два празднования первого мая в 1891 и 1892 годах. Эта беседа и легла в основу нижеизложенного, вскоре переданного мною в редакцию „Былого“. Рукопись затерялась и „воспоминания“ не появились. Недавно П. Е. Щеголев, разбирая бумаги архива „Былого“, нашел эту рукопись и передал ее мне на пересмотр. С добавлением некоторых мелочей и справок, она и публикуется теперь, почти в том виде, как была составлена лет десять тому назад.

Моя юность—восьмидесятые годы—мне всегда вспоминается, как тяжелый и беспросветный кошмар. Я жил в Москве и учился в частной гимназии. Группа учащихся, моих сверстников, находилась в

¹⁾ В. Акимов-Махновец. Очерк развития социал-демократии в России. СПб. 1906.

большом унынии от безысходности своего положения. Жажда „дела“ и прилив сил при полном отсутствии возможности удовлетворять свои запросы была томительна и тяжела. Мы вчитывались в стихотворения Надсона, которым тогда все кругом зачитывались, и они поддерживали в нас настроение отчаяния, тоски и безвыходности. Помню, как с одним из наиболее впечатлительных товарищей, Владимиром Ивановичем Островским, сделалась продолжительная истерика после совместного чтения Надсона и обсуждения нашего положения. Мы, удрученные, сидим молча тесным притихшим кружком, а наш одноклассник рыдает на моей кровати, сжимая кудаки и шепча: „так дольше нельзя, нельзя“...

Особенно было тяжело отсутствие связи с внешкольной жизнью. Мы все жили тесным гимназическим кружком, не имея выхода за его пределы. Между тем „дело“, к которому мы стремились, мы уже отождествляли с общественным протестом, с революционным движением, о котором мы кое-что знали по наслышке, но с которым связать себя не умели. Оставались поэтому только мечтания и поиски книг, приближавших нас к делу. В чтении единственными путеводными вехами являлись так называемые „запрещенные книги“. Их было немного, к тому же они были очень дороги для нашего кошелькового кармана. Студенты были „счастливее“, в их среде все же циркулировали эти редчайшие издания: русские переводы первого тома „Капитала“ Карла Маркса и сочинений Лассалля, Флеровский, „Что делать?“ Чернышевского, „Эмма“ Швейцера, „История одного крестьянина“ Шатриана, „Один в поле не воин“ Шпильгагена. Такие книги иногда можно было достать у букинистов, особенно на Никольской или в „Проломных воротах“, т. е. в том проходе в стене Китай-города с Софийки на Никольскую, где ныне стоит памятник первопечатнику Ивану Федорову и где тогда тесно, как гнезда ласточек, лепились друг к другу лавочки мелких букинистов. Один из них, пожилой и горбатый, действительно знаток книг, слышавший за любителя и сам владелец большой ценной библиотеки, собрал не один десяток рублей с студентов и гимназистов, таинственно искавших „запрещенного“. Экземпляр действительно запрещенной книги или считавшийся таковой оценивался в пределах 15—25 рублей, изредка повышаясь до 30 и даже 40. Такие деньги попадали в юношеские карманы редко, следовательно, и с этой стороны затруднялось общение с желанным кругом идей. Все же, в конце концов, и книги, даже лучшие, не связывали с жизнью действительностью.

Кружок моих школьных товарищей, считавший себя передовым, „мыслящим“, не мирился с таким положением вещей, с „пошлостью жизни“, и энергично искал выхода. Мы много раз обсуждали вопросы: „что же делать?“ и „с чего бы начать?“. Не помогали делу и знакомые студенты, бывшие в большинстве в сходном положении.

Вскоре мы познакомились с учением Л. Н. Толстого, тем добавочным учением, которое в те дни в рукописных и гектографированных списках распространялось по Москве. Любовь и восхищение романами и рассказами великого писателя силою своего имени заставляли обратить внимание и на этот вид его литературы. Поняв пассивный характер толстовства, мы, впрочем, вскоре перестали этим течением интересоваться и даже стали к толстовству оппозиционно: так не правилась нам идея непротивления злу и идеалы покорности смирения, которые за непротивлением злу нами ощущались. Рели-

гиозные вопросы и настроения нам были вообще чужды. Вопрос о Боге считался с переходом в 5-й клас раз навсегда уже „решенным“. Впрочем, отсутствие „настоящей“ „женевской“ нелегальной литературы, о наличии которой среди рабочих мы слышали, все же заставляло нас уделять внимание и толстовской нелегальшине. „Церковь и государство“ Толстого мы размножили на самодельном гектографе с желатиною массою—сейчас же после появления этого памфлета. Другим изделием нашего скромного тайного издательства был небольшой список книг „запрещенных к обращению“, служивший списком рекомендаций.

Оживление в нашу среду внесли три появившихся на нашем горизонте студента, члены университетской организации, кажется, центральной земляческой кассы—Сергей Иванов, Иосиф Александрович Давыдов (Георгий Борисов) и Лев Михайлович Рейнгольд. Один из них прочел в нашем кружке реферат о русских сектантах. Здесь излагались учения и стремления более крайних сект и указывалась сравнительная легкость пропаганды среди них социалистического идеала.

Реферат был прослушан с глубоким вниманием, горячо воспринят и послужил материалом для дальнейшего общения. Мысль была взбудоражена, сердца стремились и учащенно бились. Весною 1889 года в одном из толстых петербургских журналов, кажется, в „Северном Вестнике“, появилась статья журналиста Песковского „Школа, как двигатель народного хозяйства и промышленности“. Написанная бойко и убедительно, она сыграла в нашей среде роль набата. Открывались новые и широкие горизонты. Не прекращая учения,—а мы все только что перешли в старшие классы,—можно было закончить свое образование в неслыханных по активности и повизне условиях, которые рисовал Песковский в том уральском народном университете, которым, по его словам, являлось красноуфимское реальное училище. Эта школа—двигатель „народного хозяйства и промышленности“. Мы все решили ехать работать на фермах и в мастерских этого училища, жить одною жизнью с трудящимся народом, но не опираясь для непротивления, а входя в его среду для активной работы вместе с рабочим народом и среди него. Мы, казалось, приобретали тем самым и навыки, и ремесло, которое нас отделяло от настоящего рабочего люда.

Решено было ехать вместе, артелью, сейчас же после переходных экзаменов. В моем классе, зачитывавшемся статьею Песковского, хотели ехать чуть ли не все, но „более серьезно“ собиралось человек десять. Некоторые, впрочем, все же мечтали о Женеве. Об этом далеком центре эмигрантской жизни мы, как ни странно, знали из одного примечания нашего учебника по истории Иловайского. Мрачный мракобес, говоря о распространении в России социалистического учения, в одной из сносок сообщал о швейцарской эмиграции. Примерный смысл его слов был следующий: жертвами вредного противоправительственного учения становятся неопытные рабочие и юноши, но обольщающие их ядовитые сирены хитро укрываются от взора полицейского надзора. Действительные же виновники и вожаки безнаказанно укрываются в Женеве. Эта сноска, усиленно подчеркнутая и красовавшаяся в разноцветной карандашной раме с массою восклицательных знаков, являлась в наших глазах священным символом наших стремлений.

Но Женева была далеко, а Красноуфимск не порывал ни с родиною, ни с учением и был практически достижим.

Весною, накануне экзаменов, мы прочли в „Русских Ведомостях“, уважавшейся нами газете, о приезде в Москву директора красноуфимского училища Николая Александровича Соковнина.

Свидание с эффектным и красноречивым старцем, встретившим меня внимательно и дружески, в большом номере Большой Московской гостиницы, решил мой отъезд. И его красочное описание школы, и его уверенность, что его ученики—апостолы народного просвещения, и его пишущая машинка, работу на которой я увидел у него впервые, создали то настроение, которое преодолело и робкое недоумение одноклассников, и резко отрицательное отношение педагогов, и горячее сопротивление моей матери, проливавшей горькие слезы по поводу поступка ее единственного сына.

Красноуфимск во многом не обманул моих ожиданий. Для избалованного и изнеженного барчонка из богатого московского особняка было важно учиться в суровой и рабочей атмосфере своеобразного Соковнинского детища, вскоре, впрочем, волею начальства умаленного и сокращенного в своем размахе и необычных заданиях. Летом 1890 года я вернулся в Москву, а с осени переехал в Петербург для работы в Публичной Библиотеке в условиях самостоятельной жизни и самостоятельного заработка, чего требовала выработанная мною к тому времени программа практической жизни и поведения. Это была смесь ригоризма со стоицизмом, смутная ненависть к буржуазной изнеженности и извращенности и стремление к простой и трудовой жизни. Я ходил в поддевке, грубых сапогах и кожаной фуражке, старался спать без матраца на досках, есть только самое простое и необходимое. От денежной помощи матери я решительно отказался и жил на свой скудный заработок. В Петербурге я вскоре разыскал своего нового товарища по красноуфимскому училищу, несколько раньше меня приехавшего в столицу для поступления на завод. Этот товарищ—ныне уже покойный Григорий Никитич Лунегов—работал со мною вместе на ферме и в мастерских училища, но, как менее подготовленный, учился не в реальном училище, а в низшей ремесленной школе при том же училище, очень хорошо поставленной и оборудованной. Лунегов сообщил мне, что нашел в Петербурге „настоящих людей“, знающих „всю правду“, и обещал меня с ними свести. Но подойти „к ним“ и к „их правде“ являлось делом не легким. Необходимо было, по его мнению, предварительно стать самому рабочим и жить с рабочими одною жизнью. Теоретически, такой шаг был уже нам всем хорошо знаком из „опрошенства“ в духе Толстого, которое культивировалось в Красноуфимске, а потому решиться на него не представляло вопроса. Лунегов, сын интеллигентных родителей, забросив аттестат своей школы, поступил слесарем на какой-то механический завод, выдавая себя за простого рабочего. К моему приезду Лунегов уже совсем преобразился. Одетый, как заправский петербургский рабочий, он жил где-то в комнате вместе с двумя молодыми рабочими—товарищами по заводу. Мне тоже пришлось пристанище в его районе, в д. № 7 по Рижскому проспекту, в квартире рабочего Василия Ивановича Иванова, столяра экспедиции заготовления государственных бумаг. Иванов был добрый и вдумчивый человек, сочувствовавший движению, за него одно время „пострадавший“. С ним я многие годы не прекращал дружбы и всегда с удо-

вольствием слушал его ровную и обстоятельную речь, излагавшую нужды и переживания его „экспедиции“, где он работает и по настоящее время. Устроить меня на работу было очень трудно; мастера, как Лунегов, я никакого хорошо не знал, а близорукость, требовавшая ношения очков, а также весь мой общий вид, мой интеллигентский образ мало изменялись и в рабочем костюме. К тому же я не хотел порывать с работою в библиотеке. Перерядив меня „в настоящее“, и Лунегов, и его новые товарищи долго смеялись нелепому виду моей интеллигентской беспомощности. Вопрос о заводе был временно отложен. Через несколько дней я был введен Лунеговым в „кружок“. Как сейчас помню плохо освещаемые улицы и какие-то проходные дворы в Коломенской части, через которые, почти крадучись, я шел вечером с Лунеговым и одним из его сожителей в „кружок“, на квартиру рабочего экспедиции кузнеца Егора Афанасьевича Афанасьева, у которого должны были происходить „заятия“ ¹⁾. В довольно просторной комнате,—Егор в качестве кузнечного подмастерья, хорошо зарабатывал и имел не плохую квартиру,—уже собралось семь человек рабочих разного возраста. Сейчас же после нашего прихода началась лекция. Ее, к моему большому удивлению, читал рабочий Аношкевич, занимавшийся в двух кружках преподаванием химии. Лекция была не первая, темою ее служил кислород. Изложение предмета сопровождалось небольшими химическими опытами, удачно произведенными. Все напряженно и внимательно слушали в течение полутора часов. По окончании лекции, очень удачной и обстоятельной, все были в приподнятом настроении; долго разговаривали. Из беседы выяснилось, что естествознание в кружке несколько хромало, так как руководители спешили перейти к политике. Рабочим же по некоторым предметам хотелось получить дополнительные и более обстоятельные сведения, так как вообще „учиться“ желание было исключительно большое. Рабочие, между прочим, желали получить сведения о строении и древности земного шара, о древности человека. Я, как занимавшийся в Красноуфимском училище геологиею, взялся к следующему разу приготовить небольшую лекцию по этому предмету. Свое обещание я исполнил и затем в течение нескольких месяцев аккуратно излагал все, что мне самому удавалось предварительно приготовить. Руководствами мне служили учебники Мухометова и Иностранцева. Однажды вместо лекции мною была прочитана первая глава поэтически написанной книги московского геолога В. Л. Соколова „Прошлое и настоящее земли“. Она произвела громадное впечатление.

Занятия с кружком геологиею, новые знакомства в кругу рабочих и особенно жизнь на квартире столяра Василия Иванова дали мне возможность сблизиться с рабочими, а затем и приглядеться к целому ряду других рабочих кружков. Вскоре я узнал, что таких же интеллигентов, как я, в кружках вращалось несколько. Некоторых из них я знал только по имени, других по имени, чаще же всего по конспиративной кличке. Я тоже, как и все, получил какое-то имя и отчество, но я его всегда забывал и на него обыкновенно и не отзывался. И Лунегов, и Егор Афанасьевич одно время приучали меня тщетно к какому-то конспиративному наименованию, но из этого ни-

¹⁾ О нем Александров („Былое“, ноябрь, 1906) и В. С. Голубев („Былое“, 1908), и моя заметка в № 16 „Былое“ за 1921 год.

чего не вышло. В кружки, сходные с нашим, входили в общей сложности несколько сот петербургских рабочих, преимущественно крупных фабричных предприятий. Кружки были небольшие, по 7—8 человек; они собирались очень конспиративно. Вообще „конспирация“ процветала. Я помню, что Лунегов, с первых же дней наших совместных странствований по рабочим квартирам, требовал от меня, чтобы каждый раз, когда мы проходили даже мимо городских, мы меняли тему разговора. Иногда же, по данному им знаку, мы и совсем умолкали. Тех же правил придерживались мы и при дворниках под воротами, и в пивных, куда мы иногда заходили, — словом всюду, где были посторонние лица. Точно также и при рабочих из других кружков не было принято говорить о своих делах или на интересующие нас интимные темы. Относительно всех дел, касавшихся непосредственно организации, соблюдалась особенно строжайшая конспирация.

Пропаганда в кружках и вне их по заводам шла успешно, она быстро завоевывала себе новые силы рабочих. Кадры объединяемых кружками возрастали. Во главе их стояла искусно замаскированная центральная организация, о существовании которой многие и не догадывались. Пропаганда касалась рабочих самых различных районов и профессий. В кружках были столяры, кузнецы, печатники, литографы экспедиции изготовления государственных бумаг, слесаря Балтийского завода и некоторых железнодорожных мастерских, ткачи и ткачихи, литографы, наборщики, рабочие большой резиновой мануфактуры, императорской карточной фабрики и пр.

Некоторых рабочих было нетрудно вовлечь в кружки, так как одних уже и раньше коснулась пропаганда народолюбцев, другие были подготовлены. Последние имели за собой иногда довольно продолжительные предварительные занятия в вечерних классах школ Императорского русского технического общества. Вообще эти вечерние классы сыграли значительную роль в развитии петербургских рабочих. Здесь знакомились между собой более способные рабочие, приходившие на занятия со всех концов Петербурга, подготавливая тем самым почву для будущей солидарности; здесь же вырабатывался первый абрис мирозерцания, чему особенно помогали беседы на пройденные темы после уроков. „Перед взрослым человеком, — говорил мне впоследствии один из участников этих занятий, — как бы сразу открывался раньше неизвестный мир, все казалось странным и чудесным, все хотелось знать и понять“.

Первый кружок, составившийся еще за несколько лет до описываемого мною времени, состоял из нескольких тогда еще народолюбцев рабочих. Во главе шли: Федор Афанасьев, Мефодиев, Хлопов, Руделев, — имена, с которыми мы встретимся еще ниже, а за ними и другие рабочие, тоже ученики „технических классов“. Стремясь закрепить эту связь и выйти на свет Божий, чтобы легально сплотить вокруг себя остальную рабочую массу, названный кружок в 1889 году выработал легальный устав особого „общества рабочих“. Устав был отнесен к Г. Н. Небольсину, официально главе технического образования в И. Р. Т. обществе, обещавшему переговоры „в сферах“. Но „лицо“, с которым он беседовал, передало чрез Небольсина, что такой устав ни в коем случае разрешен быть не может и, с своей стороны, рекомендовал организовать... ссудо-сберегательное товарищество. Так ни с чем и ушли от Небольсина пришедшие за ответом рабочие.

Смерть одного из руководителей школ технического общества, талантливого директора их Андреева, горячо любимого рабочими, вновь натолкнула на тот же вопрос о легальной организации. После проводов на кладбище праха Андреева рабочие зашли в „Забайкальский“ трактир и там порешили учредить „Общество взаимопомощи учащихся и учившихся вечерних классов“ — форма организации, в ту эпоху уже входившая в обычай среди более зажиточных слоев общества. Второй проект, к великому огорчению рабочих, постигла участь первого.

Я уже сказал, что некоторые из рабочих, уже в качестве народовольцев, и раньше участвовали в движении. Среди них были знавшие и помнившие Степана Халтурина; некоторые — уже и в то время были социал-демократами, как, например, Мефодиев, Фадимонов, Егор Афанасьев, получившие свое социал-демократическое крещение в 1885—1887 г.г. Некоторые же, — а их было большинство, — вовлекались в движение впервые.

Только что упомянутые социал-демократы работали в 1886, 1887 и 1888 г. г. на франко-русском металлическом заводе в Петербурге. Здесь в зиму 1886—1887 г.г., при содействии нескольких „опростившихся“ интеллигентов, они устроили тайный „союз петербургских рабочих“. „Опростившихся“ интеллигентов, работавших на франко-русском заводе, было двое: сын полковника слесарь Точицкий и сын крупного землевладельца токарь Лазарев. В „союз“ кроме их входили: Данилов, Аркадская и три брата Брейфусы: Андрей, Эдуард и Леонид. Последний играл руководящую роль и был любимцем рабочих¹⁾. „Союз“ собирал денежные взносы. Как вспоминает один из деятелей кассы, одним из кассиров „союза“ был известный рабочий Василий Шелгунов, „патриарх“ петербургского рабочего движения, впоследствии ослепший. Взносы собирались для целей пропаганды, поддержания стачечников и добывания литературы. Таким образом, союз приучил часть рабочих к организации и объединению. Повидимому, союз в 1892—1893 годах распался.

Расскажу далее о всех более выдающихся рабочих, с которыми я был знаком или которых помню или знаю по наслышке от товарищей из группы.

Одним из наиболее деятельных и пользовавшихся особою популярностью был рабочий Гавриил Мефодиев („Ганя“); превосходный человек, недурной оратор, Мефодиев, между прочим, был знаком с талантливым пропагандистом Петровским, студентом-технологом, покончившим самоубийством, хотя вовлечен был Мефодиев в движение до появления Петровского. Позднейшая, после разгрома нашей организации, судьба Мефодиева мне не известна.

Другим выдающимся рабочим, игравшим скорее роль руководителя, был Николай Дементьевич Богданов. Хороший оратор, — что было редкостью в то время, — автор одной из четырех изданных в Женеве первомайских речей, о которых ниже, — Богданов представлял собою прекрасный образец идейного рабочего. Бог-

¹⁾ В 1887 году названные интеллигенты были арестованы, а некоторые из рабочих обысканы. Часть рабочих была вскоре выслежена полицией, одни после неудавшейся демонстрации на кладбище, в день десятилетия смерти Некрасова, другие после собрания у охтенского газетчика Аникина, выдающегося в то время рабочего. Аникин вел социалистическую пропаганду среди солдат расположенного на Пороховом заводе Новочеркасского полка.

данов, кажется, крестьянин из города Невеля, Витебской губернии. Он еще двухлетним был привезен в Петербург, где впоследствии стал работать в качестве слесаря в железнодорожных мастерских Варшавской жел. дороги. Как и другие выдающиеся рабочие того времени, он посещал вечерние классы технического общества, где и началась его сознательная жизнь. Еще большего Богданов достиг путем упорного самообразования. Я долго даже не подозревал, что Богданов рабочий: интеллигентная речь, изящные и тонкие черты лица и общий культурный вид заставляли скорее думать, что это вошедший в рабочую среду интеллигент.

Понятно, что Богданов был душою целого ряда кружков и входил в центральный кружок представителем от одного из районов. Всегда живой, отзывчивый, чуткий, он пользовался заслуженною любовью и популярностью. В 1891 году он был арестован и сидел вместе с другим рабочим Филимоновым около 18 месяцев в тюрьме, после чего был выслан из Петербурга. О Н. Д. Богданове, как выдающемся человеке, вспоминает М. А. Александров в своей статье „Группа народовольцев“ („Былое“, № 11, 1906 г.)¹⁾.

Другим выделявшимся человеком, с которым мне и тогда, да и впоследствии, приходилось не раз сталкиваться, был упомянутый выше Егор Афанасьевич Афанасьев („Климанов“, „Бубнов“). Это тот кузнец экспедиции з. г. б., у которого и происходило первое посещение мною собрания кружка, на котором я присутствовал. Заметка об Е. А. Афанасьеве помещена в № 16 „Былое“ за 1921 год.

Егор был старше меня, он родился в 1866 году и происходил из крестьян Гдовского уезда, Петербургской губернии, но с деревнею связь утратил. По своим замашкам, вкусам и привычкам он был вполне городской человек. Пролетария в нем можно было узнать только по несколько напряженной, слегка торжественной и всегда книжной речи. Любовь к общим вопросам, принципиальным позициям была в то же время чисто интеллигентская. Но он был одним из многих петербургских рабочих, который не противопоставлял „нас, рабочих“ — „вам, интеллигентам“. И ни в одну из пор своей жизни не страдал юдофобством. Егор, как я его помню с 1889 года, всегда был энергичный распорядитель и недурной оратор, всегда толково формулировал задачи и требования рабочего класса. Как и Богданов, он до своей смерти не покинул рабочего дела, за которое подвергался бесконечным гонениям. В экспедиции Егор служил с 1888 по 1892 г.г., когда был арестован; затем арестовывался в 1893 и 1895 г.г.; в 1895 г. был выслан на 5 лет в Вологодскую губернию; жил в Усть-Сысольске, в Великом Устюге и Котласе, а затем в Ревеле. Оттуда он мне в 1901 году писал, что „здесь в Ревеле нет никакой политической организации, говорящей по-русски, и от этого я испытываю самые жестокие муки. Беда не знать чужого языка“. Из Ревеля Егор надолго перекочевал на юг России в Керчь, где принял энергичное участие в одной из местных социал-демократических организаций²⁾.

Следующею очень оригинальною и своеобразною фигурою был

¹⁾ О той поре рабочего движения, о которой идет речь в настоящей статье, см. интересный подбор воспоминаний в книге, изданной Истпартом „От группы Благодети“ и т. д. См. отрыв в „Былом“, № 18.

²⁾ О дальнейшей судьбе Егора Афанасьева см. „Былое“, № 16, за 1921 г.

ткам Воронинской мануфактуры, что на Гугуевском острове, — Федор Афанасьев.

Это был человек редкой душевной красоты и глубокого убеждения. К нему влекло рабочих не только как к вождю, но как к „учителю жизни“. И, действительно, было что-то учительное во всей его фигуре, в прекрасных ясных глазах, в прочувствованной медленной речи. Федор Афанасьев вплоть до своей героической смерти был видным и энергичным деятелем рабочего движения. Это тот самый замечательный рабочий, который впоследствии, в октябре 1905 г., в Иваново-Вознесенске после ряда смелых выступлений был зверски убит местными черносотенцами. В Иваново-Вознесенске Федор Афанасьев единолично и самостоятельно поставил все партийное дело, до него здесь совершенно отсутствовавшее).

Брат Федора Афанасьева, тоже ткач, Егор Афанасьев, вместе с ним входил в кружок, но таким влиянием, как Федор, не пользовался.

Моложе пазванных — Мефодиева, Богданова, Федора Афанасьева и Афанасьева — „Климанова“, был мой сверстник и приятель Алексей Егорович Карелин, тогда молодой литограф. Он любил читать и усердно посещал свой кружок. В 1892 году был выслан в г. Сумы, Харьковской губернии, где проживал до 1897 г. Карелин — организатор с. петербургского профессионального союза литографов, где его наблюдательность, уравновешенность и любовь к рабочему движению сыграли большую роль. Но Карелин принадлежал к числу петербургских рабочих, которые, не удовлетворившись интеллигентием и разочаровавшись во многих ее представителях, косо смотрели на всех нерабочих. Это были первые признаки того движения, которое нашло себе в движении 1905 г. выражение в гапоновщине, а в последнюю революцию в так назыв. „рабочей оппозиции“. Алексей Егорович Карелин был казначеем центральной организации Гапопа. Его отличительною чертою было неуклонное стремление к самообразованию. Я думаю, что он был самый неизменный посетитель всех научных диспутов и лекций за последние тридцать лет в Петербурге.

С кружком, куда входили Егор „Климанов“ и Карелин, водила компанию молодая и живая ткачиха с Новой Бумагопридильни Вера Марковна. Это была развитая, грамотная, умная и очень самостоятельная девушка, пламенно тяготившая к общественному делу. Она входила энергичным членом и в женский кружок, о котором скажу ниже, и не ленилась заниматься. Вскоре с громадным трудом и лишениями она начала готовиться к экзаменам на акушерские курсы и поселилась с курсистками из интеллигенции (А. Кугушевой и красавицею Любовью Васильевною Миловидовою, впоследствии женою Л. Б. Красина). Помню крохотную комнатку в густонаселенном студенческом общежитии барона Гинзбурга, в „Ротах“, где ютились все три девушки. Какие-то теплые лучи исходили от этого жизнерадостного, но уже вступившего на героический путь борьбы и лишения трио. Они доставали рабочим книги, а Кугушева и Миловидова занимались с кружком работниц. Некоторые из них, Феня, Маша и Наташа — были хорошо грамотными. Они, как бывшие воспитанницы воспитательного дома, были сироты и работали на резиновой мануфактуре.

¹⁾ Краткий некролог Федора Афанасьева напечатан в № 13 газеты „Новая Жизнь“ за 1905 год.

Из них Вера Марковна входит в группу Бруснева. В последней Вера являлась не единственной сознательною женщиною. Анна Гаврилова, по мужу Болдырева, или просто „Анюта“, ткачиха с Новой Бумагопрядильни, выделялась и между мужчинами и энергиею, и ясностью ума. В 1896 году она была арестована и сослана в Усть-Сисольск, куда препровождена из Сум по этапу, хотя материальные условия с ее стороны этого не требовали. Позднее Болдырева активно участвовала в движении 1905 года и привлекалась по делу Петербургского Совета рабочих депутатов, как член совета.

Третья женщина—Наталья Григорьевна, портниха, человек редкой доброты и необычайной энергии, была не только активным членом группы, но одно время представительницею, кажется, Выборгского района. О ней и ее работоспособности и энергии вспоминает в „Былом“ и Александров. В 1894 году „Наташа“ была арестована и сослана в Восточную Сибирь. О дальнейшей ее судьбе мне, к сожалению, ничего неизвестно.

Затем из числа более обращавших на себя внимание вспоминаются еще следующие рабочие:

1) Матвей Флишер, рабочий слесарь, немец, живущий теперь за границей, а тогда рабочий механического завода Яковлева, что на Петербургской стороне.

2) Сергей Маклаков и жена его Марья, оба—с резиновой мануфактуры.

3) Яков Майоров, энергичный ткач с Петербургской стороны, входивший в первые социал-демократические кружки и примыкавший к старшей или первой группе (Федор Афанасьев, Мефодиев и др.).

4) Кучкин, ткач-изобретатель, работавший на фабрике Паля, ставший впоследствии благодаря некоторым своим техническим изобретениям, мастером и совсем отошедший от рабочего движения.

5) Михаил Павлович Князев, с завода Растеряева на Выборгской стороне, энергичный и способный человек, впоследствии гапоновец, а затем совсем ушедший от движения.

6) Егор Тумаков, литейщик с того же завода с Выборгской стороны, бывший народник.

7) Владимир Порошин, хороший оратор, рабочий резиновой мануфактуры.

8) Дорофей Никитин, ткач с Новой бумагопрядильни.

9) Петр Евграфов, слесарь с Нового адмиралтейства.

10) Александр Сергеевич Филимонов, рабочий с императорской карточной фабрики, очень развитой, деятельный и толковый человек. В 1892 году он был арестован вместе с Богдановым.

11) Фомин, слесарь с Вальтийского завода.

12) Василий Иванов, столяр экспедиции, мой тогдашний квартирохозяин, член брусневского кружка. Иванова несколько раз выслали и держали долго в тюрьме. Одно время он жил в ссылке в Твери. Работает и по сие время столяром в экспедиции.

II.

„Центральный кружок“.

Лучшие из кружков входили в центральный кружок. Выборов в него не было, да их и трудно было при тех условиях производить: тогдашняя „централка“ создавалась хотя и снизу, но

очень постоянно и путем отбора. К тому же она состояла почти исключительно из рабочих. Сведений об этой организации я не встретил нигде в литературе, поэтому фактические данные о нем очень существенны. Центральный кружок этот, — назовем его тоже Брусневской группой, — носил, если не ошибаюсь, наименование „групповое собрание представителей заводов“. Центральная организация сложилась в зиму 1889—1890 г. г. и благополучно просуществовала все мое время (1890—1892), т. е. три года. В 1892 году группа подверглась почти полному разгрому, но пути и схема организации сохранились; новая вторая централка просуществовала вплоть до образования петербургского „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“. Но это уже было много позже. Таким образом, у „Союза борьбы“ были „свои предки“, подготавлившие ему почву. В зиму 1890—1891 года центральная организация петербургской социал-демократической группы („Бруснева и товарищей“, как ее позднее называли) состояла примерно из 9 или 10 человек. В мое время в „централку“, кроме восьми рабочих, входили один от интеллигенции — Михаил Иванович Бруснев, заменивший собою „Семена Петровича“, интеллигента, впоследствии оставившего рабочее движение, и „освобожденского“ литератора Василия Семеновича Голубева¹⁾. Группу, таким образом можно было бы с еще большим правом назвать группой Василия Семеновича или „группой Голубева“. В числе рабочих централки были: Николай Богданов, в качестве представителя организации за Невской заставой, Гавриил Мефодиев, от Варшавской железной дороги, Федор Афанасьев — от василеоостровских кружков, Петр Евграфов от Нового адмиралтейства, Фомин — от Балтийского завода, Владимир Поронин — от резиновой мануфактуры, Егор Афанасьев — от экспедиции заготовления государственных бумаг и Франко-русского завода.

Егор Афанасьев до Шелгунова или после его исполнял должность казначея центрального кружка. Касса пополнялась главным образом деньгами из взносов самих рабочих. Взносы собирались в таком размере — с действительных членов по 50 коп. в месяц, с членов-сореферентов по 25 коп. По воспоминаниям Егора Афанасьевича Афанасьева, вся сумма, обернувшаяся в его руках в 1891 году, равнялась 1200 р. Отчет казначея составлял рукописный, так как типографии у организации не было. Александров рассказывает, что около 600 р. из этой кассы были заимствованы интеллигентами на издание протокола парижского социалистического конгресса. Факт возможный, хотя рабочие, которые могли это знать, — его запомнили. Центральный кружок, как я уже сказал, не имел своей тайной типографии, хотя и делались попытки собрать по частям типографские прифы. В редких случаях прибегали к помощи маленькой пишущей машинки фирмы „Лилипут“. На ней в 1891 г. были отпечатаны прокламации, раздававшиеся при стачке в Новом адмиралтействе. Машинка эта была „взята“ при аресте Николая Богданова. Особой своей центральной библиотеки такие не было, да и вообще количество книг наших было не велико. Запасом в десяток — другой рабочие очень гордились. Помню несколько томов журнальных статей, вырезанных из старых номеров „Дела“, „Знания“ и особенно „Отечественных Записок“, „Русского Слова“; среди рабочих обращались также: плохое издание брошюры Дикштейна „Кто чем живет“, „Наши разногласия“ Плеханова, затем

¹⁾ Его воспоминания см. журн. „Былое“, декабрь, 1906.

знаменитый первый том Лассалья в Зайцевском переводе. Обращались также „Политическая экономия“ Милля в переводе с известными примечаниями Чернышевского, Флеровского „Положение рабочего класса в России“, „Пролетариат во Франции“—Михайлова, литографированное изложение Маркса (Габриель де Виль), популярное изложение одной главы из Маркса, сделанное пропагандистом наших кружков Р. Классеном. Перевод этой главы, именно о прибавочной стоимости, был им специально сделан для его слушателей рабочих, которые его сами и литографировали. Правда, по рукам ходили один или два экземпляра первого тома „Капитала“ Маркса, но он был мало доступен для понимания, затем Кенниана „Сибирь и ссылка“ и издание народолюбцев „Царь Голод“; были рукописные и очень популярные лекции, кажется, Н. Рубакина, „О происхождении земли“, пользовавшаяся большим успехом брошюра Симановича „О теории Дарвина“. Из беллетристики романы „Что делать“ Чернышевского, Рубакина „Под гнетом времени“, Шинельгагена „Один в поле не воин“, Джиновиолли „Спартак“ и Швейцера „Эмма“. Добывать книги приходилось с большим трудом, так как о покупке их не могло быть и речи,—так „весь“ Писарев стоил 75 рубл. и т. п... Александров еще вспоминает брошюру Тана „Борьба общественных сил“, но мне встречаться с этой книгой не приходилось. Добыванием книжек были очень озабочены интеллигенты. В их число в наших кружках входили только социал-демократы; единственным исключением являлся один народолюбец „Петр Петрович“, автор воспоминаний об этом времени, помещенных в ноябрьской книжке журнала „Былое“ („Галерка“) ¹⁾. Но и он впоследствии перешел в лагерь социал-демократии. Впрочем, рабочие тогда не делали большой разницы между народолюбцами и социал-демократами, и, насколько помню, и те и другие встречались рабочей средой с одинаковым уважением. Наш руководитель—Михаил Иванович Бруснев, тогда студент технологического института, являлся наиболее деловым руководителем группы.

М. И. Бруснев направлял своих товарищей в том понимании рабочего дела и рабочего движения, которое казалось тогда единственно правильным и возможным. Как М. И. Бруснев, так и остальные наши интеллигенты, уже стояли на строго марксистской точке зрения и были вполне законченными социал-демократами, хотя, быть может, с преобладанием „экономизма“ над „политикой“. На их долю выпала сизифова работа. Им приходилось заниматься, так сказать, с „азов“, в полном духовном мраке и среди одуряющего невежества. Занятие естествознанием, а подчас и грамотой, вызывались не программными соображениями, а прежде всего тою необходимостью, которая создавалась условиями тогдашней рабочей среды. Отсюда понятно, что слагавшийся метод был не метод доктринерства или теоретического изменения, а был вызван и усвоен пропагандистами под влиянием окружающих обстоятельств.

Большинство рабочих,—кроме упомянутых выше наиболее сознательных личностей,—не только не было подготовлено к партийной работе, но, не умея даже читать, просто боялось кружковых рабочих. Возвышаясь в отдельные моменты стихийного подъема против поработителей и эксплуататоров до сознательных и активных требо-

¹⁾ Жена его, Софья Алексеевна (Е. М.), вела занятия в первом женском кружке группы Бруснева.

ваний, рабочие в массе еще мало были способны скристаллизоваться в отдельные организации и продолжать деятельную работу в моменты перемирия между стачками. Надо перенестись в тогдашние условия, и, как сравнительно время ни близко (каких-нибудь тридцать лет), не следует модернизировать петербургскую рабочую массу конца удрученных 80-х годов. Вот почему Брусневской группе, параллельно с занятиями политическими и экономическими вопросами, приходилось внедрять пачатки общего образования и общего воззрения. Некоторых, весьма возможно, на этот путь подталкивало общее увлечение позитивизмом, так как тогда многие были уверены, что истинное понимание социального вопроса может явиться только в результате медленного и продолжительного развития, при постепенном изучении в начале естествознания, а потом уже социологии.

Махновец („Акимов“), автор в высшей степени любопытного и взбаломутившего всю нашу социал-демократию „Очерка развития социал-демократии в России“, описывая первые годы развития партии, не упустил упомянуть и кружки Бруснева. Но в своей характеристике „Группы Бруснева и товарищей“ В. П. Махновец делает, на мой взгляд, большую ошибку. Он считает ее „культурнической“ и неразумевавшей еще окончательно с народофильством¹⁾.

Весьма возможно, что до существования группы Бруснева в Петербурге существовали отдельные (напр. „благоевская группа“) кружки и лица, мировоззрение которых еще не определилось, в представлении которых принципы народофильства и социал-демократизма переплетались без достаточного обоснования. Но уже в этот период, и, поскольку помню,—это касается всех видных членов Брусневской группы, социал-демократизм уже был руководящим учением. Среди нас были и выдающиеся знатоки Маркса, как, например, братья Красицы, Леонид и Герман. Я уже указал на то, что В. П. Махновец считает всю группу „социалистами-культурниками“, т.-е. социалистами, ставившими своей целью ведение мирной культурной работы среди петербургских рабочих. Если такая миссия иногда и выпадала на долю отдельных пропагандистов, то для характеристики всей группы это будет неверно. Наш видимый коптизм и наше убеждение в необходимости первоначально естественно-научного фундамента объясняются простой безграмотностью и общим невежеством, с которыми нам приходилось бороться²⁾. И если вспомнить, что все 80-е годы были эпохой полного разгрома организаций, что разгром обоих первых рабочих союзов „Южно-русского рабочего союза“ и „Северного союза русских рабочих“ в Петербурге произошло еще в 1881 г., т.-е. во время репрессий после 1-го марта, то само собой становится понятным, что работа по пропаганде среди рабочих к концу 80-х годов была очень трудна. К этому времени были придавлены интеллигентские соц.-демократические кружки, кратковременно существовавшие в середине 80-х годов (напр., упомянутая уже „Благоевская“ группа). Сношения

¹⁾ „Хотя его члены (т. е. кружка) и считали себя социал-демократами, но по способу пропаганды своих идей они являлись, в сущности, социалистами-культурниками. Народофильская тактика уже была оставлена, социал-демократическая еще не была выработана; оставлена мысль о непосредственной борьбе, и началась подготовительная работа распространения идей. Бруснев и его товарищи предполагали расширить свою организацию, завели сношения со многими (?) городами России, но в апреле 1892 года были арестованы“. Акимов, стр. 79.

²⁾ Акимов, стр. 39.

же их с массами были прямо ничтожны. И даже появившаяся несколько позднее, а именно в 1889 г., в Петербурге полусоциал-демократическая группа, выпустившая несколько номеров газеты „Рабочий“, хотя и занималась пропагандой, но имела слишком малые связи с петербургской рабочей средой¹⁾. К тому же центром тяжести идейных стремлений этой группы явилось желание отмежеваться от программы и тактики народолюбцев. То же наблюдалось в некоторых матеевских подвигных группах, возникавших в 1887—1889 годах. Поэтому Брусневской группе, мало интеллигентской, а почти исключительно пролетарской, приходилось будить часто совсем первобытное сознание пролетариата. Отсюда и метод, ею усвоенный. Что он был по своему времени необходимым и подходящим, — доказывается несомненным успехом группы. Как в Петербурге, так и в Москве, куда она дала свои разветвления, укрепление в рабочей среде новой и быстро разраставшейся „группы Бруснева и его товарищей“ представлялось важным и ценным явлением: началось самостоятельное социал-демократическое движение в низах.

С появлением и укреплением Брусневской группы петербургские рабочие сами выступают на защиту своих экономических и политических интересов. Они же и тогда санкционировали наши методы распространения и внедрения в сознание рабочих социалистических идей.

Против указаний Махновца говорит и следующий факт, наверное, не одиночный.

В 1892 году, раннею весною, группой интеллигентов, стоявших во главе группы, мне дано было поручение проехать в Варшаву и там по данным мне адресам связаться с польскими социалистами. Я не могу с точностью вспомнить содержание этого поручения, помню лишь, что я его, приехав в Варшаву, удачно выполнил. Смутно припоминаю какую-то конспиративную явку в больнице „Дитетки Иесуса“, а затем посещение каких-то обруселых поляков, которыми я что-то передавал и усно, и в пакете. Все это касалось чисто революционной политической деятельности и никакого специфически-культурного характера не носило.

Культуричество, тем не менее, было, но не как ударная программа, а только как определенная часть большого дела, часть, которая имела свое место и время. Скороспелость осуждалась. Сознательное усвоение классового мировоззрения и революционного марксизма требовало постепенности прохождения и усвоения. Социализм рассматривался, как мировоззрение, определявшее задачи всей жизни и направляющую силу поведения. Отсюда глубина постановки пропагандистской работы, начинавшейся с естественования, а в иных случаях, в силу необходимости, и с грамотности.

В эту эпоху, — период кружковщины в лучшем ее смысле, — все стремления были направлены к тому, чтобы выработать из рабочих не только без пяти минут революционеров, но революционеров сознательных и подготовленных к самостоятельной работе. Эти рабочие должны были обладать определенным философским и экономическим

¹⁾ Об этой группе уже существует обширная литература (Лядог. Мартов Тахтарев, Акимов и др.).

кругозором, при помощи которого они могли бы явиться самостоятельными пропагандистами и активными работниками.

„Мы стремимся к тому, чтобы рабочие могли обосновать свои убеждения и доказать правоту своего поведения“, — не раз повторял мне впоследствии Егор Афанасьев. Сознательность такой постановки работы выразилась, между прочим, в словах одного из рабочих в его первомайской речи. Он сказал: „В настоящее время нам остается только возможность пропаганды, которую, падеюся, мы и воспользуемся, несмотря ни на какие угрозы и препятствия нашего правительства. А для того, чтобы наша деятельность оказалась плодотворною, нам необходимо как можно более стараться умственно и нравственно развить самих себя и других и более энергично действовать для того, чтобы окружающие нас люди смотрели на нас, как на людей умных, честных и смелых, и потому с большим доверием относились бы к нам и ставили бы нас в пример себя и другим“).

Возвращаясь к интеллигентам, входившим в кружки. Я уже сказал, что руководящая роль принадлежала студенту-технологу Михаилу Ивановичу Брусневу.

Из остальных интеллигентов, принимавших тогда то или иное участие в группе, кроме Мих. Ив. Бруснева, я помню довольно красивого блондина, тоже студента-технолога Цивинского из г. Вильны; затем были еще студенты-технологи: Классен, Бурачевский, Страцен, Коробин, братья Красицы, Леонид и Герман Борисовичи. Таким образом, петербургский технологический институт и того времени был очагом рабочего движения. В столовой этого института многие годы с почтением указывали стол, за которым иногда обедали Желябов и Кибальчич.

Не помню в точности, какая именно роль выпала на отдельных „интеллигентов“; по всей вероятности, им за малочисленностью приходилось делать все, ибо кружки были чисто рабочие, не интеллигентские. Страцен и Классен занимались политической экономией и излагали основы социал-демократического учения. Кто-то из интеллигентов, а также рабочий Алишкевич, о котором я уже говорил, занимался по химии, притом занимался очень успешно, так как его чтения сопровождались опытами и так как он объяснял толково. Я, как упоминал выше, преподавал геологию.

Помимо вышеупомянутых интеллигентов к рабочим имели, по уже чисто случайное касательство, и отдельные студенты и курсистки, оказывавшие те или иные услуги. Некоторые из них выдвинулись впоследствии в рабочем движении. „Кружки Бруснева“ организовались в 1890 году и просуществовали в стройном виде только до лета 1892 года. Среди рабочих социал-демократическая пропаганда велась и до группы Голубева-Бруснева, но велась неорганизованно. Так, например, в 1888 — 1889 г.г. подобного рода пропаганду вел среди рабочих единолично талантливый и симпатичный студент-технолог Петровский, повесившийся в 1889 году в Доме предварительного заключения. О Петровском многие рабочие Брусневских кружков сохранили надолго самую лучшую память. Но в литературе, касающейся первых лет социал-демократической пропаганды в Петербурге, в Петровском я не встречал решительно никаких сведений.

*) Четыре речи рабочих, произнесенные в Петербурге в 1892 г. („Рабочая Библиотека“. Выпуск шестой).

III.

Первые празднования первого мая.

Из особенно ярких событий жизни Брусневских кружков были первые в России празднования 1-го мая. Сведений об этих празднованиях до сих пор в литературе не было и даже знаток фактического материала по истории русской социал-демократии В. П. Махновец сознается, что ему о них ничего неизвестно¹⁾.

Эти празднования, как организованные большим числом рабочих, естественно происходили под открытым небом, за городом, в присутствии большинства рабочих, которые входили в организацию и считали себя если не социал-демократами, то во всяком случае сознательными рабочими.

Первый праздник справлялся у нас в 1891 году, т.-е. год спустя после его окончательного установления в Германии. На маевку, на которой мне пришлось быть, собралось около ста человек рабочих различных промышленных заведений Петербурга, входивших в Брусневские кружки. Собрание было устроено в Екатерингофском парке (за Волынкою, в Троицын день, а не по календарю 1-го мая). Собрание происходило в самом конце парка. Я отправился туда с Алексеем Карелиным и Лунеговым. День стоял хороший, путь был не близкий.

Когда мы в начале первого часа пришли, некоторые, в том числе Бруснев, были уже на месте. Вскоре прибыли и все остальные. В начале руководил собранием Цивинский, одетый под рабочего. Собралось, в конце-концов, человек до ста. Мы разместились вокруг руководителей компактной массой. Интеллигенты, число которых совершенно топуло среди рабочих, в этот день совершенно ступевались. Когда все собрались, роль руководителей собрания приняли на себя сами рабочие. Мы провели этот день вплоть до вечера в общей оживленной беседе на общественно-политические темы, прерываемые время-от-времени отдельными речами²⁾. Первым говорил Николай Богданов. За ним Порошин и некоторые другие. Все речи были очень горячи и крайне образны. Особенно отчетливо и задумчиво лилась речь Николая Дементьевича Богданова, говорившего с большим увлечением о западно-европейском движении, об идеях, объединяющих европейский пролетариат, о борцах за его дело и о великом пролетарском празднике 1-го мая.

Привожу краткую речь Николая Богданова полностью, так как содержание ее при всей лаконичности дает современному читателю характеристику идей и настроений того времени.

„Товарищи,— сказал Богданов,— сегодняшний день для нас должен неизгладимо остаться у каждого в памяти. Только сегодня в первый раз нам пришлось собраться со всех концов Петербурга на

¹⁾ См. „Былое“, октябрь, 1906 г. Некоторые общие сведения помещены в моей статье, см. „Былое“, № 16, за 1921 г.

²⁾ Эти речи напечатаны в VI вып. „Рабочей Библиотеки“ (Женева 1902) под загл. „Первое мая 1891 года“. Четыре речи рабочих, произнесенные на том же собрании в Петербурге с приложением адреса петербургских рабочих Н. В. Шелгунова и предисловием Г. Плеханова. Другое издание нелегальное, русское, было отпечатано народолюбцами в том же году, в их тайной типографии в Петербурге.

это скромное собрание и слышать в первый раз от товарищей рабочих горячее слово, призывающее на борьбу с нашими сильными политическими и экономическими врагами. Да, товарищи, видя такого врага и не зная, в чем его сила, видя свою небольшую горсть людей, которые берут на себя эту борьбу, некоторые из нас не могут надеяться на успех нашей победы, они в отчаянии и трусости покидают наши ряды. Нет, товарищи, мы твердо должны надеяться на нашу победу. Нам стоит только вооружить себя сильным оружием, — а это оружие есть знание исторических законов развития человечества; нам стоит только этим вооружить себя, тогда мы всюду победим врага. Никакие его притеснения и высылки на родину, заточение нас в тюрьмы и даже высылки в Сибирь не отнимут от нас этого оружия. Мы всюду найдем поле победы, всюду будем передавать наше знание, на родине — своим крестьянам, а в тюрьмах будем объяснять арестантам, что они тоже люди, и имеют все человеческие права; чтобы они, сознавши эти права, передали свое знание другим и организовали их в группы. В этом долг нашего успеха. Да, товарищи, нам часто приходилось читать или даже слышать о манифестациях рабочих на Западе, которые громадными и стройными колоннами двинулись по городам и наводят страх на своих эксплуататоров; но стоит нам присмотреться к истории развития этой стройной массы, и тогда нам станет ясно, что эта масса произошла от такой же небольшой группы людей, как и мы. Взглянем хотя бы на историческое развитие социал-демократической партии в Германии, этой самой сильной и стройной организации на Западе. Она тоже произошла от небольшой кучки людей, сгруппировавшихся в одной производительной местности, как наш Петербург. Эти рабочие первые сознали свои человеческие права и стали передавать свои убеждения другим рабочим, за что и стали преследоваться и высылаться правительством по провинциям. Но даже это распоряжение послужило на пользу рабочим. Эти рабочие нашли себе товарищей и организовались все вместе, составили один нераздельный союз. Чего же нам, русским рабочим, отчаиваться, бежать от этих борющихся товарищей, которые идут за такое великое дело, как дело народного освобождения? Смотри на все исторические факты, которые нас смело заставляют надеяться на победу, мы должны также думать и о нашем русском народе. Он до тех пор будет нести извращения на него тяжести, пока не сознает за собою человеческих прав и не сознает, что он-то, рабочий, должен иметь больше всех прав пользоваться всеми богатствами, произведенными его трудом. Наш рабочий должен также знать, что труд есть двигатель всего человеческого прогресса, что он создатель всей науки, искусства и изобретений. Лишь только народ все это узнает, его тогда никакая армия не может удержать от самоосвобождения, а нести такое сознание в народ — есть прямое неотъемлемое право всех развитых рабочих. Это показала нам борьба нашей интеллигенции 70-х—80-х г.г. Взгляните, товарищи, на эту борьбу с исторической точки зрения, как эти друзья и борцы несли в народ все свое знание, и, нередко жертвуя даже жизнью, оправдали себя перед историей и не остались в долгу у народа. Они всюду откликались на народный стон и давали руку для помощи, но народ не признал в них друзей и смотрел на них с недоверчивостью.

„Так понесем же теперь мы, товарищи, свое скромное знание в народ: не сумеем ли мы передать его народу и не поймет ли он те-

перь нас, потому что мы ближе стоим к нему, как интеллигенция; только жаль одного, товарищи, что у нас нет нигде помощи, как прежним рабочим, исключая небольшой кучки людей, которым мы всегда отдадим сердечное спасибо; нынешняя молодежь не слышит народного стопа и не видит народного горя, — она и не думает о народе. Эта молодежь нечто иное, как паразитный элемент общества: они способны только истреблять продукты общественного труда, а и не думают платить за эти труды народу“.

Вторую речь сказал рабочий Порошин. Вот она:

„Очень жаль, товарищи, что нам до лучшего будущего приходится помириться с невозможностью собраться и провести вместе, по примеру рабочих в западных государствах, день 1-го мая, и должны довольствоваться возможностью собраться в воскресенье. Конечно, каждый из нас знает, что теперь мы не можем произвести никакой манифестации, а не только что подобной той, какую произвели рабочие на Западе. Я думаю, что каждый из нас теперь невольно сравнивает наши силы с силами западных рабочих; но смею надеяться, что ни один из нас от этого сравнения, глядя на нашу малочисленность, не придет в отчаяние, потому что все мы еще имеем настолько сил и энергии, чтобы не упасть духом и не опустить рук лишь оттого, что дело приходится почти еще начинать только. Западные рабочие страдают, как и мы, под гнетом капиталистического строя, т. е. такого, при котором все продукты труда, произведенные рабочими, фабрикант продает в свою пользу, а рабочим за их труд платит лишь столько, чтобы они не могли умереть с голоду. Не довольствуясь таким возмутительным порядком, который лишает их плода своего труда, они часто задумывались над положением, в котором они находятся, и пришли к тому заключению, что выбраться из него возможно только путем умственного развития народа, так как от его развития зависит все. Придя к такому заключению, они не остановились только на словах, а стараются развивать и организовать себя и других в тесную организацию и при ней имеют кассу, на средства которой распространяют книги и издают журналы и газеты, в которых проводят свои идеи; они стараются поддерживать стачки, хотя и не считают их коренным средством для уничтожения зла, потому что они могут, при благоприятном исходе, лишь только несколько улучшить положение рабочих, но не освободить их из-под гнета капитала. Постепенно усиливаясь благодаря энергичной деятельности, они время-от-времени различными средствами давали почувствовать обществу и правительству свою силу и предъявляли свои требования, и правительство некоторые из них принуждено было удовлетворить. Например, дали конституции, свободу печати, свободу сходов и организаций и т. п. права, при приобретении которых им гораздо легче стало бороться с существующим экономическим строем. Одним из таких средств, которым они хотели дать почувствовать свою силу и тут же предъявить одно из важных требований, была громадная манифестация в день 1-го мая. Они этой манифестацией требовали установления законодательным порядком 8-ми-часового дня. Из сравнения же манифестаций прошлой годней и нынешней видно, что силы их возрастают, так что дают надежду в не очень далеком будущем увидеть тот лучший и справедливый строй, к которому они стремятся. Обращая внимание на и положение наших рабочих, мы увидим, что они также сильно страдают от произвольной кулацеской эксплуатации,

почти ничем не сдерживаемой, потому что наши рабочие, по старанию правительства и фабрикантов, находясь в забитом состоянии и полном невежестве, не могут дать отпора произвольному грабежу, чем и дают повод к большей наглости безжалостным хищникам. Такое положение, конечно, никому из рабочих не нравится; но они молчат и терпят, потому что не знают выхода из него, и потому на нас, как на более развитых рабочих, лежит обязанность выяснить рабочим причины, по которым они находятся в таком скверном положении и указать выход из него.

„К чести нашей я могу сказать, что мы, действительно, созвали свои обязанности и, несмотря на все препятствия и угрозы нашего подлого правительства, мы стараемся, по мере своих сил и способностей, развивать окружающих нас рабочих... А также недавно, вместе с искренним чувством признательности к Шетгунову, как к указателю пути к свободе и братству, мы попробовали подачею адреса ему и присутствием с венком на похоровах его привлечь внимание общества к рабочему вопросу и, как слышно, успели в этом. Но, как видно, наша проба и успех ее пришлись не по губам правительства, и оно распорядилось наказать рабочих, осмелившихся думать об улучшении своей жизни, выслав тронх из них в уездные городишки. Оно, как вам известно, всегда за малейшее проявление неудовольствия к существующим безобразиям высылает и сажает по тюрьмам рабочих и интеллигенцию, которая искренно стремится, — за что ей сердечное спасибо! — своими силами и знаниями помочь рабочим в борьбе с существующим хищническим строем. Но я надеюсь, товарищи, что такие меры правительства не запугают никого из нас, а лишь только возбудят большую ненависть к нему и к существующему строю, который оно оберегает, и большее желание поскорее добиться такого, при котором не было бы ни бедных, ни богатых, а все бы пользовались счастьем и довольствием в равной степени.

„Так будем же, товарищи, развивая и поддерживая друг друга, продолжать начатую борьбу с существующим злом за осуществление „свободы, истины, братства“.

Третья речь содержала указание, что все „страдания происходят от существующего экономического строя“ и что должна быть замена существующего экономического строя, дающего широкий простор для произвольной кулаческой эксплуатации, более лучшим и справедливым — социалистическим и излагала ряд обычных и общеизвестных политических требований (конституция, свободы и пр.). Указывалась и необходимость наличия „организованной силы“. Кто ее произнес, — не помню. Забыли это и другие присутствовавшие, мною опрошенные.

Последняя, четвертая речь, принадлежала кузнецу Егору Афанасьеву. Вот главнейшие места его речи:

„Хорошо, что и мы тоже начинаем пробуждаться от векового нашего сна под гнетом барского, поповского и царского рабства, — начинаем, я говорю, пробуждаться, и это уже есть часть, внесенная русскими работниками в общий прогресс. Да, ведь, товарищи, сразу ничего не делается в мире, а все совершается по определенным законам природы. И человеческий гений не может объять все сразу, все предугадать, а постепенно узнает святую истину. Ему всегда приходится на долю самые трудные работы во все века человеческой жизни — будить сознание в самом человечестве и двигать его на путь

Наше первомайское собрание прошло в 1891 году очень мирно. Никто, ни полиция, ни любопытные, нас не беспокоили. Хорошо помню, что никаких „патрулей“ мы тогда не выставляли, хотя имели привычку „конспирировать“ по всякому поводу.

Совсем иначе прошло празднование 1-го мая в следующем 1892 г. Было избрано для этого совершенно другое место. После поисков в течение трех воскресений остановились на месте, назвавшемся очень подходящим, а именно на конце так называемой Батарейной дороги, на Крестовском острове, у самого берега моря. За это место говорила возможность как подхода к ней пешком, так и доступа при помощи лодок. И вот, 24-го мая старого стиля, т.е. опять в Троицын день, мы все двинулись к этому месту, кто пешком, кто на лодке. Я ехал в лодке с Алексеем Карелиным, его невестой Верой Марковной, Лунеговым и еще с несколькими рабочими.

Ехали очень весело, оживленно рассчитывая, как скоро могли бы возрасти наши кружки и наши группы, если бы полиция нам не препятствовала. Выходя на Невку, мы увидели еще несколько лодок, ехавших в одном с нашим направлении; мы молча переглянулись с товарищами на других лодках. Все были одеты по-праздничному, а интеллигенты переоделись в рабочие костюмы. Особенно это шло к Цивинскому, который казался ярославским разносчиком в своем картузе и поддевке.

Нас собралось на лужайке свыше 150 человек. Подождали еще, но многие, как говорят, не явились. Какие говорились речи,—я не помню, так как наш кружок был занят тогда своим разговором. На нас возлагалось устройство небольшой техники от групп. Мы были очень поглощены этой задачей, и целые дни проводили в обсуждении деталей. Итак, какие речи говорились,—не помню, но помню, что раздавались печатные, по всей вероятности, заграничные листки и карикатуры. Карикатуры аллегорически изображали различных зверей, львов, тигров, слонов в коронах, а над ними имелись соответствующие надписи.

Наше празднество, которому придавали простонародный вид несколько взятых с собой гармоний, а также и угощение в виде хлеба, колбасы, пива, разложенных на лужайке, было в самом разгаре, когда неожиданно появился лесной сторож владельца Крестовского острова, князя Белосельского-Белозерского. Худощавый старик типа преданных верных слуг, опираясь на ружье, резко потребовал от нас под угрозой полиции немедленного удаления. Несмотря ни на какие попытки дружественных переговоров, он стоял на своем и, в конце концов, добился один против 150 человек, чтобы мы разошлись.

День был солнечный, ленивый, настроение только что разрасталось, и было очень грустно покидать красивое и удобное место. Но делать было нечего. Страх перед полицией был велик, захват же самых ценных работников представлял собою большую опасность для всего дела, и мы подчинились необходимости. Очень опечаленные, ехали мы обратно в лодке, стараясь говорить на совершенно иные темы.

Так была сорвана вторая маевка петербургских рабочих. На другом большом собрании за Волковым кладбищем, собранном взамен неудавшейся маевки вскоре после 1-го мая и устроенном нашей группой, я не был. Помню, рассказывали о произнесенной на этом собрании Фоминым выдающейся речи. Егор Афанасьев на этом собрании

точке не был, но на собрании была прочитана его речь. „Волковская массовка“ была для группы роковой. Полиция выследила место собрания, состоявшего, примерно, из 300 человек. Полиция наружная и тайная издали проследила многих бывших на собрании, и вскоре многочисленные аресты почти уничтожили всю нашу организацию. Слежка продолжалась с 29 июня, дня собрания за Волковым кладбищем, по 14 июля. Слежка была усиленная, и вот в ночь с 14-го на 15-ое июля более 30-ти видных кружковых деятелей были арестованы.

Тогда были задержаны Егор Афанасьев, Луигов, Фомин, Туманов, Евграфов и многие другие. После этого ареста последовали другие. Вскоре репрессии окончательно разгромили эту организацию. Я, случайно узнав, что за мной следят, спешно оставил Петербург, а затем и Россию... На родину я вернулся только спустя 5 лет.

Проф. В. В. Святловский.

Германская ориентация и П. Н. Дурново в 1914 г.

I.

Если сделать некоторое умственное усилие и постараться, отрешившись от вычитанных и заученных ходячих формул, взглянуть на всю политическую эволюцию русской державы за последнее столетие существования монархии, то мы должны будем прийти к совершенно определенному заключению: в недрах русской государственности всегда боролись два течения—одно, основанное на инстинкте самосохранения, другое, не учитывавшее велений этого инстинкта, и поэтому гораздо более активное. Для краткости условимся называть первое течение—консервативным, второе—националистическим или империалистическим. Поверхностным наблюдателям, были ли это публицисты или историки,—все равно,—казалось часто, что эти течения совпадают. Но ничто не может быть грубее этой ошибки. Поясню эти слова.

В своей книге „Падение абсолютизма в западной Европе“ я указывал на любопытное (повторяющееся в истории) психологическое состояние правительственной организации, которое наступает часто в той фазе, когда абсолютизм твердо уверен в своей прочности, когда он избавлен от забот о самосохранении. Абсолютизм тогда не остается, обыкновенно, в покое: он начинает ставить пред собою такие внутренние и внешние задачи, которые, по существу дела, вовсе его не касаются и ему не нужны; сплошь и рядом такие безусловленные социологические задачи и цели, стремление к которым не диктуется никакими повелительными нуждами, и приводят абсолютистскую машину к частичному, а иногда и к общему банкротству. Это—факт бесспорный и, главное, повторяющийся. Этот факт не может изменить навсегда или даже на очень долго общее течение истории данной страны, но он нередко весьма существенно влияет на физиономию политических событий, часто укорачивает явственно те сроки бытия, которые для данного абсолютизма еще не исполнились бы, если бы не указанное психологическое явление. В этих ограниченных пределах указанный факт играет, несомненно, очень видную роль. Вся „славянская политика“ русского правительства в XIX веке была в значительной мере порождением этой психологии.

Что русский абсолютизм уже к моменту революции 1905 года себя экономически изжил,—в этом сомнений быть не может. Но что та компромиссная форма правления, которая существовала в России с 17 октября 1905 года, вовсе не должна была при всяких обстоятель-

ствах безусловно погибнуть 2 марта 1917 года и так именно погибнуть, как она погибла, что, словом, ее гибель была в огромнейшей степени ускорена войною 1914 года,—с этим должен согласиться каждый беспристрастный и спокойный наблюдатель. Можно ли, если так, причислить войну 1914 года к той категории явлений, о которых шла речь, позволительно ли утверждать, что для русской монархии эта война была тою же выдуманной и вредной ненужностью, как для французской монархии была отмена нантского эдикта или война за испанское наследство?

Ставить так вопрос — значит, только запутывать дело. Войну 1914 года желал Фалькенгайм, Мольтке младший, Берхтольд; даже Вильгельм и фон-Тширшки начали ее желать лишь в самом процессе переговоров, и в послышке ультиматума Сербии вовсе не усматривали автоматической пружины, которая, развертываясь, произведет всеобщий взрыв. В русских правящих кругах вызвать войну летом 1914 года, когда Россия была заведомо неготова, подавляющее большинство также не хотело.

Но выступление в пользу Сербии и мобилизация, т.-е. именно то, что дало Германии желанный повод начать эту предупредительную войну, вся русская ближневосточная политика последних лет, мало того, вся долгая балканская традиция русской политики — все это, вместе взятое, было русской монархии всегда, в конечном счете, вредно и сокращало естественно отмеренный ей срок жизни и, от этапа до этапа, влекло к опасному краю пропасти. С этой точки зрения, крымская война, русско-турецкая война 1877—1878 г.г. и балканская политика России в 1908—1914 г.г. — единая цель актов, ни малейшего смысла не имевших, с точки зрения экономических или иных повелительных интересов русского народа, а с точки зрения монархии определенно самоубийственных. Географическое положение России, экономическая ее слабость, культурная растерянность и неуверенность, наличие массы враждебных, конкурирующих сил и влияний на Балканах, — все это предreshало всегда неблагоприятный для России исход всех ее балканских предприятий; чисто военная успешность того или иного похода не могла тут ничего изменить.

Но этого мало. Каждое серьезное столкновение грозило России финансовым истощением, экономическим изуродованием, политическим кататизмом. *Quies non movet*, то, что находится в покое, следует и оставить в покое, — такова была, уже начиная, может быть, с Никиты Ивановича Панина, основная тенденция одной школы русских дипломатов и государственных людей. Владея половиною Европы и половиною Азии, России воевать не с кем и не зачем; с пародом можно делать все, что угодно, еще очень долгое время, но от этого каприза, от ненужных никому войн должно воздержаться. Великий князь Михаил Павлович многозначительно говаривал, что воевать не следует, так как война портит войско. Александр III определенно боялся войны и отстранялся от сколько-нибудь активной внешней политики.

Такова была одна школа русских государственных деятелей. Под блестящею внешностью, за огромными размерами, они чуяли многочисленные язвы, которые, замечу, они же упорно и не желали заглаживать. Ни о какой дальнейшей экспансии России они не мечтали; всегда знали, что народ в своей массе воевать не хочет и что, не воюя, им самим можно быть уверенным в полной прочности своего положения и своей власти.

Другая школа, начавшаяся Шуваловым и Бестужевым, Потемкиным и Александром I и продолжавшаяся гр. Н. П. Игнатьевым и (уже в наши дни) Гартвигом, придерживалась иных воззрений. Они так были убеждены в несокрушимой прочности русского государственного организма, что роскошь завоевательной, расовой („славянской“) или иной политики представлялась им возможной. „Россия—молодая страна с военным честолюбием“, писала газета „Новое Время“ в 1899 году. Русский царь—да падет пред Престолом Всевышнего—и да встанет, как всеславянский царь,—восклидал и приглашал Тютчев, предвидя богослужение в Св. Софии, после водружения над нею русскими устоями православного креста. Участники славянских бапкетов в Петербурге в 1912—1914 г.г., провозглашавшие близкое освобождение подъяремной Галиции, — были прямыми продолжателями этой стародавней и наиболее популярной и активной традиции русских правящих кругов.

Эта школа получила большую поддержку со стороны главенствовавшей партии конституционно-настроенных кругов русского общества в 1908—1914 г.г., начиная с эпохи аннексий Боснии и Герцоговины Австриею. П. Б. Струве усматривал (еще до этого события) в завоевании берегов Черного моря ту историческую задачу, которая может составить пункт объединения русского общества, сделаться одною из его целей в будущем. Представители первой (консервативной) традиции больше всего беспокоились потому, что на этот раз позыв к активной политике был особенно опасен. Если в 1853 и в 1877 г.г. русско-абсолютизм решился на военные выступления под влиянием неосновательного, быть может, по существу, но бесспорно наличного чувства собственной мощи и неприступности, то теперь, в 1908—1914 г.г. этого чувства быть не могло. Это—во-первых. Во-вторых,—тот ущербленный полуабсолютизм, который с 1905 года царил в России, должен был встретиться на этот раз с такою непосредственной и грозно-опасностью, с которой за сто лет ни разу не встречался: не с Турцией, а с такою коалицией, в которой Турция являлась лишь третье-степенною величиною. Война с Австрией и Германией грозила серьезнейшею опасностью для России,—и прежде всего для русского государственного строя. А кроме того, столкновение таких монархических держав, как Россия и Германия, чем бы оно ни окончилось, должно было непременно подействовать разрушающим образом на самый принцип наследственной монархии и политического консерватизма. Константин Леонтьев еще в 80-х годах говорил и писал об этом. У этого замечательнейшего теоретика крайней реакции был определенный и решительный страх пред мыслью о русско-германском столкновении, вызванный именно приведенным соображением.

Но второе, империалистское, течение, все более и более брало верх над консервативным. Конъюнктура складывалась, с точки зрения приверженцев этого второго течения, вполне благоприятная: в союзе с Англией и Францией ни Германия, ни Австрия не казались страшными. Правда, немедленно, в 1912, 1913, 1914 г.г., никто из сторонников этого течения также войны не желал; максимум боевой готовности мог быть достигнут лишь чрез несколько лет. Во всяком случае, начать психологическую подготовку было признано уместным.

Нечеткие стремления Вильгельма II и его друзей доказать, будто Аванта (и, в частности, Россия) начала войну, именно оттого с самого начала и осуждены были на безнадежную неудачу, что ни

Антанта вообще, ни особенно Россия в 1914 году, не желали войны ни в каком случае, вследствие ясно сознаваемой несовершенной подготовленности. Германия же была в полной боевой готовности, и ждать далее ей становилось невыгодным.

Система защиты Вильгельма II никуда не годилась потому, что, не имея возможности (ибо он мог говорить лишь о гипотезах) неопровержимо доказать агрессивные намерения Антанты в будущем, он принужден был, вопреки всякой очевидности и здравому смыслу, доказывать, будто на него напали уже в настоящем, в августе 1914 года. II раз усвоивши себе этот безнадежный метод защиты, он принужден был на каждом шагу прибегать ко лжи в области чистоматериальных фактов, т. е. в той как раз области, в которой легче всего попасться и быть опровергнутым. Французы бомбардировали с аэропланов Нюрнберг, русские казаки вторглись в Пруссию, Сербия убила Франца-Фердинанда и т. д., и т. д. Все это ни к чему не вело. После посланки ультиматума Сербии — защищаться на этой почве, говорить о „навязанной войне“ (ein uns aufgezwungener Krieg) — значило преувеличивать наивность собственных подданных.

Но за пять месяцев до начала войны была сделана логически гораздо более сильная попытка разрушить Антанту и избавить Германию от поползновения сделать это открытою силою. В последний раз пред крушением русской монархии сторонники консервативной традиции выступили с предостережениями.

II.

Их глашатаем на этот раз явился Петр Николаевич Дурново, бывший министр внутренних дел в кабинете гр. Витте, а тогда (в феврале 1914 года) член государственного совета, доживавший свои дни.

Это была любопытная и довольно сложная фигура. Скептик и циник, он в общем вполне удовлетворительно понамаз и тех, кому он служил, и тех, кем он повелевал. Он способен был на самые рискованные поступки (достаточно вспомнить случай с изъятием писем из стола бразильского посланника, послуживший причиною его опалы при Александре III), на самые беспощадные и безоглядные действия, но были моменты, когда в нем как будто начинали шевелиться более человеческие чувства. Впрочем, относительно моральной его ценности мало кто из знавших его предавался особым иллюзиям. Но в интеллектуальном отношении отрицать за ним ум ни в каком случае не приходится. И прежде всего этот ум сказывался в понимании шаткости строя, которому он служил, и вулканичности почвы, на которой этот строй стоял. Активная внешняя политика представлялась ему безумием и особенно такая, которая грозила войною с Германиею. В феврале 1914 года, когда тучи на европейском горизонте стали явственно сгущаться, он подал императору Николаю II записку, во многих отношениях чрезвычайно любопытную. Это — лебединая песнь консервативной школы. Конечно, в вопросах внешней политики П. Н. Дурново был дилетант, и его ошибка (как и всех дилетантов в этой области) заключается в убеждении, будто достаточно только пожелать, чтобы перемешать политику. Но рядом мы находим предвидения необычайной силы и точности. Эта записка даже не всем министрам была сообщена; только после революции она сделалась известной несколь-

ким лицам, которым случайно попал в руки литографированный экземпляр ее. Никакого практического значения она не возымела.

Постараюсь, прежде всего, познакомить читателей с наиболее характерными частями этого исторического документа. Начинается он с общей характеристики европейского положения в начале 1914 года.

„Центральным фактором переживаемого нами периода мировой истории,—пишет П. Н. Дурново,—является соперничество Англии и Германии. Это соперничество неминуемо должно привести к вооруженной борьбе между ними, исход которой, по всей вероятности, будет смертелен для побежденной стороны. Слишком уж несовместимы интересы этих двух государств и одновременное великодержавное их существование рано или поздно окажется невозможным“. Но, по мнению автора, ни та, ни другая держава не в состоянии одними лишь собственными силами раздавить соперницу. Англия ищет союзников. Какова должна быть при этом позиция России? П. Н. Дурново полагает, что прочное равновесие сил, обеспечивавшее Россию, существовало до русско-японской войны. Говоря об этой войне, Дурново с сочувствием вспоминает, что „мы пользовались благоприятным нейтралитетом“ Германии, забывая прибавить, что именно Германия делала все, от нее зависящее, чтобы толкнуть Николая II на эту гибельную авантюру, а затем всячески препятствовала быстрому окончанию войны, которую она считала выгодной для своих интересов. Вообще, консервативная школа, ненавидя балканские войны России, гораздо мягче относилась всегда к русско-японскому столкновению. Начальник и политический ментор Петра Николаевича—В. К. Плеве не скрывал, что он в войне с японцами усматривает оттяжку революции. Теперь, в феврале 1914 года, П. Н. Дурново признает, что с русской стороны причиною войны был „слишком широкий размах фантазии зарвавшихся исполнителей“; тогда, в 1904 году, он этого не говорил. Во всяком случае, он признает, что жить в полном мире с Японией для России и можно, и должно, и подчеркивает при этом, что для улучшения отношений с Японией вовсе не требовалось после Портсмутского мира сближаться с Англией. Что же принесло России это сближение с Англией? По мнению Дурново, ровно ничего. Вред же был огромный; наиболее отрицательные последствия сближения с Англией, а следовательно, и коренного расхождения с Германией оказались на Ближнем Востоке“. После сближения России с Англией, Германия и Австрия начали гораздо свободнее распоряжаться в Турции и на Балканах. Присоединение Боснии и Герцеговины, образование Албании, „окончательное прикрепление“ Турции к Германии—таковы были ближайшие последствия. „Итак, англо-русское сближение ничего реально-полезного для нас до сего времени не принесло. В будущем оно сулит нам неизбежно вооруженное столкновение с Германией“.

„В каких же условиях произойдет это столкновение и каковы окажутся вероятные его последствия? Основная группировка при будущей войне очевидна: это—Россия, Франция и Англия, с одной стороны; Германия, Австрия и Турция,—с другой. Более, чем вероятно, что примут участие в войне и другие державы, в зависимости от тех или других условий, при которых разразится война“... „Италия, при сколько-нибудь правильно понятых своих интересах, на стороне Германии не выступит... Более того, не исключена, казалось бы, возможность выступления Италии на стороне противогерманской коалиции,

если бы жребий войны склонился в ее пользу в видах обеспечения себе наиболее выгодных условий участия в последующем дележе. В этом отношении позиция Италии сходится с вероятной позицией Румынии, которая, надо полагать, останется нейтральной, пока весы счастья не склонятся на ту или другую сторону. Тогда она, руководствуясь здоровым политическим эгоизмом, примкнет к победителям, чтобы быть вознагражденною либо за счет России, либо за счет Австрии. Из других балканских государств Сербия и Черногория, несомненно, выступят на стороне, противной Австрии, а Болгария и Албания, если к тому времени она образует хоть эмбрион государства, на стороне, противной Сербии. Греция, по всей вероятности, останется нейтральной или выступит на стороне, противной Турции, но лишь тогда, когда исход войны будет более или менее предрешен. Участие других государств явится случайным, при чем следует опасаться выступления Швеции, само собою разумеется, в рядах наших противников. При таких условиях, борьба с Германией представляет для нас огромные трудности и потребует от нас неисчислимых жертв. Война не застанет противника врасплох, и степень его готовности, вероятно, превзойдет самые преувеличенные наши ожидания. Не следует думать, чтобы эта готовность происходила из стремления самой Германии к войне. Война ей не нужна, коль скоро она и без нее могла бы достичь своей цели—прекращение единоличного владычества Англии над морями. Но раз эта жизненная для нее цель встречает противодействие со стороны коалиции, то Германия не отступит пред войною и, конечно, постарается даже ее вызвать, выбрав наиболее выгодный для себя момент. Главная тяжесть войны, несомненно, выпадет на нашу долю, так как Англия к принятию широкого участия в континентальной войне едва ли способна, а Франция, бедная людским материалом, при тех колоссальных потерях, которыми будет сопровождаться война в современных условиях военной техники, вероятно, будет придерживаться строго оборонительной тактики. Роль тарана, пробивающего самую толщу немецкой обороны, достанется нам, а между тем сколько факторов будет против нас, и сколько на них нам придется потратить и сил, и внимания! Из числа этих неблагоприятных факторов следует исключить Дальний Восток:

„Америка и Япония, первая по существу, вторая—в силу современной политической ориентации,—обе враждебны Германии и ждать от них выступления на ее стороне нет основания. К тому же война, независимо даже от ее исхода, ослабит Россию и отвлечет ее внимание на запад, что, конечно, отвечает и японским и американским интересам... Более того, не исключена возможность выступления Америки или Японии на противной Германии стороне, но, конечно, только в качестве захватчиков тех или иных плохо лежащих германских колоний. Зато несомненно новый взрыв вражды против нас в Персии, вероятно волнения среди мусульман на Кавказе и в Туркестане, не исключена возможность выступления против нас, в связи с последним восстанием, Афганистана; наконец, следует предвидеть весьма неприятные осложнения в Польше и Финляндии... Что касается Польши, то следует ожидать, что мы не будем в состоянии все время войны удерживать ее в наших руках. И вот, когда она окажется во власти противников, ими, несомненно, будет сделана попытка вызвать восстание, в существе для нас и не очень опасное, но которое все же придется учитывать в числе неблагоприятных для нас факторов, тем более, что влия-

ние наших союзников может побудить нас на такие шаги в области наших с Польшею взаимоотношений, которые опаснее для нас всякого открытого восстания“.

Готовы ли мы к столь упорной борьбе, которою, несомненно, окажется будущая война европейских народов? На этот вопрос приходится, не обинуясь, ответить отрицательно. Менее, чем кто-либо, я склонен отрицать то многое, что сделано для нашей обороны со времени японской войны. Несомненно, однако, что это многое является далеко недостаточным при тех невиданных размерах, в которых неизбежно будет протекать будущая война“.

В этой неподготовленности П. И. Дурново обвиняет „дипломатство“ законодательных учреждений и тут же сваливает на них вину за новую, опасную для России, дипломатическую ориентацию. Признавая хорошие качества выучки и вооружения, Дурново указывает на существенные недочеты: прежде всего на недостаточность запасов и на трудность пополнить их, в случае закрытия ввоза, вследствие малой производительности наших заводов. Да и общая недостаточность нашей промышленности и наша зависимость от иностранного ввоза создаст, по мнению автора, очень тягостное положение. В частности, „далеко недостаточно количество имеющейся у нас тяжелой артиллерии... мало пулеметов. К организации нашей крепостной обороны почти не приступлено“. Плохо оборудованы железные дороги, нет достаточного подвижного состава. Последнее слово техники будет не у нас, а у наших противников.

„Все эти факторы едва ли принимаются к должному учету нашей дипломатией, поведение которой, по отношению к Германии, не лишено, до известной степени, даже некоторой агрессивности, могущей чрезмерно приблизить момент вооруженного столкновения с Германией, при английской ориентации, в сущности, неизбежного“.

Но не эти опасения являются центром тяжести в предостережениях Дурново. Он настаивает, что даже в случае благоприятного исхода, война против Германии даст России весьма проблематические выгоды.

„Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожительства этих двух государств. Будущее Германии—на морях, т.-е. именно там, где у России, по существу, наиболее континентальной из всех великих держав, нет никаких интересов. Заморских колоний у нас нет и, вероятно, никогда не будет, а сообщение между различными частями империи легче сухим путем, нежели морем. Избытка населения, требующего расширения территории, у нас не ощущается. Даже с точки зрения новых завоеваний, что может дать нам победа над Германией? Познать, Восточную Пруссию? Но зачем нам эти области, густо населенные поляками, когда и с русскими-то поляками нам не так легко управиться? Затем оживлять центробежные стремления, не заглушенные по сию пору в Привислинском крае, включением в состав российского государства беспокойных познанских и восточно прусских поляков, национальных требований которых не в силах заглушить и более твердая, чем русская,—германская власть? Совершенно то же и в отношении Галиции. Нам явно невыгодно во имя идеи национального сентиментализма присоединять к нашему отечеству страну, потерявшую с ним всякую живую связь. Ведь на ничтожную горсть русских по духу галичан, сколько мы получим поляков, евреев, украинизированных униатов? Так называемое украинское или мазепиское движение сейчас у нас

не страшно, но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как и в этом движении — несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего достичь совершенно неожиданных размеров“.

П. Н. Дурново не верит и в наиболее популярную цель русской дипломатии. „Очевидная цель, преследуемая нашей дипломатией при сближении с Англией,—открытие проливов, но, думается, достижение этой цели едва ли непременно требует войны с Германией... И есть полное основание рассчитывать, что немцы легче, чем англичане, пошли бы на предоставление нам проливов, в судьбе которых они мало заинтересованы и ценою которых охотно купили бы наш союз. Не следует к тому же питать преувеличенных ожиданий от занятия нами проливов. Приобретение их для нас выгодно, лишь поскольку ими закрывается вход в Черное море, которое становится с тех пор для нас внутренним морем, безопасным от вражеских нападений. Выхода же в открытое море проливы нам не дают, так как за ними идет море, почти сплошь состоящее из территориальных вод, море, усеянное множеством островов, где, напр., английскому флоту ничего не стоит фактически закрыть для нас все входы и выходы независимо от проливов. Поэтому Россия смело могла бы приветствовать такую комбинацию, которая, не передавая непосредственно в наши руки проливов, обеспечила бы нас от прорыва в Черное море неприятельского флота“. По мнению Дурново, такая комбинация возможна, — но он уклоняется от развития этой мысли в подробностях. Действительно полезными для России приобретениями он считает Персию, Памир, Кульджу, Кашгарию, Монголию, Урянхайский край, т.е. все такие места, где Россия „может встретить препятствия со стороны Англии, а отнюдь не Германии“.

Точно также, по мнению Дурново, Германия ничего полезного для себя получить от победы над Россией не может: поляки, эстонцы, латыши слишком немцам враждебны. Что же касается экономического антагонизма Германии и России, то автор не склонен его преувеличивать, хотя и признает, что от торговых договоров с Германией интересы русского сельского хозяйства пострадали. Но и тут украдкой инсинуируется мысль, что „для союзника“ Германия, конечно, могла бы пойти на экономические уступки. „Во всяком случае, мы на примере Австро-Венгрии видим земледельческую страну, находящуюся в несравненно большей, нежели мы, экономической зависимости от Германии, это однако не препятствует ей достигнуть в области сельского хозяйства такого развития, о котором мы можем только мечтать“.

Словом, войны и тут никакой не требуется. „Скажу более, разгром Германии—в области нашего с нею товарообмена для нас невыгоден. Разгром ее, несомненно, завершился бы миром, продиктованным с точки зрения экономических интересов Англии. Эта последняя использует выпавший на ее долю успех до самых крайних пределов“, и тогда мы в разоренной и утратившей морские пути Германии только потеряем все же ценный для нас потребительский рынок для своих, не находящихся другого сбыта продуктов. Вообще, что касается германского будущего, то здесь интересы Англии и России диаметрально противоположны: „Англии выгодно убить германскую морскую торговлю и промышленность Германии, обратив ее в бедную, по возможности, земледельческую страну. Нам выгодно, чтобы Германия развивала свою

морскую торговлю и обслуживаемую ею промышленность в целях снабжения отдаленнейших мировых рынков, и в то же время открывала бы свой внутренний рынок произведениям нашего сельского хозяйства для снабжения многочисленного своего рабочего населения“.

Не верит П. Н. Дурново и в „немецкое засилье“ в России; он думает, что „Drang nach Osten“ уже прекращается, что, впрочем, остановить его должно, но это вполне возможно при мирных отношениях с Германией. „Что касается немецкого засилья в области нашей экономической жизни, то едва ли это явление вызывает те нарекания, которые обычно против него разлагаются. Россия слишком бедна капиталами и промышленною предприимчивостью, чтобы могла обойтись без широкого притока иностранных капиталов. Поэтому известная зависимость от того или другого иностранного капитала неизбежна для нас до тех пор, пока промышленная предприимчивость и материальные средства русского населения не разовьются настолько, что дадут возможность совершенно отказаться от услуг иностранных предпринимателей и их денег. Но пока мы в них нуждаемся, немецкий капитал выгоднее для нас, чем всякий другой. Прежде всего этот капитал из всех наиболее дешевый, как довольствующийся наименьшим процентом предпринимательской прибыли. Этим, в значительной мере, и объясняется сравнительная дешевизна немецких произведений и постепенное вытеснение английских товаров с мирового рынка. Меньшая требовательность, в смысле рентабельности немецкого капитала, имеет своим последствием то, что он идет на такие предприятия, на которые, по сравнительной их мелкой доходности, другие иностранные капиталы не идут. Вследствие той же относительной дешевизны немецкого капитала, прилив его в Россию влечет за собою отлив из России меньших сумм предпринимательских барышей, по сравнению с английскими или французскими, и, таким образом, большое количество русских рублей остается в России. Мало того, значительная доля прибылей, получаемых на вложенные в русскую промышленность германские капиталы, и вовсе от нас не уходит, а проживается тут же, в России; в отличие от английских или французских, германские капиталисты большею частью и сами со своими капиталами переезжают в Россию. Этим их свойством в значительной степени и объясняется поразжающая нас многочисленность немцев-промышленников, заводчиков и фабрикантов, по сравнению с англичанами или французами. Те сидят себе за границей, до последней копейки выбирая из России вырабатываемые их предприятиями барыши. Напротив того, немцы-предприниматели подолгу проживают в России и нередко там оседают навсегда. Что бы ни говорили, но немцы, в отличие от других иностранцев, скоро осваиваются в России и быстро русеют. Кто не видал, например, французов и англичан, чуть не всю жизнь проживающих в России и, однако, ни слова по русски не говорящих? Напротив того, много ли видно в России немцев, которые хотя бы с акцентом, ломанным языком, но все же не объяснялись по русски? Мало того, кто не видал чисто русских людей, православных, до глубины души преданных русским государственным началам,—и однако, всего в первом или втором поколении происходящих от немецких выходцев?“

Мало того, германское „засилье“ уж потому не опасно, что Германия прямо заинтересована в поддержании производительных сил России, „в качестве постоянного, хотя, разумеется, не бескорыстного посредника в нашей внешней торговле“. Наконец, если даже угодно

искоренять немецкое засилье, — искореняйте, но воевать для этого вовсе не нужно. Эта война потребует таких огромных расходов, которые во много раз превысят более, чем сомнительные выгоды, полученные нами вследствие избавления от немецкого засилья. Мало того, последствием этой войны окажется такое экономическое положение, перед которым гнет германского капитала покажется легким. Ведь не подлежит сомнению, что война потребует расходов, на много превышающих ограниченные финансовые ресурсы России. Придется обратиться к кредиту союзных и нейтральных государств, а он будет оказан, разумеется, не даром. Не стоит даже говорить о том, что случится, если война окончится для нас неудачно. Финансово-экономические последствия поражения не поддаются ни учету, ни даже предвидению и, без сомнения, отразятся полным развалом всего нашего народного хозяйства. Но даже победа сулит нам крайне неблагоприятные финансовые перспективы. Вконец разоренная Германия не будет в состоянии возместить нам понесенные издержки. Продиктованный в интересах Англии мирный договор не даст ей (Германии) возможности экономически оправиться настолько, чтобы даже впоследствии покрыть наши военные расходы. То немногое, что, может быть, и удастся с нее урвать, придется делить с союзниками, и на нашу долю придется ничтожные, сравнительно с военными издержками, крохи. А между тем военные займы придется платить не без прижима со стороны бывших союзников. Ведь, после крушения германского могущества, мы уже более не будем им нужны. Мало того, возросшая, вследствие победы, политическая наша мощь побудит их ослабить нас хоть экономически. И вот, неизбежно, даже после победоносного окончания войны, мы попадем в такую финансовую и экономическую кабалу к нашим кредиторам, по сравнению с которой теперешняя зависимость от германского капитала покажется идеалом“.

Такова точка зрения П. Н. Дурново на союз с Англией и последствия этого союза для России. Мы видим, что в противоположность, напр., князю Голицыну, автору много нагумевшей в конце восьмидесятых годов брошюры против франко-русского союза, П. Н. Дурново ценит франко-русский союз, как благую причину устойчивости европейского равновесия, — опасается же лишь вступления в этот союз еще Англии. Он боится войны, — но слабая сторона его рассуждений заключается в нежелании признать, что если конфликт Англии с Германией, в самом деле, неизбежен, то России, так или иначе, не дадут остаться нейтральной, а втянут ее в войну. Значит, выбирать нужно будет не между войной или миром, но между одной войною (против Германии) или другою войною (против Англии и Японии). Иногда он как будто подходит к этому щекотливому пункту (и неясно мимоходом намекает на союз с Германией), — но окончательного вывода не делает. Его провидательность почти во всем, что он говорит о вероятной группировке держав, беспорочна: сильна его критика, направленная против модных в 1914 году воплей против немецкого засилья; убедительны указания на нецелесообразность и бесплодность для России возможной победы, на тяжкие экономические последствия войны при всяком исходе. Характерно очевидное убеждение, что, в случае поражения, Германии предстоит разгром и ей придется принять продиктованный Англией мир. С другой стороны, дилетантски сказывается в легкомысленном утверждении, будто Германия „не нужна война“. Нет, с точки зрения подавляющей массы

юнкерства и индустриальных магнатов, война была нужна Германии. Правильно или нет было это их убеждение, но оно сыграло огромную роль в 1914 году. Если бы П. Н. Дурново ознакомился с обширнейшей публицистической пропагандой в пользу войны с Россией, которая велась в Германии с 1908—1909 г.г. и, все усиливаясь с каждым годом, дошла до особого напряжения в 1911—1912 г.г., он бы не решился утверждать, что Германии война не представлялась нужной. Он мог ставить вопрос так: Россия неподготовлена, слаба и может погибнуть, если будет воевать с Германией; поэтому должно предпослать войне все, что угодно, даже полную покорность германской воле, даже войну с Японией и Англией. С этим многие могли бы спорить, и в пользу этого решения Дурново мог бы найти те или иные аргументы; во всяком случае, постановка вопроса была бы реальной. Он мог, наконец, указывать на неуместную и опасную агрессивность русской дипломатии (и указывал), — и тут его позиция была сильна. Но давать такую альтернативу: или все блага нейтралитета, или опасное участие в войне, — он не имел никакого основания. Как полемический прием, это было сильно; как исторический анализ, — это было недопустимо слабо. Мир зависел не только от России, но и от Германии.

П. Н. Дурново, как это явствует между строк, предвидит поражение России. Все, что он пока говорил в своей записке, есть лишь долгое введение к нескольким заключительным страницам. В этих заключительных страницах он говорил о последствиях войны для внутренних дел России.

III.

Отмечу, прежде всего, что Дурново в оценке влияния будущей войны на внутренние дела вполне сходится со своим политическим антиподом — Фридрихом Энгельсом: он тоже думает, что страну, потерпевшую разгром, непременно, в наш исторический период, должна постигнуть социальная революция. Для него, как и для Энгельса, в данном случае никаких сомнений не существует. Любопытно, что он считает в России революцию весьма вероятной, даже если побеждена будет не Россия, а Германия: он верит в возможность взрыва путем, так сказать, детонации, в результате чужого соседнего взрыва. Что в России уж безусловно революция будет непременно социальной, а не политической, в этом он тоже несколько не сомневается.

Как бы печально, однако, ни складывались экономические перспективы, открывающиеся нам, как результат союза с Англией, следовательно, и войны с Германией, они все же отступают на второй план перед политическими последствиями этого, по существу своему, противостественного союза. Не следует упускать из вида, что Россия и Германия являются представителями консервативного начала в цивилизованном мире, противоположного началу демократическому, воплощаемому Англией и, в несравненно меньшей степени, Францией. Как это ни странно, Англия, до мозга костей монархическая и консервативная дома, всегда во внешних своих сношениях выступала в качестве покровительницы самых демагогических стремлений, неизменно потворствуя всем народным движениям, направленным к свержению монархий и законного строя. С этой точки зрения, борьба

между Германией и Россией, независимо от ее исхода, глубоко нежелательна для обеих сторон, как несомненно сводящаяся к ослаблению мирового консервативного начала, единственным надежным оплотом которого являются названные две великие державы. Более того, нельзя не предвидеть, что, при исключительных условиях идущей мировой войны, таковая, опять таки независимо от ее исхода, представит смертельную опасность и для России, и для Германии. По глубокому убеждению, основанному на тщательном изучении всех современных противогосударственных течений, в побежденной стране неминуемо разразится социальная революция, которая, силою вещей, перекинется и в страну-победительницу. Слишком уж многочисленны те каналы, которыми, за много лет мирного их сожителства, незримо соединены обе страны, чтобы коренные социальные потрясения, разыгравшиеся в одной из них, не отразились бы и в другой. Что эти потрясения будут носить именно социальный, а не политический характер, — в том не может быть никаких сомнений, и это не только в отношении России, но и в отношении Германии. Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедывают принцип бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность русского общества, столь же бессознательную, как и социализм широких слоев населения, политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно выродится в социалистическое.

П. Н. Дурново так же глубоко верит в бессознательный социализм народных масс, как и в то, что русские оппозиционные партии совсем этого факта не учитывают и не понимают. „За нашей оппозицией нет никого; у нее нет поддержки в народе, не видящем никакой разницы между правительственным чиновником и интеллигентом. Русский пролетариат, крестьянин и рабочий, одинаково не ищет политических прав, ему ненужных и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужою землею, рабочий о передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта, а дальше этого их возжелания не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозвратно допустить агитацию в этом направлении, Россия неизбежно будет ввергнута в анархию, переживающую ею в приснопамятный период смуты 1905—1906 годов. Война с Германией создаст исключительно благоприятные условия для такой агитации. Как уже было отмечено, война эта чревата для нас огромными трудностями и не может оказаться триумфальным шествием в Берлин. Неизбежны и военные неудачи, — будем надеяться, частичные, — неизбежно окажутся и те или другие недочеты в нашем снабжении. При исключительной нервности нашего общества этим обстоятельствам будет придано преувеличенное значение, а при оппозиционности этого общества, все будет поставлено в вину правительству. Хорошо, если это последнее не сдастся и стойко заявит, что во время войны никакая критика государственной власти недопустима, и решительно пресечет всякие оппозиционные выступления. При отсутствии у оппозиции серьезных корней в населении этим дело и кончится. Не пошел в свое время народ за составителями Выборгского воззвания, точно так же не пойдет он за ними и теперь. Но может случиться и худшее: правительственная власть пойдет на уступки, попробует войти в соглашение с оппозицией и этим ослабит себя к моменту

выступления социалистических элементов. Хотя это и звучит парадоксом, но соглашение с оппозицией в России безусловно ослабляет правительство. Дело в том, что наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой реальной силы она не представляет. Русская оппозиция сплошь интеллигентна и в этом ее слабость, так как между интеллигенцией и народом у нас глубокая пропасть взаимного непонимания и недоверия. Необходим искусственный выборный закон, мало того, нужно еще и прямое воздействие правительственной власти, чтобы обеспечить избрание в Государственную Думу даже наиболее горячих защитников прав народных. Откажи им правительство в поддержке, предоставь выборы их естественному течению, и законодательные учреждения не увидели бы в стенах своих ни одного интеллигента, помимо нескольких демагогов. Как бы ни распылялись о народном доверии к ним члены наших законодательных учреждений, крестьянин скорее поверит безземельному, казенному чиновнику, чем помещику-октябристу, заседающему в Думе; рабочий с большим доверием отнесется к живущему на жалованье фабричному инспектору, чем к фабриканту-законодателю, хотя бы тот исповедывал все принципы кадетской партии. Более чем странно при таких условиях требовать от правительственной власти, чтобы она серьезно считалась с оппозицией, ради нее отказалась от роли беспристрастного регулятора социальных отношений и выступила пред широкими народными массами в качестве послушного органа классовых стремлений интеллигентско-имущего меньшинства населения. Требуя от правительственной власти ответственности пред классовым представительством и повиновения ей же искусственно созданному парламенту (вспомним знаменитое изречение: „власть исполнительная, да подчинится власти законодательной“), наша оппозиция, в сущности, требует от правительства психологии дикаря, собственными руками мастеращего идола и затем с трепетом ему поклоняющегося“.

И. Н. Дурново настаивает, что революционное социалистического характера движение неизбежно в России, даже если война будет победоносна: „Если война окончится победоносно, усмирение социалистического движения, в конце концов, не представит затруднений. Будут аграрные волнения на почве агитации за необходимость вознаграждения солдат дополнительной нарезкою земли, будут рабочие беспорядки при переходе от вероятно повышенных заработков военного времени к нормальным расценкам, и, надо надеяться, только (тут явный пропуск слов. Е. Т.)... по крайней мере, пока не докатится до нас волна германской социальной революции“.

Не то ждет страну в случае проигранной войны: „Но в случае неудачи, возможность которой при борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть,—социальная революция, в самых крайних ее проявлениях, у нас неизбежна. Как уже было указано, начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная против него кампания, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения, сначала черный передел, а за сим и общий раздел всех ценностей и имуществ. Победенная армия, лишившаяся к тому же за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей ее части стихийно общим крестьянским

стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишённые действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдерживать расхолодившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению“.

Развивая несколько ранее выставленное положение, что и в Германии, в случае неудачи, социальная революция неизбежна, П. Н. Дурново пишет: „Как это ни странно может показаться на первый взгляд, при исключительной уравновешенности германской природы, по и Германии, в случае поражения, предстоит пережить не меньшие социальные потрясения. Слишком уже тяжело отразится на населении неудачная война, чтобы последствия ее не вызвали на поверхность, глубоко скрытые сейчас, разрушительные стремления. Своеобразием общественный строй современной Германии построен... [пропуск слов. Е. Т.], но фактически преобладает влияние аграризма, прусского юнкерства и крестьян-собственников. Эти элементы являются оплотом глубоко-консервативного строя Германии, под главенствующим руководством Пруссии. Жизненные интересы перечисленных выше классов требуют покровительственной по отношению к сельскому хозяйству экономической политики, высоких пошлин на хлеб и, следовательно, высоких цен на все сельскохозяйственные произведения. Но Германия, по ограниченности своей территории и возрастанию населения, давно уже из страны земледельческой превратилась в страну промышленную, а потому покровительство сельскому хозяйству сводится, в сущности, к обложению в пользу меньшей по численности половины населения — большей половины. Компенсацией для этого большинства и является широкое развитие вывоза произведений германской промышленности на отдаленнейшие рынки, дабы извлекаемые этим путем выгоды давали возможность промышленникам и рабочему населению оплачивать повышенные цены на потребляемые дома продукты сельского хозяйства. С разгромом Германии она лишится мировых рынков и морской торговли, ибо вся цель войны — со стороны действительного ее затинщика, Англии — это уничтожение германской конкуренции. С достижением этой цели германская промышленность будет подорвана в своем корне и лишится не только повышенного, но и всякого заработка; пострадавшие за время войны и, естественно, озлобленные рабочие массы явятся восприимчивой почвой противуаграрной, а затем антисоциальной пропаганды социалистических партий. В свою очередь эти последние, учитывая оскорбленное патриотическое чувство и накопившиеся вследствие проигранной войны народное раздражение против обманувших надежды населения милитаризма и феодально-бюргерского строя, свернут с пути мирной эволюции, на котором они до сих пор так стойко держались, и станут на чисто революционный путь. Сыграет свою роль, в особенности, в случае социалистических выступлений на аграрной почве в соседней России, и многочисленный в Германии безземельный класс сельскохозяйственных батраков. Независимо от сего оживятся таившиеся сейчас сепаратистские стремления в южной Германии, проявятся во всей своей полноте затаенная враждебность Баварии к господству Пруссии, — словом, создастся такая обстановка, которая мало чем будет уступать, по своей напряженности, обстановке в России“.

„Совокупность всего вышеназванного не может не приводить к заключению, что сближение с Англией никаких благ не сулит, и английская ориентация нашей дипломатии, по самому существу, глубоко ошибочна. С Англией нам не по пути; она должна быть представлена своей судьбе, и ссориться из-за нее с Германией нам не приходится. Тройственное согласие — комбинация искусственная, не имеющая под собою почвы общих интересов, и будущее принадлежит не ей, а несравненно более жизненному тесному сближению — России, Германии, примиренной с последней — Франции и связанной с Россией строго охранительным союзом Японии. Такая, лишенная всякой агрессивности, по отношению к прочим государствам, политическая комбинация на долгие годы обеспечит мирное сожительство культурных наций, которому угрожают не воинственные замыслы Германии, как силится доказать английская дипломатия, а лишь вполне естественное стремление Англии во что бы то ни стало удержать ускользающее от нее господство над морями. В этом направлении, а не в бесплодных исканиях почвы противоречащего, по самому своему существу, нашим государственным видам и целям соглашения с Англией и должны быть сосредоточены все усилия нашей дипломатии. При этом само собою разумеется, что и Германия должна пойти на встречу нашим стремлениям и восстановить испытанные дружественные, союзные с нею отношения и выработать, по ближайшему соглашению с нами, такие условия нашего с нею сожительства, которые не давали бы почвы для противогерманской агитации со стороны наших конституционно-либеральных партий, по самой своей природе, вынужденных придерживаться не консервативно-германской, а либерально английской ориентации“.

IV.

Такова записка П. И. Дурново. Рядом с мыслями, отмеченными печатью большой аналитической силы, рядом с исполнившимися впоследствии пророчествами, мы видим тут (в заключительной, важнейшей части) повторение той же ошибки, которую констатировали и в начале. Теперь уже после публикации документов комиссией Каутского, после опубликования 3-го тома мемуаров Бисмарка, после обнародования других показаний, все германское общественное мнение (за вычетом крайних предков, не желающих видеть) согласно, что Вильгельм II нанес смертельный удар русско-германским дружеским отношениям, отказавшись от возобновления с Россией так называемого *Rückversicherungsvertrag*, обеспечивавшего за каждой из этих стран — нейтралитет другой в случае нападения со стороны какой-либо третьей державы. Основная идея последних лет Вильгельмовского царствования пред войной определенно заключалась в стремлении использовать слабость России для укрепления Германии на востоке. Поэтому звучат некоторым прекраснодушием мечты П. И. Дурново о русско-германско-французско-японском союзе, будто бы зависящем от воли русской дипломатии... Именно эту идею, этот четверной союз пропагандирует теперь Георг Бернгард, редактор „*Vossische Zeitung*“, и с таким же пока незаметным успехом.

Разве позволительно, наконец, серьезному политику отделиваться беглой придаточной фразой от самой страшной язвы, подтачивавшей полвека мир Европы? Союз Германии и „Франции, примиренной с

Германией"! Как было их примирить? Эту интересную деталь П. Н. Дурново предпочел обойти молчаньем. Но необычайно сильны его предостережения по адресу русской дипломатии. Он твердо знал, что все эти дипломатические узоры вырисовываются на кратере, который все сожжет и зальет лавою. Он понимал, какое непозволительное, гибельное дело—прогуливаться со спичкою в пороховом погребе, агитируя в „подъяремной Галиции“, когда в своем завтрашнем дне нельзя быть уверенным. Он, правда, сам всю жизнь только тем и занимался, что затыкал все отдушины, но за то и понимал, что теперь котел близок к взрыву.

Характерна для него, кстати, безмятежнейшая уверенность в чужих ошибках и собственной непогрешимости. Совершенно верно, „в России соглашение с оппозицией только ослабляет правительство“; но кто же виноват, поскольку это, вообще, зависело от воли людей, что были непроизводительно пропущены все сроки, те долгие десятилетия, когда еще не поздно было „соглашаться“ с оппозицией? Кто, как не Д. А. Толстой, Ив. Н. Дурново, П. Н. Дурново и целая плеяда той же школы?

П. Н. Дурново, во всяком случае, был, с своей точки зрения, логичнее тех, кто делал одинаковую с ним внутреннюю политику, а в международных отношениях бряцал оружием и размышлял вслух о грядущей победе славянства над германизмом и т. д., и т. д. Анализ русских и германских революционных возможностей свидетельствует о силе понимания. То место, где он говорит о волнах движения, с которыми уже не справятся законодательные учреждения, живо напоминает слова Монтеня о том, что люди, начинающие и поднимающие бурю, никогда сами не пользуются ее результатами. Она именно их первых и сметает прочь. В афоризме французского скептика XVI-го века и в пророчестве русского реакционера XX-го века заложена одна и та же мысль.

Е. Тарле.

Мои воспоминания.

1. При царизме¹⁾.

1913 г. мне пришлось прожить нелегально. В 1912 г., в октябре месяце, накануне выборов в 4-ю (последнюю) Государственную Думу, охранка неожиданно нагрянула на квартиру по Успенской улице в Одессе и дисвидировала группу членов Центрального Комитета Бунда проживавших тогда в Одессе: Л. И. Айзенштадта (Юдина), меня и М. Фрумкин (Эстер), которая в Ц. К. не входила. Мы были делегированы в Одессу для двойного рода задач Ц. К. Бунда: с одной стороны, нам поручено было организовать издание легального органа, вместо незадолго до того закрытого в Варшаве „Лебенсфраген“; с другой стороны мы должны были участвовать в местной избирательной кампании в Гос. Думу. Выборы в Одессе и агитация вокруг кандидатуры с. д. Романовского увлекли всех нас²⁾. Наши выступления и встречи, повидимому, привлекли к нам внимание одесского охранного отделения и в результате последовал арест. Дело разрешилось легко в порядке административном, и я был выслан за границу на три года.

Выехав туда в феврале 1913 года, я в марте вернулся обратно, поселился в Петрограде и работал в легальном бундовском органе „Дие Цайт“ пока чины петроградской охранки не задержали меня на улице. Департамент полиции увеличил срок наказания вместо 3-х лет до 4-х и, вместо высылки за границу, назначил мне для поселения Нарымский край.

В январе 1914 г., я прибыл в Нарымский край, провел два месяца в селе Парабети и бежал последним санным путем.

В это время Бунд готовился к своему VIII-му съезду. 18-го июня 1914 г. я выехал за границу для участия в съезде, а 19-го июля началась всемирная война. Съезд Бунда, конечно, состояться не мог, и

¹⁾ Настоящие воспоминания относятся к „меньшевистскому“ периоду моей политической деятельности и написаны в мае 1918 года. Опубликованы они были в 1919 году в сборнике „Дер Ройтер Цинкес“ (на евр. яз.). На страницах „Былого“ они воспроизводятся лишь с небольшими редакционными изменениями. Автор.

²⁾ Эта кандидатура была скорее большевистской и намечена была после долгих трений между местными группами большевиков и меньшевиков при содействии Юдина (Айзенштадта), тогда более сочувствовавшего большевикам. Правда, была намечена компромиссная платформа с уступками платформе августовского меньшевистского блока.

я остался за границей, сначала в Женеве, а затем в Лондоне, где редактировал двухнедельник „Дес Арбеттер Ворт“, выпускаемый еврейской социал-демократической организацией. В России работала в это время небольшая группа членов Ц. К. Бунда, в том числе Либер и Эрлих — будущие члены Исполнительного Комитета Совета Рабочих, а позднее Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

В мае 1915 г. в Лондоне получено было известие об аресте Либера в Одессе. Меня приглашали в Россию; 28-го мая ст. ст. по чужому паспорту, на имя некоего Левина, я проехал морем путь Нью-кестль—Берген, пересек финляндскую границу и прибыл в Петроград.

1915 и 1916 г.г. я проживал по паспорту на имя Льва Мойсеевича Вайсценберга. Я жил в Киеве, Петрограде, разъезжал по провинции. В Петрограде я занимал должность в еврейской общественной организации. По фальшивому документу получил право жительства, чувствовал себя весьма свободно, участвовал в общественных организациях, выступал на собраниях и в то же самое время поддерживал активную связь с партийной нелегальной организацией Бунда, с одной стороны, и с нелегальными органами общего рабочего движения, с другой.

Это была пора организации военно-промышленных комитетов и рабочих групп в них. Происходил целый ряд совещаний, съездов в Киеве, Москве, Петрограде. Рабочая группа военно-промышленного комитета в Петрограде с ее лидерами и вождями Гвоздевым и Брейда, выдвигалась в центр этого движения. По своей идеологии, это была группа так называемого „революционного оборончества“, воззрения которой формировались постепенно и окончательно сложились лишь к самому моменту подготовлявшихся революционных бурь.

Работа Бунда за этот период велась также вокруг легальных центров еврейского общественного движения. В то же время складывались и партийные ячейки в ряде городов — Киеве, Житомире, Екатеринославе, Одессе, Харькове. Связи со старыми центрами Бунда — Вильной, Варшавой, Лодзью, Белостоком — были механически прерваны русско-германским фронтом. Происходили бундовские партийные совещания. Бундовцы выступали на легальных съездах еврейских общественных организаций, как организованная общественная группа. Особое внимание еврейских общественных кругов в это время привлекло организованное выступление Бунда на съезде еврейских бюро труда в январе 1916 г.

К этому же времени относится и зарождение разногласий среди деятелей Бунда в оценке значения этих еврейских общественных организаций как в деле развития общественной революционной самостоятельности, так и в приближении решения национального вопроса. Спор сводился к тому, в какой мере эти еврейские общественные организации, возникшие в связи с беженством, сумеют послужить фундаментом для образования еврейских демократических общин, как ячеек будущей национально-культурной автономии. Споры эти связаны были с большим в Бунде вопросом о пределах и компетенции еврейской национальной автономной организации в связи с намечавшимся уже давно, некоторым пересмотром программы Бунда по этому пункту. Особенно обострился этот спор, благодаря постановке в порядок дня вопроса об американском, а потом всемирном еврейском конгрессе, который должен был вмешаться в дела борьбы за гра-

жданское и национальное равноправие еврейского народа во всех местах, где он живет в компактных массах, т. е., главным образом, в царской России. В общественной жизни нарастало оживление.

Лишившись права жительства в Петрограде, я поселился в Киеве и имел неосторожность снять общую квартиру с женой, которая проживала по паспорту Рафес, в то время, как я жил по паспорту Вайсенберга. Это обстоятельство привлекло внимание охранки. В сентябре 1916 года к дворнику пожаловали чины киевской охранки, проявившие большой интерес к паспорту и к личности Вайсенберга, проживающего с некоей Рафес. Их неосторожность меня спасла: к ночи меня дома уже не оказалось, благодаря предупредительной болтливости дворника. Полиция ушла с носом.

Впоследствии выяснилось, что внимание охранки было привлечено паспортом Вайсенберга, по коему под Киевом в лечебнице в Пуше-Водице проживал некий другой, вероятно, действительный владелец паспорта, потерявший ногу во время войны. При разборе актов киевского охранного отделения уже после революции была обнаружена переписка по делу об этом обыске: особой телеграммой предписывалось разыскивать Рафеса во всех крупных центрах. Одно охранное отделение (самарское) доносило, что Рафес подготавливает вместе с другими покушение на вдовствующую царицу Марию Федоровну, — чистойшей воды фантазия.

Я поселился снова в Петрограде. К этому моменту общественно-политическая жизнь стала уже проявлять большие признаки внешнего оживления. Это было в ноябре 1916 г. Оппозиционные выступления Гос. Думы с известной речью Милюкова — „глупость или измена“, — дело Распутина, городской и земский съезды, съезды военно-промышленных комитетов и происходившие одновременно с ними совещания рабочих групп, — все это были несомненные признаки нарастающего общественного возбуждения. На последнем совещании рабочих групп военно-промышленных комитетов было впервые сформулировано требование свержения царской власти и образование временного правительства. Это решение, конечно, не могло не привлечь усиленного внимания департамента полиции к деятельности рабочих групп вообще, к петроградской группе в особенности.

Растущее возбуждение в рабочих кругах Петрограда создавало для рабочей группы военно-промышленного комитета возможность собирать вокруг себя все большее и большее количество представителей фабрик и заводов и рабочих профессиональных и кооперативных организаций. Зал заседания рабочей группы военно-промышленного комитета (на Литейном, 46) привлекал в иные вечера до 500 рабочих. При условиях военного положения и полулегальности всех этих заседаний, эти совещания, конечно, играли огромную будирующую роль для рабочих масс Петрограда. Но в то же время внутри рабочего движения нарастали все больше и больше острые разногласия между позицией „революционного оборончества“ рабочих групп военно-промышленных комитетов и антивоенными настроениями рабочего населения больших городов. Внутри петроградской организации меньшевиков намечался совершенно определенный раскол и во время этих больших рабочих собраний на Литейном, 46, Гвоздев и Брейдо, недавние члены петроградского комитета Р. С. Д. Р. П. меньшевиков, подвергались обстрелу с двух сторон — со стороны группы большевиков, которые являлись на эти собрания для агитации за свои

лозунги, и со стороны бывших сотоварищей Гвоздева и Брейдо, которые повторяли, вслед за большевиками, обвинения в предательстве интересов рабочего класса, в соглашательстве с буржуазией и т. д., и т. д. Споры принимали крайне страстный характер и, несомненно, мешали мобилизации сил рабочего движения вокруг рабочей группы центрального военно-промышленного комитета.

На 10-е февраля 1917 г. назначено было открытие Гос. Думы, распущенной в декабре на рождественские каникулы. Можно было заранее сказать, что эта сессия Гос. Думы будет играть еще более будирующую роль. Необходимо было придать больше решительности действиям и выступлениям либеральной оппозиции в Думе. Необходимо было и рабочую массу сдвинуть с мертвой точки. И вот, в рядах деятелей рабочей группы военно-промышленного комитета и группировавшихся вокруг этих групп социал-демократов (соц.-революционеров) было крайне мало, всего только одиночки) возникла мысль об организации массовой рабочей демонстрации к зданию Гос. Думы — к моменту ее открытия. Это предположение, в свою очередь, вызвало очень острые разногласия, особенно с большевиками, которые и слышать не хотели о завязывании какой бы то ни было революционной борьбы вокруг выступлений Гос. Думы.

Правительство серьезно считалось с революционными настроениями в среде рабочей группы военно-промышленного комитета, и когда оно увидело, что резолюция последнего совещания рабочих групп о необходимости образования временного правительства может быть поддержана даже массовыми выступлениями рабочего класса, департаментом полиции было принято решение о ликвидации рабочих групп.

В конце января (точно даты не помню) дом на Литейной, 46, был окружен большим отрядом полиции. Члены рабочей группы военно-промышленного комитета были арестованы и препровождены в „Кресты“. На свободе остались Гвоздев и Абросимов. Что касается Гвоздева, то, когда к нему ночью явились на квартиру чины полиции, он сказался больным и отказался следовать в тюрьму. К нему был приставлен караул. На завтра председатель военно-промышленного комитета Коновалов, этот будущий министр торговли временного правительства, вступился за Гвоздева, будущего тов. министра труда коалиционного правительства, и Гвоздев так и не был препровожден в тюрьму. Он остался под домашним арестом, имея полную возможность поддерживать связи с рабочими организациями и деятелями. Абросимов свое пребывание на свободе объяснил удивленным товарищам тем, что жандармы не нашли его дома во время общего ареста членов рабочей группы. Но впоследствии дело оказалось гораздо проще: Абросимов находился на службе в департаменте полиции и был впоследствии разоблачен при первом опубликовании списков провокаторов.

Арест рабочей группы дезорганизовал подготовительную работу по предполагавшемуся массовому выступлению в день открытия Гос. Думы. Одновременно с ликвидацией в Петрограде была ликвидированна рабочая группа военно-промышленного комитета и в Москве, и в других центрах. Правительство как бы выравнивало формы рабочего движения, толкая рабочий класс на путь, единственно оставшийся для него, — на путь открытого революционного выступления.

Меня арестовали спустя неделю после ареста рабочей группы в

обстаповке, не имеющей связи с ликвидацией рабочих групп. На 2 с февраля в зале еврейской богадельни в Петрограде (на В. О., 5 л., 50) происходило публичное заседание „Еврейского Общества изучения литературы“, на котором должны были продолжаться прения по вопросу об отношении к еврейскому конгрессу в Америке. Официально в заявлении градоначальнику о собрании была подана другая, гораздо более невинная повестка из области литературы и искусства. Первый вечер, за неделю до ареста, прошел весьма интересно и крайне бурно. Выступали представители всех политических течений. Позицию Бунда формулировал Эрлих очень ярко и определенно. На этом первом вечере представитель полиции не присутствовал.

Закрывая первое собрание, председатель его огласил список не успевших высказаться ораторов, среди коих значился и я, Вайсенберг, предполагавший формулировать иной оттенок отношения Бунда к американскому конгрессу. Как потом выяснилось, начальник охранного отделения получил очень точные сведения обо всем происходившем на этом первом собрании. То же лицо, которое осведомило об этом петроградскую охранку (есть основание думать, что это был впоследствии разоблаченный провокатор — еврейский литератор Верхифанд), и сообщило охранке о том, что я, Вайсенберг Рафес, также участвую в этих собраниях и должен выступить 2-го февраля.

И на собрание 2-го февраля был делегирован чин полиции, пристав данного участка, который сидел на собрании и внимательно наблюдал за всем происходившим. Но само собою разумеется, что внезапное появление пристава в зале дало совсем иное направление всем прениям на этом собрании. Говоривший оратор при входе пристава в зал неожиданно перешел от своей темы об американском еврейском конгрессе к невинным разговорам об еврейской литературе, о ее художественных красотах и т. д. После этого оратора выступил следующий, также говоривший о художественных красотах еврейской литературы. Зал понимал разыгравшуюся комедию и вел себя сдержанно и осторожно. Пристав ничего не понимал, остался очень доволен проведенным вечером, и, когда после закрытия собрания он прощался с председателем, он долго ждал ему руку и искренно благодарил за то удовольствие, которое он получил в этот вечер. „Евреи, — говорил он, — умеют разумно проводить время“.

Но, одновременно с этим, приставом к зданию, где происходило собрание, был направлен отряд тайных агентов полиции. Когда я вышел из залы собрания, мое внимание привлекли несколько странных типов, внимательно следивших за всеми выходившими из здания богадельни. Со своей приятельницей я направился к трамваю. При посадке в вагон я обратил внимание на то, что вместе со мною в вагон вошло человек пять подозрительных личностей, одни с передней, другие — с задней площадки. Разместились они в вагоне около меня и моей спутницы и внимательно за нами наблюдали. Я понял, что я арестован.

Передавая моей спутнице имевшийся при мне пакет с сахаром и мелух пожаловавшийся на головную боль, я вышел на площадку. Дело в том, что у меня в кармане были некоторые серьезные документы, которые могли бы служить основанием для возбуждения дела по 102 ст.: подлинной лист, имевший заголовок и штампель комитета Бунда, по которому на вечере в богадельне производился сбор в пользу бастовавших тогда в Нижнем-Новгороде еврейских рабочих ще-

тиняников, и др. подозрительные бумаги. Под взглядами „шпиков“ мне удалось все эти бумаги выбросить на улицу. Но когда, выполнив эту операцию, я хотел вернуться обратно в вагон, один из „шпиков“ заявил, что я арестован. У нас произошла с ним перепалка, — я отказался добровольно следовать за ними, но был взят за руки и выведен из трамвая, когда он остановился у набережной Тучкова моста. Тут произошел любопытный инцидент. Я увидел моряка-солдата и обратился к нему с жалобой на шпииков, которые хватают на улице людей. Не долго думая, матрос взялся за кортик и стал в грозном тоне требовать от шпииков моего освобождения. Но тут явился полицейский и матросу пришлось ретироваться. На извозчике целых пять шпииков сопровождали меня в охранное отделение на Митинскую набережную.

Здесь я просидел целых две недели. Почему меня не переводили в тюрьму, для меня было совершенно непонятно. Жандармы долго добивались у меня моего настоящего местожительства, вели со мною бесконечные беседы на самые разнообразные темы. Я писал жалобы, требовал перевода в более усовершенствованное тюремное учреждение. Одно время мне начинало казаться, что мое пребывание в охранке имеет целью изолировать меня от каких-то других, по тому же делу арестованных лиц. Но впоследствии это предположение оказалось неверным.

Во время разговоров со мною чинов охраны один из них, по-видимому, не самый „умный“, решил выполнить свою миссию до конца и сделал мне, наконец, „предложение“ поступить на службу в охранное отделение. Я ему на это указал, что в моей долгой практике мне известны два случая, как революционеры реагировали на подобные предложения: один бросил в жандармского офицера табуреткой, а другой назвал его дураком, — потому что, действительно, глупо, закончил я, обвиняемому в принадлежности к Центральному Комитету Партии делать такого рода предложения.

Этот офицер, чин о дельного корпуса жандармов, в эти последние недели старого строя, твердо верил в прочность государственной власти. Он искренно недоумевал, когда я ему заявлял, что не пройдет и нескольких месяцев, как объявлена будет полная амнистия по всем политическим делам, — последнее жандармский ротмистр считал совершенно невозможным.

Пребывание в арестантской при охранном отделении имело свои положительные стороны. Состав арестованных был весьма текучий, сюда доставляли для первых допросов самых разнообразных лиц, арестовывавшихся по ордерам охранного отделения. Наблюдая сквозь щель и прислушиваясь сквозь перегородку к тому, что происходило в соседних комнатах, я мог восстановить почти полную картину всего того, что происходило в городе.

А в городе между тем события нарастали. Приближалось слушание дела военного министра Сухомлинова, наступало 10-е февраля, день открытия Гос. Думы. Один из чинов полиции дежуривший при наших камерах, был очень недоволен существующим строем. Он каждый день приносил мне из города новости, читал вслух газету, при чем особенно волновало его отсутствие в эти дни в Петрограде хлеба.

10-го февраля, в день открытия Гос. Думы, в арестантскую были доставлены несколько десятков человек, задержанных в разных частях города, большей частью студентов и курсисток. От них я узнал,

что ходы к Таврическому дворцу были заняты войсками, которые никого туда не пропускали, задерживая подозрительных и вообще всякого, кто слишком настойчиво добивался пропуска к зданию Таврического дворца.

Числа 16-го февраля околоточный надзиратель на извозчике отвез меня, наконец, в Кресты. Он также был недоволен существующим положением вещей и рассказывал мне много волновавших его подробностей из процесса Сухомлинова.

Я прибыл, таким образом, в Кресты под впечатлением сведений о растущем недовольстве, которое грозило каждый день прорваться наружу.

2. Февральская революция. Освобождение из тюрьмы.

В тюрьме эти настроения рассеялись. Заключение в одиночной камере не располагает к оптимизму, меня же к тому еще посадили вместе с каким-то финном, сидевшим за контрабанду и произносившим лишь отдельные русские слова—соседство далеко не из интересных. Скучи ради мы занялись оба выделкой бумажных портсигаров. Плата за такую работу полагалась 10 коп. за тысячу. За две недели сидения в камере мы вдвоем заготовили 2000 шт., работая по нескольку часов в день и, таким образом, вместе заработали 20 коп. Единственным действительным развлечением были прогулки, на которые выпускали до 50 чел. одновременно. Оказалось, что в том самом коридоре, где был и я, сидели некоторые из числа арестованных членов рабочей группы военно-промышленного комитета. Мне на прогулках приходилось гулять вместе с двумя из них—Брейде и Трубициным, с которым я был знаком еще ранее. Ходить пужно было в „затылок“, по кругу; говорить запрещалось, но это, конечно, не мешало нам свободно вести разговоры.

25 февраля я и Брейде были в очерь минорном настроении. Для Брейде это был, по его словам, своеобразный юбилей: он вспоминал, что в 1906 году, в тот самый день, в этих самых Крестах, по этому самому двору, он в таком же порядке гулял. Это, повидимому, бесконечная канитель,—говорил Брейде. И вдруг издали из-за стен тюрьмы мы ясно слышали многоголосые крики „ура“. Крики эти привлекли общее внимание всех гуляющих, но выводов делать не хотелось. Мы все же недоумевали. С этого дня с каждым часом слухи в тюрьме все более и более росли, возбуждая политических и увеличивая тревня между ними и администрацией.

26 февраля группа политических отказалась подчиниться надзирателю, когда он требовал слишком раннего окончания прогулки. Произошла крупная перебранка, после чего пришлось все-таки уступить. В субботу были свидания у уголовных. Они узнали и быстро сообщили нам, что в Петрограде очень беспокойно, что в городе какие-то демонстрации, стреляют...

26 февраля на свиданиях политических мы узнали о начавшейся в городе политической забастовке. Вечером того же дня надзиратель, пришедший из города на смену, сообщил, что на Невском солдаты стреляли, что есть сотни убитых. Он же рассказывал о каких-то страшных сценах, происходивших в городе: ходят солдаты, а публика с

тротуаров обращается к ним с упреками: „стыдно“, на что они отвечают плачем.

27 февраля в 2 ч. во время несколько запоздавшего улучшенного обеда, на отдаленном коридоре тюрьмы раздался вдруг глухой выстрел,—мне показалось, что это выстрел из револьвера. Вслед за ним послышались стуки в дверь. На меня это произвело впечатление конфликта с администрацией. Вспомнив вчерашнюю перебранку между политическими и надзирателями на почве прогулки, я подумал, что это продолжение той же истории и, когда раздались стуки в дверь—обычный способ действий политических во время тюремных буптов, я решил было не присоединяться, не узнав предварительно, в чем дело, по какому поводу предпринято это совершенно, как мне казалось, неорганизованное выступление. Мой финн совершенно недоумевал. Я велел ему открыть форточку, чтобы убедиться, не происходит ли это столкновение за тюремной оградой, но на улице было тихо. Вот раздался второй выстрел, а продолжавшиеся стуки напоминали удары ружейным стволом о массивную деревянную дверь. Вскоре к этим стукам присоединился и наш коридор; тогда присоединился и я и также стал стучать в дверь. Мы все еще не понимали, что здесь происходит. Но вот снизу послышался голос: „кто здесь политические?—Выходи из камеры“. Никаких особых объяснений дальше уже не требовалось,—оставалось только вспомнить 17 октября 1905 года и имевшее тогда место освобождение из тюрьмы политических. За дверьми все чаще раздавался лязг ключей, одна за другой открывались двери. Наконец, открылась и моя дверь... Я был уже готов: собрал все вещи, связал их, оделся и ждал у дверей, когда они откроются. Первые лица, которые я увидел, были: солдат с винтовкой, стоявший у самой почти двери, и Брейде, спускавшийся мимо меня с верхнего этажа. Какой был вид у меня, я сказать не могу, но я никогда не видал лица более бледного, чем лицо Брейде в этот момент. Он мне сказал голосом, в котором было еще много недоумения: „это нас солдаты с ружьями освобождают“.

Освобождение политических шло между тем методически правильно.

Надзиратель со списком в руке открывал только те двери, в которых сидели политические. Внизу, при выходе, стоял начальник тюрьмы и каждого выходившего спрашивал, политический ли он или уголовный,—да и нетрудно было отличить по одежде. Мы пришли в тюремную коптуру, хотели получить хранившиеся в цейхгаузе ценные вещи и деньги. Начальник тюрьмы заявил, что в этой обстановке он выдавать денег и ценных вещей не может, так как за них отвечает, и советовал притти за всем этим на следующий день. Мы вышли на улицу.

На набережной около тюрьмы толпились освобожденные только что политические, солдаты и посторонняя публика. В разных углах стояли солдатские пикеты. Первое впечатление было—крайнего хаоса и беспорядочности. Политические целовались друг с другом, поздравляли солдат, целовались с ними. Были попытки речей. В-т мимо нас на двух грузовиках провозят большие запасы патронов. Солдаты остановили автомобили и стали расспрашивать офицеров, откуда везут, зачем везут и т. д. Офицеры давали им ответы, довольно не вразумительные. Выходило так, что это перевозят патроны и снаряды из одного оружейного склада в другой. Логика требовала задержки па-

тронов до выяснения, а между тем солдаты удовлетворялись этим ответом, и грузовики со снарядами и патронами были отпущены дальше. Среди публики, подошедшей к тюрьме, я увидел Абрисимова, который плакал, целуясь с освобожденными, им же преданными в руки охраны, членами рабочей группы. Среди других вышел из тюрьмы впоследствии один из лидеров м-ков Б. О. Богданов, член И. К. С. Р. и С. Д., арестованный вместе с рабочей группой, личность популярная среди петроградских рабочих, неизменный докладчик на собраниях в рабочей группе в И. Комитете. К нему обратились с просьбой произнести речь. Он был поднят на плечи и произнес несколько совершенно невразумительных слов, чувствуя ненужность этого и закончив призывом к солдатам: „Идите доделывать свое дело, теперь говорить не время“.

Освобожденные, публика и солдаты посоветовались между собой и решили, что нужно идти открывать женскую тюрьму, расположенную недалеко от Крестов. В зимнем пальто, с пачкой вещей под мышкой, прошел я через Литейный мост и оказался у здания окружного суда. Там тоже толпились солдаты, рабочие и политические освобожденные, которые другой волной двигались из дома предварительного заключения, из так называемой предварилки. Здесь произошла моя первая встреча с известным Хрусталевым-Носарем, освобожденным из предварилки. Повидимому, и его, бывш. председателя Сов. Раб. Депутатов в 1905 году, поражал тот хаос, тот беспорядок, который царил кругом—люди толпились на одном месте, переходили из угла в угол, из улицы в улицу, чувствовалось отсутствия общего стимула для каких-нибудь организованных действий. И вот Хрусталиев подал мысль и решил взять на себя инициативу образования военного центра в окружном суде. Он дал этот лозунг, велел занять окружный суд, у здания которого поставлены были им солдатские пикеты,—солдаты слушались всех, вышедших из тюрьмы, и выполняли всякие приказания. В этот момент подъехал автомобиль-грузовик с большим числом солдат и рабочих с ружьями в руках. Откуда они приехали, куда они едут,—ничего от них узнать не удавалось. Были среди них лично мне знакомые рабочие, с которыми я встречался в рабочей группе военно-промышленного комитета. Я в частности расспрашивал их, что с архивами департамента полиции, что в охране делается, советовал занять эти учреждения и не дать их уничтожить. Кто-то куда-то поехал, кто-то такое пошел...

Я двинулся по Литейному вверх по направлению к Невскому, зашел на Литейный, 46, в помещение военно-промышленного комитета. Выйдя обратно на улицу, я наткнулся на сценку. Вижу подходит к этому месту отряд солдат с офицером во главе, не из пехотных, а, повидимому, из гвардейских частей. Офицер выстраивал солдат на улице в 4 рассыпных ряда, каждый в „затылок“, очевидно, в виде предосторожности на случай вооруженной борьбы; солдаты хмуро выполняли приказания офицера. Толпащиеся на тротуарах рабочие кричат солдатам: „стыдно, уходите, что вы будете делать, стрелять будете?“. Солдаты не отвечают. Офицер продолжает свою работу.

Со стороны Таврического дворца на Литейный снова подъезжает автомобиль с вооруженными солдатами. Мы обращаем их внимание на выстроившуюся группу солдат, но особой смелости среди них среди „наших“ солдат мы также не замечаем: они избегают открытого вооруженного столкновения. Принимается решение окружить выстроив

шийся отряд солдат со всех сторон, заняв все прилегающие улицы. Это длинная канитель.

Со стороны Преображенской на Литейный выезжает отряд казаков на лошадях, с пиками в руках, с офицерами во главе. Они останавливаются на углу Литейного, озираются по сторонам и расходятся назад. Уходит и отряд солдат. Повидимому, вооруженная борьба в городе закончена. Обе стороны в перемирии. Вновь подъезжает уже четвертый грузовой автомобиль, нагруженный солдатами и рабочими. Он движется вдоль по набережной Невы, при чем все время отдельные лица беспрерывно кричат, обращаясь к толпе солдат и публике на улице: „Идите в Таврический Дворец“. „Идите в „Гос. Думу“. В этом лозунге есть нечто знакомое. На полном ходу автомобиля я бросаю в него мою пачку с вещами, подхватываемый рабочими, сам вскакиваю на грузовик и еду в Таврический дворец.

Это было в 4 ч. дня 27 февраля 1917 г.

3. Вокруг Таврического Дворца.

В вестибюле Таврического дворца я нашел многих знакомых. Тут были и Конторович, и Заславский из той центральной бундовской группы, которая в последний год до революции работала вместе с двумя оставшимися на воле членами Ц. К. Бунда: Г. Эрлихом и мной. Впоследствии все они принадлежали к самому правому флангу в социал-демократии. Внутри здания Таврического дворца была организована служба связи, которую несли студенты, все с красными значками в петлице. Тут же я увидел и Эрлиха, который был занят организационной работой по образованию первого Совета Рабочих Депутатов.

На улице толпились в том же хаотическом беспорядке солдаты и рабочие, к зданию Таврического дворца из разных частей города приводили арестованных. Многие из них были окровавлены—это были полицейские, жандармы, которых на улице задерживали солдаты и рабочие. Всех арестованных вели в Таврический дворец, всех их сдавали в одну комнату, потом сортировали. Этим делом в дальнейшем занималась особая комиссия с Керенским во главе.

К моменту, когда я подъехал к Таврическому дворцу, из здания его к толпе вышли Скобелев, Керенский и Чхеидзе. Скобелев, став у решетки дворца, произнес краткую речь перед толпившимися на улице массами. Он сказал, приблизительно, следующее: „Старая власть падает... Она еще сопротивляется... Сейчас происходит заседание Гос. Думы. Члены Гос. Думы еще колеблются: они не решаются взять власть в свои руки. Мы оказываем на них давление. Имейте, товарищи, в виду, что устроить государство очень трудно; трудно составить новое правительство, крайне трудно... Это может затянуться день, другой. Имейте терпение, раньше всего нужно установить революционный порядок“.

На моих глазах Керенский взял небольшой отряд солдат и стал наводить этот порядок: он расставил первые караулы у здания Таврического дворца; в здание с этого момента перестали впускать всякого желающего. Была организована проверка, требовался мандат или какой-нибудь иной документ, доказывающий действительную потребность в посещении этого революционного штаба. Момент был опасный. Из-за каждого угла, как это происходило по всему городу, мог раздаться

предательский выстрел и навести панику. Уверенности в прочности не было ни в одном квартале огромного столичного города. В тот самый момент, как Скобелев кончил свою речь, вдруг сообщили, что против Таврического дворца на какой-то водопроводной башне засели вооруженные люди и стреляют. Туда немедленно был направлен отряд солдат для проверки на месте этого сообщения и уничтожения, в случае правдивости, этого гнезда. Было отдано распоряжение расставить бронированные автомобили у подступов к Таврическому дворцу на случай, если бы сюда двинулись большие вооруженные силы.

Солдаты толпились на улице в полном беспорядке, смешанные с толпой. Появился хотя бы самая малая вооруженная группа, вся эта солдатская неорганизованная масса могла бы рассыпаться, не оказав никакого вооруженного сопротивления. Нужно было и сюда внести какой-нибудь порядок. За это дело взялся Ф. Ф. Линде*), тот самый Линде, который впоследствии дал сигнал к первому акту гражданской войны в дни 20 апреля. Это он вывел Преображенский полк к Марининскому Дворцу против первого Временного Революционного Правительства после опубликования им известной ноты к союзникам 18 апреля о целях войны. Впоследствии Линде пал жертвой развала в армии, был убит на фронте солдатами. Линде поднялся на решетку ограды Таврического дворца и громким голосом отдал команду: „Солдаты, в строй, вольные отходи в сторону“. — Я также принял участие в этом деле, делая попытки отвлечь вольных в сторону от солдат. Но надо сказать, что дисциплины в толпе почти не было, она не желала слушать резонных распоряжений, и стоило большого труда отделять вольных от солдат.

К этому времени оружие из нескольких цейхгаузов было уже разобрано революционерами. Решено было составить из них особый вооруженный отряд, который выстроился во дворе за решеткой перед Таврическим дворцом. Это все были люди, прошедшие военную службу. Тут же выделили они из своей среды отдельных начальников из бывших введных, унтер-офицеров и вообще более опытных лиц. Когда солдаты и вольная дружина организовались в отряды, число солдат оказалось довольно велико. Решено было двинуть их в город в такие места, где можно было ждать вооруженного столкновения.

Свои вещи я оставил на хранение у швейцара Таврического дворца Густава, а сам с отрядом солдат пошел вновь в город, предварительно справившись и узнав, что первое организационное заседание Совета Рабочих Депутатов в здании Таврического дворца будет не раньше 7—8 часов вечера. На Литейном проспекте нашим глазам открылась картина огромного пожара: горело здание окружного суда и находящегося рядом с ним дома предварительного заключения (предварилки). Я забыл сказать, что то организованное освобождение политических из тюрем, которое имело место в начале, скоро разстроилось. К тюрьмам потянулись элементы, заинтересованные в освобождении всех преступников оттуда. В „Крестах“, спустя полчаса после моего освобождения, толпа при содействии изнутри от-

*) Имя Линде упоминалось в истории русской революции. Семья его владела пансионом в Мустаяках (Финляндия), где обыкновенно жили революционеры. В 1905 году здесь арестована была группа максималистов, оказавшая вооруженное сопротивление. Линде — финские граждане.

крыла все камеры и уголовных. Уголовные бросились на цейхгауз и, стремясь быстро переодеться в вольное платье, разграбили попутно все ценные вещи и деньги арестантов. Так и пропали при этом грабеже мои серебряные часы и 600 руб. денег, которых позже не удалось получить. То же самое произошло и в доме предварительного заключения. Преступные элементы были, конечно, непосредственно заинтересованы в гибели всего делопроизводства окружного суда. Они-то и подожгли здание окружного суда. Зловещее зарево пожара производило впечатление чего-то анархического. Но трудно было ожидать, чтобы население пощадило тюрьмы, которые концентрировали на себе всю ненависть против старого строя.

На Литейном мы узнали, что подожжены и горят все полицейские участки Петрограда. Узнали мы также, что сожжены все дела охранного отделения без их предварительного разбора. С каждым часом получались все новые и новые сведения об арестах. Образовывались отдельные группы лиц, вооруженных солдат, студентов и рабочих, которые, под руководством более опытных и сведущих лиц, по спискам, составлявшимся совершенно самостоятельно, шли арестовывать министров, высших чинов петроградской администрации и т. д. Аресты же низших чинов полиции и жандармов шли беспрерывно тем более, что в городе продолжались предательские нападения жандармов и полицейских, которые рассыпались по домам и стреляли с каждого чердака. Ведь было определено известно, что таков и был действительно план, намеченный Протопоповым на случай массовых беспорядков в Петрограде.

Часов в 6 веч. я впервые оказался на Невском. Невский проспект был разбит на участки. Вокруг стояли пикеты, готовые дать вооруженный отпор на случай появления отрядов правительства. Уверенности повторяю, не было. Таково же было настроение и посторонних элементов, публики, которая при каждом выстреле бросалась в ворота. Трамваи не ходили в эти первые дни революции. При отсутствии трамвайного движения и почти полном отсутствии извозчиков, население, проводившее все время на улицах, колесило город во всех направлениях. Нам приходилось ходить версты, но утомления никакого не чувствовалось. У всех был такой подъем, такое возбуждение, что расстояние не утомляло.

4. Первые совещания Совета Рабочих Депутатов.

В 8 часов вечера я снова вернулся в Таврический дворец. Оказалось, что до моего прихода состоялось небольшое совещание, которое уже наметило мандатную комиссию для проверки мандатов первых членов Совета Рабочих Депутатов. Идея Совета Рабочих Депутатов была выдвинута еще в дни 24—26 февраля, когда началась забастовка. Выдвинута она была теми организованными группами, которые, несмотря на массовые аресты и ликвидацию, предпринимавшиеся в Петрограде по отношению к с.д. партии, все же сохранились на заводах, фабриках и в отдельных профессиях. Характерно, что этот лозунг Совета Рабочих Депутатов не выдвигался ни разу в подготовительный период, во время деятельности рабочих групп в военно-промышленных комитетах, ни этими рабочими группами, ни их противниками — большевиками-интернационалистами. Вышел этот

лозунг только в самые дни выступления. В эти дни был выпущен листок, который призывал рабочих фабрик и заводов и мастерских выбирать своих депутатов и посылать их в Таврический дворец. При всеобщей забастовке, когда рабочие на фабрики и заводы не являлись, эти выборы не могли пройти организованным порядком, и первые совещания Сов. Раб. Депутатов носили совершенно случайный характер.

В первую мандатную комиссию составленным были намечены три лица: Эрлих, Гвоздев и Хрусталев, также оказавшийся уже в Таврическом дворце. Избранная мандатная комиссия уже приступила было к работе—проверила первые мандаты. Но неожиданно для себя она встретила протесты против своего состава. Не решаясь продолжать работу при наличии протестов, мандатная комиссия вернулась в зал, где происходили совещания депутатов, заявила о наличии протестов против избрания Хрусталева и предлагала разрешить создавшийся конфликт. Начались прения, при чем заявлены были протесты уже не только против Хрусталева, но и против Гвоздева. На этой личности концентрировалось все недовольство большевиков и интернационалистических групп меньшевистской организации и оборонческой лицией рабочих групп военно-промышленного комитета. Гвоздев был признан лидером этих рабочих групп. Некоторые его выступления возмущали и меньшевиков, как, например, посещение им Шюрмера за два месяца до революции и содержание беседы, которую он с ним имел. В этих первых совещаниях рабочих депутатов уже появились прежние разногласия в рядах с.-д. Они не имели еще конкретного значения для текущего дня, никто из тех, кто оспаривал кандидатуру Гвоздева, не мог доказать, что Гвоздев не сможет сейчас играть ту роль, на которую он способен, но было определенное недоверие. Сводились старые счеги. Против Гвоздева выступали единым фронтом и большевики, и меньшевики-интернационалисты.

Что касается личности Хрусталева, то протест был вызван его постереволуционным поведением в Париже и его сотрудничеством в „Новом Времени“, что заставляло относиться к нему, как к „бывшему“ человеку. Хрусталев же претендовал на роль активного вождя. Ему казалось странным, что какие-то новые лица оспаривали его право на лидерство в Совете Рабочих Депутатов при той огромной роли, которую он играл в первом Совете в 1905 г. У него были и защитники на этом собрании, но их было немного. В конце концов было принято решение произвести новые выборы, и считать избранными в мандатную комиссию лишь тех, против кого не будет подано ни одного голоса. При голосовании, таким образом, провалились и Хрусталев, и Гвоздев, и из первого состава мандатной комиссии остался один только Эрлих. Последний был охарактеризован присутствующими весьма кратко: член Центрального Комитета Бунда и член Организационного Комитета Р. С.-Д. Р. П. Возражений против его кандидатуры и дебатов никаких не было. Кто были вновь избранные члены мандатной комиссии,—не помню.

Число депутатов на этом первом совещании, которое продолжалось от 9 час. до 11—12 ч. ночи, с каждой минутой увеличивалось. В мандатной комиссии был длинный „хвост“ дожидавшихся своей очереди, чтобы войти в зал совещания. Предметом обсуждения на этом первом совещании рабочих депутатов было отношение к Временному Комитету Гос. Думы. Собственно, такой вопрос в порядке

дня не стоял, да и вообще не было организованного порядка дня на этом первом совещании,—вопросы выдвигались с каждым часом и тут же разрешались. Вот подошел к Таврическому дворцу какой-то полк солдат. Нужно приветствовать его. Выбирается делегация. При этом возникает спор по поводу того, кому произнести приветственную речь. Первое совещание рабочих было крайне бедно силами. Освобожденные в течение этого дня из тюрьмы еще не успели явиться в Таврический дворец. Освобожденные члены рабочей группы в этом первом совещании совершенно отсутствовали. В первый же день деятельности Совета Рабочих Депутатов выдвинулся Стеклов, который, как наиболее представительный и более других внушавший доверие в этом совещании, выходил навстречу приближавшимся полкам и всех их приветствовал от имени Совета Рабочих Депутатов.

Повторяю, вопроса об отношении к Временному Комитету Гос. Думы в порядке дня не было. Было лишь сообщено совещанию, что Комитет Гос. Думы уже сорганизовался и что в его состав вошли, кроме членов прогрессивного блока, также Чхендзе и Керенский. Последнее сообщение вызвало недовольство со стороны большевиков, которые с первых же шагов уже требовали борьбы против Временного Комитета Гос. Думы. Соглашение и совместная работа Совета Рабочих Депутатов с Временным Комитетом Гос. Думы, или борьба с ними,—этот вопрос был краеугольным камнем и красной нитью проходил через все прения по целому ряду вопросов, которые стояли в течение первых дней деятельности Совета Раб. Депутатов. На этом первом совещании было решено немедленно выделить из состава совещания комиссию продовольственную и военную. Комиссии эти были тут же избраны, немедленно покинули зал и, удалившись в особые комнаты, приступили к своей работе, намечая план своей деятельности.

С продовольственным делом обстояло в высокой степени сложно: хлеба в Петрограде не было, нужно было обеспечить подвоз хлеба к Петрограду в то время, когда в окрестностях Петрограда на железнодорожных путях не было уверенности в преданности революции тех или других войсковых частей, железнодорожного персонала и т. д. Опыта у членов этой продовольственной комиссии и необходимых связей для получения продуктов для г. Петрограда было мало. Правда, в состав этой продовольственной комиссии вошли явившиеся с предложением своих услуг члены центра кооперативов петроградского О-ва оптовых закупок, но именно эти члены требовали немедленного образования единой продовольственной организации из членов Комитета Государственной Думы и Совета Рабочих Депутатов.

С военной комиссией дело обстояло еще сложнее. Временный Комитет Гос. Думы назначил полковника Ангельгардта комендантом Петрограда и Таврического дворца. Военная же комиссия Совета Раб. Депутатов решила действовать совершенно самостоятельно, стремясь мобилизовать вокруг себя все военные части Петрограда. Эти два вопроса—о продовольственной комиссии и о военной комиссии—были вынесены на обсуждение совещания рабочих депутатов. Совещание решило, что каждая из этих комиссий работает самостоятельно, вступая в контакт с Комитетом Гос. Думы. Но, несмотря на этот мандат, советские комиссии на совместных совещаниях с соответствующими комиссиями, выделяемыми Комитетом Гос. Думы, позиции самостоятельности сдвигали, и вместо двух самостоятельных, военной и продовольственной, комиссий образовали слитные комиссии, при чем в ка-

ждую из них (и в продовольственную, и в военную) входили члены как от Совета Раб. Депутатов, так и от Комитета Гос. Думы. Таким образом, оцупью намечались взаимоотношения между двумя органами, выдвинутыми первыми днями революции. В спорах по этим вопросам выявились и новые группировки внутри Совета Раб. Депутатов. Меншевики-„интернационалисты“, которые в начале, при выборе мандатной комиссии, поддерживали большевиков, постепенно стали от них отходить и объединились с меньшевиками-„оборонцами“ в общем стремлении твердо держаться старой меньшевистской тактики по отношению к либеральной буржуазии—тактики контакта и согласия с Временным Комитетом, а не стремления к его свержению.

Во время этого первого совещания раб. депутатов произошел инцидент, в котором ярко сказалась неуверенность в победе революции и легкость, с какой победа досталась. Кто-то пустил слух, что здание Таврического дворца окружено, что бронированные автомобили начали обстрел здания, и в зале совещания раб. депутатов началась паника; все бросилось к дверям, хватая одежду, наступая один на другого. Так продолжалось несколько минут, пока Чхеидзе, став на своем, не призвал Совет к порядку, напомнив ему о революционном долге: „Мы сюда пришли для борьбы на жизнь и на смерть, и если будет нужно умереть, то мы умрем. Страху не может быть места“. Обычно нерешительный Чхеидзе нашел нужные слова...

В этом же заседании происходили выборы первого Исполнительного Комитета Совета Раб. Депутатов. Опять-таки отсутствие видных лидеров меньшевиков делало эти выборы затруднительными. Состав первого Исполнительного Комитета был случайным. В него вошли: Степков—лигатор, Суханов (Гиммер), известный только своими брошюрами о войне и совершенно не связанный с рабочим движением дореволюционного периода, присяжный поверенный Соколов—постоянный кандидат с.-д. на выборах в Гос. Думу для Петрограда, Гривевич—меньшевик-интернационалист, Романов—меньшевик-интернационалист. „Оборонцев“—меньшевиков было избрано мало, среди них и К. Гвоздев. Кроме избранных в Исполнительный Комитет вошли представители партий: от Орг. Ком. Р. С.-Д. Р. П.—Батурский (Б. С. Цептлин), от с.-р.—Святоцкий, от Ц. К. Бунда—кроме Эрлиха, избранного самим совещанием, вошел и я. Был долгий спор о том, дать ли представительство в Исполнительном Комитете так называемому Межрайонному Комитету Р. С.-Д. Р. П.;—организации местной. Дело в том, что Исполнительный Комитет Петроградского Совета с самого начала организовался, как центральный. В самом Совете представительство всех местных политических организаций было обеспечено.. Было поэтому принято решение, что в Исполнительный Комитет делегируют своих представителей только центральные учреждения партий. Тем не менее, для „Межрайонного Комитета“ решено было сделать исключение: он объединял в своих рядах и меньшевиков, и большевиков и играл роль своего рода центрального всероссийского органа: совещание же этих групп со всей России еще состояться не могло. Впоследствии и эта группа несколько видоизменилась в своем составе и оказалась близкой группе „Новой Жизни“.

5. 28 февраля.

Утро 28 февраля я провел на улицах Петрограда, присматриваясь к отдельным сценам уличной жизни. Дневная жизнь началась рано. Части революционного гарнизона охраняли все вокзалы и подступы к ним. Шли слухи, что с разных прилегающих к Петрограду станций движутся на Петроград отдельные военные части, верные царю. Говорили о Балтийской жел. дороге, о Финляндской дороге и о Николаевской. Говорили о движении пехотных частей пешком на Петроград. Вследствие этого площади у вокзалов охранялись бронированными автомобилями, пулеметными частями и т. д.

Я был на площади у Николаевского вокзала. И здесь легко можно было убедиться, в каком хаотическом, беспорядочном состоянии продолжал пребывать революционный Петроград без руководства обычных офицеров. У Николаевского вокзала стояли два бронированных автомобиля с пулеметами и несколько пеших воинских частей. Вдруг из гостиницы раздался отдельный револьверный и винтовочный выстрел, и в один миг площадь опустела: солдаты частью разбежались, частью легли на улице, разбежалась и толпа. Затем, когда наступило успокоение, все оставшиеся на площади солдаты в беспорядке бросились к этой гостинице обыскивать ее, ища виновника выстрела. При этом они совершенно забыли о том, что охраняют серьезный военный пункт и что сейчас могут подъехать опасные военные части к вокзалу. Затем снова одиночный выстрел с другой части площади, и снова туда просаается вся солдатская масса, обстреливая дом из винтовок. Вот со стороны Невского приближается с барабанным боем стройно организованная воинская часть, имея во главе вольноопределяющегося унтер-офицера. Она производит внушительное впечатление: в ней ни беспорядка, ни хаоса. Когда она приближается к самой Николаевской площади, позади нее вдруг раздается одиночный выстрел. Солдаты из задних рядов отвечают на этот выстрел обстрелом дома, солдаты же передних рядов, не разобравшись, в чем дело, и полагая, что их из ружей обстреливают сзади, бросаются снова врассыпную, и опять в один миг от этой организованной воинской части не остается никого. На площади, на прилегающих улицах — паника.

В таком состоянии дезорганизации бродили по улицам Петрограда многие воинские части. Офицеры, с самого начала революционного движения среди солдат, с момента перехода отдельных воинских частей на сторону народа, бежали от своих частей, скрываясь по частным квартирам и вызывая ропот и негодование солдатской массы. Офицеры не доверяли победе революции. Они не имели возможности группироваться вокруг формирующегося Совета Раб. Депутатов, на них мог иметь воздействие один только Комитет Гос. Думы. Только авторитет Родзянко, авторитет умеренных политических элементов мог вернуть этих офицеров в войска и восстановить боеспособность петроградского гарнизона. В таком же положении было дело с переходом на сторону революции петроградской крепости Кронштадта и других укрепленных пунктов. Не могло быть речи о том, чтобы брать эти пункты силой, с бою, — они должны были сдать по доброй воле. Авторитетом же для командиров Кронштадта, Петропавловской крепости и Шлиссельбурга могла быть только Гос. Дума.

В эти первые дни революции даже вооруженная победа над ста-

рой властью требовала координирования действий Совета Раб. Депутатов и Госуд. Думы. Таков был вывод, сделанный руководителями С. Р. Д. Большевикские элементы Совета с первых же дней революцией хотели толкать Совет на путь свержения Комитета Госуд. Думы. Несмотря на то, что Сов. Раб. Деп. очень быстро пополнялся представителями заводов, фабрик и отдельных рабочих организаций, число большевиков в нем росло очень незаметно. Огромное большинство Совета держалось меньшевистской линии, хотя и бывали моменты борьбы вокруг опубликованного Родзянко приказа к воинским частям Петрограда. Этот приказ в отдельных только экземплярах появился на различных столбах Петрограда. Он распространялся по рукам и в здании Таврического дворца. Подпись на приказе была председателя Комитета Гос. Думы Родзянко. Содержание его было таково, что можно было смело говорить о провокационном значении этого приказа—Родзянко настоятельно призывал все воинские части Петрограда в этот день, 28 февраля, покинуть улицы Петрограда и вернуться в казармы.

Не знаю, кто подсказал Родзянко такого рода приказ. Мы говорили уже о том значении, какое имели отдельные воинские части, охранявшие подступы к вокзам, в отдельных частях города скрывались одиночные представители старой власти; уверенности в победе революции не было, уход воинских частей в казармы, следовательно, мог бы привести к осмелению представителей старой власти и лишь удлиннил бы период вооруженной борьбы. Приказ стал известен Совету Раб. Деп. Потребовали объяснений у Члендзе и Керенского, которые входили в состав Временного Комитета Гос. Думы. Они заявили, что этот приказ не был предметом обсуждения Временного Комитета, что Комитет не может нести за него ответственности, что это—личная инициатива самого только Родзянко. Приказ не распространялся больше. Он был изъят из употребления. Во время прений по поводу приказа раздавались очень яркие и страстные речи с определенным призывом арестовать Родзянко и Временный Комитет Гос. Думы, раздавались обвинения в провокаторстве, в предательстве и т. п. В самый разгар прений вокруг приказа Родзянко явился Скобелев и сообщил подробности сдачи Петропавловской крепости революцией: туда явился он, Скобелев, и еще один член Комитета Гос. Думы и немедленно потребовали сдачи крепости, что было командантом выполнено почти без всяких разговоров. Последнее обстоятельство вновь подчеркнуло значение Комитета Гос. Думы для победы революции над старой властью и облегчило Исполнительному Комитету ликвидацию конфликта вокруг преступного приказа Родзянко.

6. Формирование Временного Правительства.

Организовавшийся накануне Исполнительный Комитет Совета Раб. Депутатов заседал беспрерывно в течение всего дня 28 февраля. Работа его была организована так: были дежурства, а вопросы текущей жизни разрешались всеми наличными членами Исполнительного Комитета. Часа в 2—3 дня 28 февраля было пленарное заседание Исполнительного Комитета. На этом заседании Соколов сообщил под строгим секретом, что Временный Комитет Гос. Думы предпринимает меры к получению от Николая II акта об отречении. Соколов пред-

лагал Исполнительному Комитету С. Р. Д. самостоятельно получить от Николая II этот акт. Было ясно все серьезное значение такого самостоятельного шага: полного доверия к Исполнительному Комитету Гос. Думы быть не могло, — этот Комитет мог акт об отречении царя Николая составить так, чтобы после него Россия могла иметь регента, чтобы сохранился монархический образ правления. Тот текст отречения, который получил бы Сов. Раб. Дем., конечно, был бы большим ударом по монархии. Соколов получил необходимые ему полномочия и соответствующую военную охрану. Но спустя несколько часов стало известно, что он опоздал — представители Комитета Гос. Думы сами провели в жизнь это требование.

Вечером в Исполнительном Комитете Совета Раб. Депутатов началось обсуждение вопроса об образовании Временного Правительства. Состав Исполнительного Комитета был неполный. Обсуждение вопроса носило отрывочный характер, ибо каждую минуту очередные дела и внеочередные заявления отвлекали внимание Исп. Комитета в сторону. Докладчиками по вопросу были Суханов и Стеклов. Оба они сообщили Исп. Комитету о тех полуофициальных беседах, которые они имели уже с отдельными членами Исполн. Комитета Гос. Думы. Суханов формулировал, что не может быть речи об участии демократии в составе Временного Правительства, ибо это означало бы участие в ведении империалистской войны. Возник краткий обмен мнений.

Сторонников участия во Временном Правительстве среди представителей с.-д. было немного. При этом необходимость этого участия мотивировалась различно. Мои соображения в пользу этого участия сводились к тому, что рабочий класс России принимает столь активное участие в развитии революции, что без его непосредственного участия в творчестве государственной жизни революция вряд ли сможет быть доведена до благоприятного конца, необходимо направить активную работу рабочего класса в сторону этого революционного государственного строительства. Соображения Эрлиха в пользу участия были совершенно иные. Вообще он считал участие революционной демократии в составе Правительства вредным, отчасти по соображениям, приведенным Сухановым, но он полагал, что первое Временное Правительство еще не носит характера правильно организованной власти, а имеет своей задачей продолжение работы Комитета Гос. Думы по свержению старой власти. В этом деле, — полагал он, — соц.-дем. не может уклоняться от участия, а потому может делегировать своих представителей в состав Временного Правительства. Кто-то из соц.-рев., кажется, тов. Зензинов, также поддерживал необходимость участия в составе Вр. Правительства. Представитель Организационного Комитета Р. С.-Д. Р. И. т. Батурский высказывался против. Вопрос поставлен был на голосование. Исполнительный Комитет формулировал свою точку зрения против участия во Временном Правительстве довольно значительным большинством голосов.

Но вместе с тем было решено считать это постановление Исполнительного Комитета лишь предварительным и поставить вопрос на обсуждение пленума Совета Раб. Депутатов, которому предоставить самостоятельно его решить. Предполагалось, что на следующий день Исполнительный Комитет снова будет иметь суждение по этому вопросу, и до того представители отдельных политических партий будут совещаться со своими партийными организациями, так как на первом заседании представители политических партий высказывались лишь за себя.

Следующим вопросом из области формирования Временного Правительства был вопрос об его программе. Стеклов сообщал, что члены Временного Комитета Гос. Думы склонны декларацию-программу Временного Правительства поставить в неперемennую связь с ведущейся войной. Он, Стеклов, вместе с Сухановым и Соколовым, оказывал решительный отпор членам Думского Комитета, ссылаясь на то, что рабочий класс и Сов. Раб. Депутатов произвели революцию не для ведения войны, а для внутренней демократизации страны, и что поэтому только область вопросов внутренней жизни государства и должна быть охвачена программой Временного Правительства, если оно желает иметь поддержку со стороны Совета Раб. Депутатов. Стеклов огласил в этом первом заседании Исполнительного Комитета Совета Раб. Депутатов набросок программы для Временного Правительства. Меня при этом сильно поразило отсутствие в этой программе каких бы то ни было указаний на отмену всех национальных ограничений по отношению к многочисленным народностям России. В довольно резкой форме я обратил внимание на этот пробел, указав на то, что отсутствие в первой программе Временного Правительства категорического заявления о предстоящей отмене всех национальных ограничений вызовет крайнее недоумение и подорвет всякое доверие к Временному Правительству. Стеклов заявил, что это само собою разумеется, но что если это может вызвать парекание, то, конечно, можно в программу Правительства включить специальный пункт об отмене национальных, сословных и др. ограничений. Я обратил внимание Исполнительного Комитета на отсутствие в программе специально „крестьянских“ пунктов, но не был поддержан.

Разногласия, бывшие при обсуждении вопроса об участии во Временном Правительстве в Исполнительном Комитете между отдельными представителями соц.-дем., делали необходимым предварительное обсуждение этого вопроса в руководящих органах партии. Ночью состоялось заседание Организационного Комитета Р. С.-Д. Р. П. с приглашенными лицами на квартире прис. пов. В. И. Крохмалю. Обсуждение этого вопроса продолжалось несколько часов. Высказывались сторонники и противники этого участия и довольно внушительным большинством (всего участвовало 12 человек) решено было высказаться за участие с.-д. в составе Временного Правительства¹⁾.

Организационным Комитетом было обращено внимание и на то обстоятельство, что меньшевики выступают в Сов. Раб. Деп. крайне неорганизованно и вследствие этого возникают трения, которых можно было бы избежать. Было решено, предварительно обсуждения в Совете Рабочих Депутатов вопроса об участии во Временном Правительстве, устроить частное совещание всех с.-д. меньшевиков, на котором доложить о состоявшемся решении Организационного Комитета Р. С.-Д. Р. П. сплотить фракцию. Когда мы на завтра явились в Таврический дворец, то оказалось, что делегация Исполнительного Комитета, в составе: Соколова, Суханова и Стеклова, вопреки определенному решению Исполнительного Комитета, уже закончила переговоры с Временным Правительством с составлением определенных актов. Это нарушение постановления Исполнительного Комитета вызвало резкие протесты со стороны отдельных членов Исполнительного Комитета, но

¹⁾ Это решение имело своим результатом передовую в „Известиях Совета Раб. Деп.“, высказывавшуюся за участие во Временном Правительстве.

дело заменить уже оказалось невозможным, тем более, что большинство Исполнительного Комитета по существу было согласно со всем тем, что было сделано Стекловым, Сухановым и Соколовым.

Из отдельных моментов сообщения, сделанного делегацией Исполнительного Комитета о переговорах с Думским Комитетом, заслуживают внимания два обстоятельства. Члены Комитета Гос. Думы были глубоко убеждены в том, что переговоры с Советом Рабочих Депутатов о программе Временного Правительства имеют своей целью образование Правительства с участием представителей Совета Раб. Депутатов. Они шли поэтому на максимальные уступки, стремясь сохранить возможные единодушие. Когда разногласия о программе были ликвидированы, Миллюков спросил у делегации, кого же из состава Сов. Раб. Деп. выдвигают на посты министров? Члены Думского Комитета были крайне удивлены решительным заявлением делегации, что Сов. Раб. Деп. не намерен принимать участия в самом Временном Правительстве. Было даже заявлено негодование по поводу такого решения Совета Раб. Депутатов, но делегация заявила, что решение Исполнительного Комитета изменить не в состоянии. В то же время делегация заявила, что Исполнительный Комитет, конечно, не может относиться безразлично к составу Временного Правительства и хотел бы знать намерения Комитета Гос. Думы. Членам Думского Комитета пришлось назвать всех кандидатов на посты министров. Ни один из кандидатов возражений со стороны делегации не вызвал, кроме А. И. Гучкова. Возражения делегации Исполнительного Комитета Сов. Раб. Депутатов против кандидатуры Гучкова не были решительными и категоричными. Она лишь поставила Думскому Комитету вопрос, входит ли Гучков во Временное Правительство с какими либо особыми полномочиями? Когда же Миллюков заявил, что никаких особых полномочий у Гучкова, будущего военного министра, не будет, что политическую ответственность за его деятельность несет все Временное Правительство, то этот персональный вопрос был ликвидирован.

Было бы все же неправильно говорить о полном исключении представителей Совета Рабочих Депутатов из Временного Правительства: А. Ф. Керенский был включен в состав членов первого Временного Правительства с ведома и согласия Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов. Это обстоятельство также предварительно обсуждалось накануне, на заседании Исполнительного Комитета и решение Исполнительного Комитета Совета Раб. Депутатов о неучастии в составе Временного Правительства, все же предполагало и допускало участие Керенского. И сторонники, и противники участия социал-демократии в составе Временного Правительства соглашались, что Керенский с первых дней переворота находился в таком близком общении с Временным Комитетом Гос. Думы, что невключение его в состав Временного Правительства делается совершенно невозможным. Так создалось противоречивое положение, при котором Совет Рабочих Депутатов своих официальных представителей в состав Временного Правительства постановил не делегировать, и в то же время товарищ председателя Исполнительного Комитета Сов. Раб. Депутатов А. Керенский в состав этого правительства входил, не вызывая против себя никаких протестов и возражений со стороны С. Р. Д.

Неодовольные решением вопроса о неучастии в составе Временного Правительства Исполнительного Комитета имели в виду вопрос этот снова поднять на заседании Совета Рабочих Депутатов, но на

заседании этот вопрос об участии вовсе не обсуждался. Исполнительному Комитету С. Р. Д. пришлось вынести борьбу с большевиками, членами Совета Раб. Деп., которые были поддержаны большим числом новых солдатских депутатов. Большевики выступали с резкими речами против политики передачи власти буржуазии, против соглашения. Они требовали свержения Думского Комитета и создания нового Временного Правительства. При этой постановке не было уже места спорам об участии или неучастии в составе этого Временного Правительства. Борьба велась вокруг идеи свержения или поддержки. Вопрос, таким образом, Советом Раб. Депутатов был разрешен согласно постановлению Исполнительного Комитета огромным большинством голосов.

При обсуждении программы Временного Правительства целый ряд ответственных представителей заводов и даже политических партий, совершенно не интересуясь тем, какого рода вопрос стоит в порядке обсуждения, и полагая, что дело идет о формулировке Советом Раб. Депутатов своей точки зрения на задачи момента, предлагали ряд требований для обязательного включения их в договор с Правительством. Между прочим, группа еврейских социалистов выдвинула требование о национально-политической автономии в России, как пункт программы Временного Правительства. Представители Бунда, бывшие в этот момент в Совете, Капторович и Зиславский, голосовали против этого предложения, что впоследствии вызвало негодование со стороны национально-социалистических течений.

М. Рафес.

Французы в Одессе.

История иностранного вмешательства за время русской революции еще не может быть выяснена во всех своих интересных подробностях. Завеса будет поднята тогда, когда несколько притупится острота политики и историческая правда не так больно будет колоть глаза современников. Система интервенции потерпела крушение во всех концах России, где только ни пытались ее осуществлять. Причина этого лежит не в качестве и не в количестве исполнителей. Она гораздо глубже и кроется в объективных условиях. Но об этом не место говорить на страницах исторического журнала. Нигде, однако, где бы ни расцветала политика интервенций, она не сопровождалась такими „скандальными“ подробностями, она не была так скомпрометирована в сознании широких слоев населения, как в Одессе. История „одесской интервенции“ — это букет лжи, обмана, ошибок, вероломства, легкомыслия и продажности. Достаточно осветить один уголок, чтобы картина поразила беспристрастного зрителя. Уголок французской интервенции уже можно по имеющимся материалам осветить.

§ I. Консул Энно. Одесская „Энноида“.

Вслед за поражением австро-германцев на фронте европейской войны немцы начали отступление из оккупированной Украины. Одесса была первым городом, где впервые на смену немцам должны были появиться войска Антанты. Во внутренней истории Украины это совпадало с крушением гетмана Скоропадского, креатуры немецкого владычества. Одесса однако не могла считаться даже в слабой степени украинским городом. Нельзя было определить, к какой государственной власти ее следует „приписать“. Впрочем, формальная сторона мало кого интересовала. Имела значение реальная власть, сила управления. Естественным казалось, что с уходом немцев должны прийти „победители“. Победителями оказались французы, и город ждал появления представителей могущественной республики.

Вскоре на территории Одессы появился консул Энно, объявивший населению города, что он уполномочен стать во главе союзного представительства. Впоследствии союзное командование на Востоке склонно было рассматривать Энно, как самозванца, приписавшего себе такие полномочия, которые никто ему не давал. Однако факты противоречат этому. Появившиеся одновременно с Энно военные транспорты и высадившиеся на берег команды двух—трех военных кораблей не обнаруживали никаких признаков удивления или несогласия с деятельностью Энно. Первоначально она была скромна и

мотивировалась преимущественно ликвидацией германского влияния на Украине. Никакого самостоятельного плана организации власти Энно не имел и предоставил событиям естественное течение. Русская власть возникла при содействии добровольческих образований чисто местного происхождения. Во главе добровольческих отрядов очень скоро стал приехавший в Одессу ген. Гришин-Алмазов, заявивший себя представителем Деникина. Естественно было ждать тесного общения между добровольческой властью и французским консулом. Героических намерений завоевательного характера Гришин-Алмазов еще не обнаруживал, о походе вглубь России консул Энно не говорил; но намерения, настроения и симпатии предполагались тождественными, и добровольческое командование купалось в лучах союзного ореола...

Политика Энно была, однако, не столь примитивна и ясна. С другой стороны и связи между представителем Деникина и союзным представителем нельзя было считать прочно установившимися. На Украине к концу 1918 года уже царила так называемая директория (правительство, образовавшееся на обломках гетманщины). Свергнув гетмана, директория импонировала тем самым Антанте, которая не без основания в гетмане видела фокус германского влияния на Украине. Правительство директории не прочь было вести с кем угодно переговоры, лишь бы добиться закрепления своей власти и независимости Украины. Поддержка директории французами имела для последних определенный смысл, поскольку директория была реальной властью. На этой почве возникли и не прекращались до последних дней пребывания французов в Одессе и тайные сношения между украинской директорией и Энно, впоследствии его преемниками, — сношения, имевшие конечной целью договор, помощь и компенсацию. Посредствующим органом была импровизированная организация украинских сахарозаводчиков, ютившаяся не без взаимной пользы около консула Энно и связанная с директорией якобы в целях получения от нее многомиллионной субсидии на восстановление свекло-сахарной промышленности.

Деловой „контакт“ с директорией не мешал Энно заявлять себя приверженцем „добровольческой идеологии“ и признавать фактически существующую в Одессе добровольческую власть. Документальных данных, свидетельствующих о двуличии союзной политики на юге России в то время (конец 1918 г. и начало 1919 г.) нет, вернее, вообще никакой установленной точки зрения на судьбы России у союзного командования тогда не было. Энно действовал по своему разумению. Шансы добровольческой армии были еще не велики. Как эпизод, ее можно было признать. Но и только... Определенного плана содействовать развитию добровольческой армии не было. Наоборот, можно считать исторически установленным сдержанное вначале и враждебное впоследствии отношение французов к добровольческой армии. Это обстоятельство проливает свет на ряд фактов, имевших место в марте 1920 г., т. е. к моменту разрыва между высшим союзным командованием и добровольцами и бегством из Одессы как тех, так и других.

Долгое время (весь период интервенции французов исчисляется несколькими месяцами) Энно бесконтрольно, независимо и весьма бурно проводил политику Антанты на юге России. Как печатные источники, так и отзывы современников свидетельствуют о том, что интервенционистскую Европу на юге России представлял авантюрист

мелкого калибра, человек темного происхождения и сомнительного поведения, полуделец, полуманьяк, окруживший себя разного рода искателями наживы и мало смыслящий в русских делах. Поприще, на котором Эно подвизался до своего назначения в Одессу, была Бессарабия. Уроженка Бессарабии, фигурировавшая в качестве его жены, владевшая русским языком, имела решающее влияние во всех мероприятиях консула. Очень скоро по городу начали ползти слухи о фантастических оргиях французского представителя, о тех суммах, которые проходят через руки госпожи Эно, о клубных похождениях самого консула. Несмотря на формальное невмешательство во „внутренние дела“, последнее слово принадлежало супругам Эно. Малейший намек в печати на предосудительный образ действий (о жизни тем более нельзя было заикаться!) „союзников“ вызывал подозрения в принадлежности органа печати, редактора, автора к германской ориентации. Консул кричал, бранился, топал ногами и грозил репрессиями в порядке „защиты интересов Франции“. Введена была специальная французская цензура; любой закон, любая норма или правовая гарантия покрывались усмотрением консула. Население привыкло к мысли, что представитель Согласия ведет себя, как колониальный самодур, что „союзник“ рассматривает жителей юга России, как туземцев, в отношении которых все позволено. Все, что было злокачественного в обществе, вся пакость войны, гражданской свары, эмиграции и спекуляции,—все засуетилось вокруг семейства Эно и снимало обильную жатву. С благословения, если не с прямого участия консула, потеснились картежные дома—очаги вымогательства и шантажа. Ко всему этому присоединилось бесцеремонное дебоширование немногочисленных матросских команд с французских кораблей, которые сходили на берег Одессы для того, чтобы после тягот закончившейся войны испытать сладость разгула и дешевых наслаждений.

Французский колорит не нарушала добровольческая импровизация. Кто кому подражал—трудно установить. „Правительство“ Грешина-Алмазова действовало в русском стиле. Пьянство, грабежи, офицерские налеты (налет—типичное явление одесской жизни того времени, выражавшееся в вооруженном набеге группы лиц на магазины, лавки, жилые квартиры) развращали население и воспитывали всех в атмосфере беззакония и грубой силы. Градоначальство, варта (полиция сохранила украинское наименование) воспроизвели взяточничество в небывалых размерах. Добровольческие отряды разлагались и забывали о своем воинском назначении. Связь с добровольческим центром в Екатеринодаре была очень слабая. Административная подчиненность почти совсем отсутствовала. Политических и стратегических перспектив не было никаких. Одесса и прилегающий к ней район тяготения представлял собой самодовлеющий центр, не подчиненный украинской власти, бессильный создать отравленный пункт для иной общероссийской государственности, случайный оплот иностранного вмешательства, принявшего форму затхлого, провинциального самодурства. В этой спертной атмосфере начали разыгрываться трагикомические эпизоды.

К числу последних относится временный переход власти к украинцам. Достаточно было сгруппироваться кучке украинцев, чтобы выжить добровольцев, пришедших в стеньгу полного разложения. Если одесские добровольцы источником прав своих считали дени-

кипское командование, то местные украинские группы имели не меньше оснований считать себя в праве захватить власть именем украинской директории. По соображениям, отчасти высказанным выше, французы отнеслись к этому соревнованию двух претендентов пассивно. В декабре украинцы произвели „переворот“. Накопившись путем просачивания в Одессу маленьких боевых единиц из линии украинского расположения, они произвели внезапное выступление, быстро отгеснили добровольцев из центра города, захватили органы городского управления и превратили в один день Одессу в город, подчиненный директории. Добровольческие отряды все уместились на одном транспорте и стояли на якоре, на виду у Одессы, выжидая поворота событий. Поворот не замедлил наступить.

Город тем временем был разбит на две зоны: французская и украинская. Деление это носило совершенно анекдотический характер. Проволокой была обведена аристократическая часть города и проходы к морю. В пределах этой зоны действовал авторитет Антанты, за проволокой начиналось господство украинской „державы“. Население, переступая через заветную проволоку, попадало за грашину. Море было французским, а так как на море стоял на якоре добровольческий транспорт, то и добровольцы продолжали находиться под протекторатом „союзников“. Выяснив незначительность сил, произведших переворот, добровольцы решили восстановить свое утраченное положение и вернуть господство. Пользуясь иммунитетом, царившим по эту сторону проволоки, добровольцы высадились на берег и, подстрегаемые несколькими французскими офицерами, начали теснить украинцев. Два дня в городе происходила стрельба ружейная и пушечная. Украинцы отходили к вокзалу; последний был обстрелян добровольческой артиллерией и почти разрушен. Несколько десятков убитых и раненых осталось на поле битвы. Украинцы рассеялись, добровольцы утвердились, и Гришин-Алмазов послал Деникину торжественную телеграмму, в которой сообщал о взятии „доблестными войсками“ Одессы и провозглашал „ура!“ в честь великой России.

Вся эта история носила чисто-мексиканский характер. Участие в ней французов достаточно неопределенно. Энно действовал в одном стиле, командный и офицерский состав французских экипажей—в другом. Кто-то провоцировал украинцев, кто-то подогревал добровольцев. Доблесть последних сопровождалась позорящим понуканием французских инструкторов, которые, все еще под флагом невмешательства, с револьверами в руке, побуждали добровольческие отряды ударить в лоб противника.

Вскоре после этого консул Энно, слава которого достигла зенита, исчез. Исчезновение произошло столь же неожиданно, как и появление. Видимо, до слуха командующего союзными силами на Востоке Европы, генерала Франше д'Эвре, дошли слухи о зарвавшемся консуле Энно. Это совпало с определившимся планом союзников предпринять серьезные военные операции на юге России. Период импровизации должен был кончиться. Начиналась эпоха „великих подвигов“. В Одессе появился генерал д'Анселъм, в сопровождении начальника своего штаба полковника Фрейденберга (эльзасец). Оба эти лица отныне выступали в качестве представителей союзных сил. Копец их славы был не менее печальный, чем консула Энно...

С другой стороны, и организация русской власти приняла более реальные очертания. Гришин-Алмазов, связавший со своим именем

завоевание Одессы, назначен был ставкой Деникина командующим войсками юго-западного края. Главпоначальствующим юго-западного края поставлен был ген. Санников, приехавший в Одессу, чтобы авторитетом своим поддержать престиж добровольческой армии, сильно подорванный деятельностью Гришина-Алмазова. Однако добровольческая власть становилась средоточием всех старорежимных сил. На ответственных постах очень скоро очутились все бывшие царские чиновники; из темных углов вылезла полиция со всеми навыками, взглядами и повадками дореволюционного времени. Одесса увидела за столами, в кабинетах, в участках старых знакомых, продолжающих свою служебную карьеру. Волна антисемитизма захлестнула так называемое общество сверху до подонков. Стигия разнузданности и хамства не знала пределов. Одесса катилась по наклонной плоскости. А события шли своим чередом.

II. Активные действия.

Одесса начала принимать необычный вид... Ежедневно в порт прибывали иностранные корабли и выгружали людей, оружие, аммуницию, боевые и всякие иные припасы. Все более или менее значительные здания заняты были военными постоями и учреждениями. На дворах расставлялись грузовики, легкие и броневые машины, части летательных аппаратов. Мощная Европа не на шутку, видимо, взялась за военную экспедицию вглубь России. Впрочем, о планах Антанты никто не знал. Над всеми приготовлениями нависла непроницаемая тайна. Население и не пыталось проникнуть за ее завесы: и так очевидно были намерения, так потрясающе убедительны были средства. Правда, были „пессимисты“ и „скептики“, которые шопотом рассказывали о падении дисциплины среди французских солдат, о полном неподчинении начальству. Но настоящих французских солдат было мало. Главным образом, прибывали колоннальные войска; были цветные. По вечерам жители Одессы собирались у тех мест, где живописно расположенные туземцы, солдаты, наигрывая на необычном инструменте, каким-то странным, сдавленным голосом монотонно повторяли печальную мелодию. На всем лежала печать чудовищной нелепости. Так ясно было, что на морском берегу, на узком краешке России еще можно располагать лагерем вывезенных из Африки людей в цветных тюрбанах; но дальше их везти невозможно; дальше начинается безбрежная страна, занесенная снегом, с огромными равнинами, болотами, лесами, по которым ютится „партизанщина“. Так дико было представить себе всю эту массу выгруженных людей бродящими по России в сопровождении огромного обоза, который должен был бы снабжать буквально всем необходимым каждого из этих заморских „завоевателей“. Однако в начале экспедиционной кампании руководители и представители „союзной“ политики заявляли в беседах с сотрудниками печати, что цель Антанты—создать обеспеченный тыл для тех русских войск, которые начнут продвижение вперед навстречу советским войскам. Таким образом задача казалась скромнее. Но огромное количество прибывающих войск заставляло думать, что одним прикрытием тыла дело не ограничится. Особенное нетерпение и большую воинственность обнаруживали греческие войска, которые составляли подавляющее большинство союзных войск.

Грекам необходимо посвятить несколько самостоятельных строк. Им поход на Россию представлялся веселой военной прогулкой. Оьяненные победой своей мудрой политики и попав сразу в большие забияки, не пролив при этом в европейской войне ни капли крови, они рассчитывали легкими одесскими лаврами увенчать свое столь прославленное, а главное — „могущественное“ отечество. Призрак „великой Греции“ витал над греческими казармами. Каждый греческий солдат был преисполнен достоинства, напыщен, что не соответствовало его малому росту и невзрачной наружности, заносчив и груб в обращении с русскими. Этот маленький народ-выскочка, развращенный европейской политикой, в лице свей армии являл отталкивающий образец той специфической „великодержавности“, которую греки, распоясавшись, собирались дать почувствовать на Балканах. В Одессе они вели себя по-хозяйски. Во-первых, потому, что границы великой Греции вмещали также и Одессу (необходимые исторические ссылки в отечественной упаковке были привезены ими с собой), а во-вторых, довольно значительная греческая колония в Одессе встретила своих сородичей с помпой и великолепием и в застольных речах заверяла гостей, что только они призваны поставить упавшую Россию на ноги. Греки бряцали своими кривыми саблями, шелкали шпорами и, вспоминая ахейских предков, обещали вернуться изпохода со щитами.

Количественно они доминировали в коалиционной армии. Греки составляли свой отдельный корпус, но подчинялись французскому верховному командованию. Часть их была направлена в Николаев; другая осталась в Одессе. Экипировка была выдержана по последнему слову военной техники; почти все вооружены были автоматическими ружьями. В огромном количестве выгружались мулы и ослы. На них передвигался обоз, легкая артиллерия, пулеметы. Недоставало только верблюдов; впрочем, и появление двугорбых животных не поразило бы одесситов. Все, что происходило, достаточно действовало на воображение...

А между тем положение на Украине резко изменилось. Директория и созданный ею „трудовой конгресс“ оказались сооружениями, воздвигнутыми на зыбкой социально политической почве. Крестьянство, поднявшееся против гетманского режима, памятного восстановлением крупновладельческих привилегий, свергнув его, подчинилось своей социальной природе и разбрелось по деревням и селам. В городах быстро устанавливалась Советская власть. Директория с остатками войск и едва сколоченным министерским аппаратом докатилась до Прескурова, а Украина советизировалась. Атаман Григорьев, стоявший во главе „украинского партизанского отряда“, изменил директории, заявил себя приверженцем Советской власти и почти беспрятственно овладевал одним пунктом за другим. К марту месяцу его разъезды появились в окрестностях Николаева и вступили в соприкосновение с греческими войсками. Когда в одесском порту выгружались части бронированных легательных машин, греки в панике бежали из Николаева, не выдержав натиска недисциплинированной, неорганизованной партизанщины. Греческое командование впоследствии взваливало всю вину за этот неудачный исход „обороны Николаева“ на французское командование, оказавшееся будто бы не на высоте распорядительности. Печальная история, сильно поубавившая снесь греческих военачальников, так и осталась необследованной; материалов письменных и печатных не найти, и поражение под Нико-

лаевом, стоявшее между прочим грекам несколько сот убитых и раненых, приходится отнести за счет их преувеличенной доблести и воинской подготовки.

С добровольцами отношения не налаживались. Параллельное существование двух штабов нарушало единство действий. Инициатива и окончательные решения исходили от французов, которые, не без основания, не доверяли добровольческому командованию. У последнего дела тоже не клеились. Несмотря на мобилизацию одних возрастов за другими, военные кадры не увеличивались. Территория все сужалась, а население умирно уклонялось от явки на сборные пункты. Атмосфера недоверия заражала всех. Рабочие ждали прихода советских войск. Среди иностранных солдат распространялась агитационная литература на родных языках. Хозяйственная жизнь города и окрестностей испытывала давление спекуляции и нездорового ажиотажа. О поковнике Фрейденберге, начальнике штаба генерала д'Ансельма стоустая молва распространяла слухи, не менее пикантные, нежели о консуле Энно. Подозрительные сношения с представителями украинского правительства продолжались. С именем „украинского“ генерала Матвеева связывалась версия о пятимиллионной взятке, врученной Фрейденбергу. Впоследствии вся добровольческая печать открыто писала об этом. В качестве посредника между французским командованием и директорией подвизался украинский министр по еврейским делам Л. Я. Красный. При его содействии комитет сахарозаводчиков должен был получить аванс в размере 300 миллионов рублей. Кроме двух перечисленных лиц, в спектре французского влияния вращался еще один украинский дипломат—барон Б. Ф. Штейнгель, бывший украинским послом в Берлине. Он привозил и увозил секретные поручения. В то время часть парижской печати охотно печатала статьи о независимой Украине и во французских кругах прививалась мысль, что вмешательство Антанты следует ограничить освобождением одной только Украины. Само собой разумеется, что при таком уклоне французской политики трудно было рассчитывать на очень тесные отношения между ставкой Деникина и французским командованием на юге России.

Но по мере того, как сужалась полоса территории, на которой развевался флаг французской республики, уменьшались и планы интервенции. От России к Украине, от Украины к черноморскому побережью... События наворачивались слишком быстро. Вопрос, который волновал и занимал всех, был очень прост: что намерены предпринять эти высадившиеся десятки тысяч вооруженных до зубов людей? Станут ли они отстаивать Одессу? Хватит ли дерзости у партизанского отряда, чтобы посягнуть на мощь Европы? Хватит ли достоинства у французского командования, чтобы действовать по свободному усмотрению, а не под угрозой атамана Григорьева? Ни у кого не рождалось сомнений. Немного времени прошло, и все убедились в своей ошибке.

Продолжим нить нашего рассказа. 21 марта по новому стилю французское командование взялось энергично за оборону Одессы. Приказом ген. Фрайне д'Эсире назначается военным губернатором и командующим русскими войсками в зоне союзников—ген. Шварц. Командование русской добровольческой армией в одесском районе принимает ген. Тимановский. При командующем союзными силами на юге России образуется чрезвычайный совещательный орган, в состав которого

входят ген. Шварц, городской голова Брайкевич и представитель земства Бутенко. Все эти мероприятия явились следствием приезда самого ген. Франше д'Эспре в Одессу, который сделал ряд сенсационных заявлений, вроде того, что в Париже образовалось объединенное русское правительство во главе с кн. Львовым, с участием Сазонова, но без Керенского, и что только с этим правительством будет считаться Франция. Вопрос об обороне Одессы был решен в самом категорическом смысле. „Решение союзников,—говорил Франше д'Эспре,—создать на юге России прочный барьер против большевиков, барьер, за которым русская власть сможет сама, при всемерной поддержке союзников, начать дело создания организованного управления и расширения зоны своего влияния“. Дождавшись готовности союзников создать упомянутый барьер служит то, что по приказу Клемансо, полученному в ответ на посланную ген. Франше д'Эспре телеграмму, французские войска погружены на пароходы и ожидают в Одессу сегодня или завтра. Так поведал представителям печати балканский диктатор, верховный начальник союзных сил на востоке Европы. Авторитет Клемансо скреплял заверения старого генерала. И вновь прибывающие войска должны были рассеять любой скептицизм. Они не поколебали только самонадеянности атамана Григорьева...

С добровольческим командованием произошел полный разрыв. Гришин-Алмазов и Савилов вынуждены были покинуть Одессу и уехать к Деникину. Франше д'Эспре высказал открыто свое отрицательное отношение к добровольческой армии. По его мнению, „чисто-офицерские войска не могут считаться вполне достаточными для предстоящих государственных задач. Необходимо воссоздание русской армии в настоящем смысле слова“. Это „воссоздание“ не связывалось, однако, с верховным добровольческим командованием. Новая армия, о которой люди серьезно говорили за несколько дней до падения Одессы, должна была, по мысли ген. Шварца, называться „народной“ и основываться „на сближении с рабочими и в особенности с крестьянскими массами“. Шварц несомненно был выдвинут французами, как антидобровольческая кандидатура, не имевшая никаких шансов на успех у Деникина и вообще не признанная добровольческими кругами. Однако, ввиду очень резкой формы разрыва, производившего в отношении добровольческой власти впечатление переворота, имелось в виду отправить в ближайшие дни в Екатеринодар особую делегацию из представителей общественных и военных кругов для переговоров с Деникиным. Этой делегации предстояло доказать, что „стучившееся“ явилось результатом железной необходимости“. Под завуалированными словами ген. Шварца, желавшего смягчить однообразие своего назначения, надо понимать враждебное отношение к добровольцам со стороны французского командования. Любопытно отметить, что с именем Шварца связывалось предположение приступить к формированию украинских частей. Шварц официально не опроверг в то время этой версии, хотя частным образом газеты отрицали причастность Шварца к украинским кругам.

Казалось бы, положение выяснилось со всех сторон. Судьба Одессы, как „барьера“, предопределена; вопрос о военных силах принял определенное направление; роль союзников намечена достаточно недвусмысленно. Политические намерения Антанты в отношении России были высказаны ген. Франше д'Эспре в официальном письме на имя городского головы Брайкевича. Приводим этот документ полностью: „Согласно

демократических народов не имеет желания ни произвести раздел России, ни навязать ее населению ту или иную форму правления. Оно желает лишь поддержать местные правительства с целью дать им возможность восстановить порядок и затем приступить к свободным выборам в Учредительное Собрание на основе всеобщего голосования. Только такому собранию русского народа, собранному, свободно избранному, будет принадлежать право высказаться о судьбе страны и форме ее правления. Вы можете довести об этих намерениях Согласия до сведения ваших граждан с тем, чтобы положить конец разным слухам, распространяемым в вашем городе". В этом письме особенно важно подчеркнуть категорически выраженную готовность „поддержать местные правительства". Поддержка выражалась в десанте, насчитывавшем тогда до 70 тысяч солдат; а под „местным правительством" следовало понимать ту импровизацию русской власти, которая в качестве совещательного органа должна была функционировать при генерале д'Ансельме. Декларация Франше д'Эспре, все реформы, проведенные им в порядке осадного положения, „ясность", которую он внес в одесскую жизнь,—все это от начала до конца было не серьезно. Население как-то стихийно чувствовало эту несерьезность. Но тысячи огней в порту... Бесконечные веревницы кораблей... Звон оружия и огромные жерла пушек... Только поэтому несерьезность производила жуткое впечатление.

Характеристика мероприятий, вызванных пребыванием Франше д'Эспре в Одессе, исчерпывается образованием „комитета обороны и продовольствия". Орган этот возник тоже „приказом союзного командования". Председателем комитета предполагался генерал, командующий союзными войсками, или его заместитель. Члены совета, кроме адмирала, командующего союзными силами, персонально были указаны: ген. Шварц, гражданский помощник председателя Андро де Ланжерон, финансовый советник Молотков, советник по вопросам продовольствия и труда Рутенберг, советник по делам морского транспорта адм. Хоменко, городской голова Брайкевич по делам, касающимся города. Комитет обороны мог приглашать с правом совещательного голоса технических помощников, с которыми найдет нужным совещаться. Комитет представлял собой что-то вроде правительственного аппарата, а совет трех при генерале д'Ансельме—разновидность директории. Надо сказать, что идея директории была тогда весьма модной в общественно-политических кружках, неудовлетворенных направлением деятельности добровольческого командования. По образцу уфимской директории, считалось национальным созданием директориальной власти и на юге России. Французы находились, повидимому, в связи с этими общественно-политическими кружками, и план создания власти в Одессе, вероятно всего, прошел не без влияния последних.

III. Начало конца. Бегство.

Украина между тем утопала в море еврейской крови. Войска директории на пути своего отступления оставляли следы небывалых погромов. Представителям держав Согласия, находящимся в Одессе, был представлен еврейским национальным центром меморандум о погромах на Украине, предназначенный для отправки мирной конференции в Париже. Погромы произошли в Белой Церкви, Елисавет-

граде и его окрестностях, Бердичеве, Проскурове, Житомире, местечке Фильштиг под Проскуровым, Овруче, Олесевке, Летичеве, Балте, Ново-московске, в еврейских земледельческих колониях, Чернигове, Голте, Ольвиополе, Богополе, Гайсине, Аваньево, Бирзуле, Выгоде, Фастове, Бобринской, Бахмаче, Казатине, Знаменке, Вапнярке, Чернобыле, Коростове, Черняхове, Лепкове, Копотопе, Домбровицах, Кутузове, Сарнах, Новомиргороде, Златополе и Новоукраинке. Резня носила систематический характер и сопровождалась такой жестокостью, которая превосходила лютые времена гайдамачины. В некоторых местах все мужчины были сожжены, в других—все население, включая детское, истреблялось поголовно. „Благородные представители культуры и свободы“ (так в меморандуме именовались представители держав Согласия) не предприняли никаких шагов, чтоб отвратить ужас, нависший над еврейством Украины. Одни принимали меморандум, другие в то же время встречали помощника командующего южной группы украинских войск, полк. В. Змиенко, который в сопровождении группы французских офицеров прибыл в Одессу для переговоров с французским командованием.

Все внимание было устремлено на оборону Одессы. Военные авторитеты ежедневно заверяли, что положение весьма устойчивое и, несмотря на то, что линия фронта проходит у ст. Сербка (сто с лишним верст), городу опасность не угрожает. „Может быть, Одессе придется еще пережить несколько тяжелых моментов, но вскоре наступит время, когда она станет не только неуязвимой, но и страшной“... Такими словами начальник штаба французского командования, полковник Фрейденберг, осведомлял печать и население. „Воля союзников—Одессы не сдавать, и она не будет сдана“,—таково было официальное заявление 25 (13) марта. Приготовления соответствовали словам. Прибыли французские туркосы и альярские стрелки. Должны были прибыть сенегалцы и марокканцы. Подоспели специальные греческие части, представляющие, по заявлению „военного авторитета“, особенно выносливую живую силу, привыкшую к операциям даже в горных областях. В представлении не только обывателя, но и французских стратегов станция Колосовка принимала очертания Вердева, а атаман Григорьев со своей конницей на деревенских лошадях выросстал в грозного противника, подготовляющего генеральное сражение.

Последние затруднения, которые испытывало население,—продовольственные, и они снимались благотельными „союзниками“: французское командование брало на себя заботу снабжения Одессы хлебом. Продовольствие предполагалось направлять из Константины, Салоник, Константинополя. Из расчета на миллион едоков должно было быть обеспечено продовольствие на полгода. „Одесса без хлеба оставлена не будет. Можете успокоить население“... Это заявление французского командования представителям печати было сделано 26 марта. Аналогичное объявление было расклеено по всему городу.

Следующие дни конца марта не внесли особенных изменений: силы союзников росли. Прибыли греческие авиационные отряды, располагавшие испытанными французскими аппаратами. К фронту появились дальноточные орудия огромной разрушительной силы. Несомненное между обороной и наступлением красочно характеризуется следующей оперативной сводкой французов: „Противник пытался вести наступление с силами в количестве... 2 рот с 6 пулеметами. Противник был легко отброшен нашим огнем“... Что касается греческих воен-

чальников, то на сей раз они в лице командира корпуса греческих войск ген. Нидера принимали непосредственное участие в решении вопросов, связанных с обороной зоны и не могли впоследствии свои неудачи приписывать злой воле и дурной подготовке французского командования. Русские отряды участвовали в обороне Сербки и кроме того расположены были в районе Отакова. Под давлением махновских частей, выпавших из Николаева, Отаков решено было эвакуировать. Хотя по официальной версии оставление города прошло в порядке, но частные сведения, проникшие в печать, свидетельствуют о противоположной картине. Город был брошен, имущество оставлено на произвол судьбы. Зона сузилась еще более. В предвидении поражения под Сербкой укреплялась станция Раздельная. Пычотный клочок территории был насыщен вооруженными людьми. Казалось, скоро некуда будет отступать. Только море открывало заманчивый простор. Но безумцем сочли бы того, кто предсказал бы, что через несколько дней в морской дали скроется вся эта устрашающая громада.

Политическая атмосфера сгущалась. Происходили бессудные казни. „Совет трех“ бессилен был предпринять что-нибудь; печати закрывали рот; городская дума представляла картину полного разброда: фракции с.-р., с.-д., бунда и к.-д. грызли друг друга и не могли сговориться. По городу циркулировали слухи о предстоящем вооруженном выступлении большевиков. В связи с этими слухами появилось 27 марта объявление ген. Шварца, в котором указывалось, что „всякое выступление в силу осадного положения будет беспощадно подавлено, при чем оружие будет применяться без предварительных предупреждений“. Организация власти не пленяла своей новизной. Демократизма хватило не надолго. Спустя несколько дней после „крутого поворота“ вызван был из Екатеринодара ген. Пильц, бывший помощником по гражданской части Гришина-Алмазова, фигура сочная, недвусмысленно-реакционная. В этом досужие мудрецы видели начало сближения Екатеринодара с Одессой. Немногие понимали, какой будет принят курс внутренней политики. Но никто не понимал, какую роль во всей этой путанице играют французы.

Так протекала жизнь Одессы до 3 апреля. Утром этого дня совершенно неожиданно для населения появилось объявление французского командования об оставлении союзниками города. Еще накануне в порт прибыли свежие транспорты греческих и французских войск. Все, что предпринималось до последней минуты, противоречило вопиющим образом объявлению ген. д'Ансельма. Растерянное сознание каждого требовало объяснений. И такое объяснение было найдено. Из официальных источников была передана следующая версия: „во Франции кризис правительства; Клемансо вышел в отставку после того, как палата депутатов выразила ему недоверие в связи с вопросом об интервенции в России. Составлен новый кабинет. Французское командование получило радиотелеграфное предписание своего правительства немедленно оставить Одессу“. Как выяснилось впоследствии, такая радиотелеграмма действительно была получена. Кто автор ее, установить нет возможности. Вся эта история оказалась вымыслом. Французы воспользовались таким шатким поводом, чтобы прикрыть им свое бегство. Если бы не подоспело это ложное радио, был бы подыскан другой мотив. В противном случае мог разыграться насаженный неожиданный: вся армия в плену у атамана Григорьева. Европа не снесла бы такой пощечины...

И вот, длинной лентой, день и ночь без перерыва потянулись обратно в порт обозы, орудия, автомобили, пулеметы, люди, ослы, двуколки и экипажи. Нелепость всего этого предприятия стала до того очевидной, до того распространяемой, что даже дети находили слова для насмешек. Вчера Одесса — „барьер“, сегодня о барьере забыто. Сколько человеческих сил, материальных средств затрачено впустую, без плана, без решения! Серьезные люди, усачи-генералы, политики и дипломаты — все несколько месяцев занимались игрой в бирюльки, передвигая при этом десятки тысяч вооруженных людей, растрачивая человеческие жизни и богатства. Никогда государственная деятельность государственных людей не была так близка к скверно развигранному анекдоту. История колониальных экспедиций, насчитывающая не мало авантюристических попыток, не знает подобных прецедентов. Энно — конквистадор, д'Ансельм — завоеватель... Франше д'Эспре — диктатор Балкан на амплуа водевильного героя... В Черное море канула директория, на каком-то транспорте уплыл „комитет обороны и продовольствия“; грозные „ахейцы“ поплелись восвояси к берегам великой Греции; „под занавес“ приехал ген. Пильц; „миллион едоков“ остались в Одессе и долгое время потом питались гороховым хлебом, приготовленным из того гороха, который был припасен для греческих ослов и остался, ввиду спешности эвакуации, невывезенным из Одессы. Так этот хлеб и был назван „осливым“. В последнюю минуту последний посол украинского правительства А. Д. Марголин выехал из Одессы за границу, в различные центры Европы для прокламирования идей украинской директории. Три дня продолжалось бегство, на языке официальном — эвакуация. Великие державы уходили не без согласия атамана Григорьева, выразившего готовность „подоймать“, пока последний из иностранцев не сядет на корабль.

Картина отъезда внушала отвращение. Французские офицеры за высокие деньги продавали свои места на пароходах русским эмигрантам. Торг шел самый беззастенчивый. Матросы, солдаты забыли о воинском звании и за плату превратились в носильщиков багажа. В последнюю ночь пьяные ватаги французов бродили по улицам города, стреляли в воздух, бесчинствовали и пугали прохожих. Дисциплина, видимо, совершенно пала. Ускоренный темп эвакуации, несомненно, объяснялся боязнью командования совсем потерять свой авторитет. Понятно, что разнузданная армия мало заботилась о сохранении казенного имущества. Порт был загроможден брошенными автомобилями, зарядными ящиками, частями машин. На земле валялись куски шелковой материи, бутылки шампанского, груды консервов и прочего добра. В таком „трофейном“ виде порт перешел в руки партизанов Григорьева...

Утром 6 апреля, когда последние суда отчаливали от берега Одессы, в город вступали передовые части григорьевцев. Паселение высыпало на улицы, чтобы увидеть воочию море солдатских голов, лес штыков и т. д. Но каково было всеобщее изумление, когда подопредными незначительными частями конницы и пехоты истерпана была вся армия „победителей“. Она не превышала трех тысяч человек всех видов оружия. Одеты не по сезону (уже было по-весеннему тепло), в папахах и рваных зипунах, на неубранных низкорослых лошадях, партизаны поражали своей ничтожной численностью и несоответствием тому внешнему великолению, которым ослепляла исчезнувшая только что франко-греческая кампания. История задалась

целью дать населению показательный урок. От великого до смешного — один только шаг... Эта мысль в доступной, популярной форме преподнесена была человеческому сознанию.

Эпилогом ко всей этой трагикомической истории может служить опубликованный вскоре „манифест“ атамана Григорьева „В битве под Колосовкой было выбито кресло из-под Клемансо“... Этими словами начиналась прокламация, словно написанная на поле битвы народов. После Ватерлоо и Аустерлица Колосовка звучит для французского уха так же дико, как после экспедиции Наполеона в Египет глупая и бездарная интервенция в Одессе.

Полубандит, полупогромщик Григорьев и сам не подозревал, как много желчной провнии по адресу современных французов содержала его прокламация...

Вл. Канторович.

Вл. Г. Короленко в последние годы жизни.

Воспоминания.

Сейчас, когда так свежа боль от тяжелой утраты, трудно вызывать в памяти образ Владимира Галактионовича в его молодые годы. Поэтому я ограничусь несколькими воспоминаниями о последних годах его жизни, когда мне пришлось жить в Полтаве и часто видеть Влад. Гал-ча.

Перед тем я целых пять лет не видела Вл. Гал-ча — самый долгий промежуток за сорок лет, которые я его знала, и видевшие его говорили мне, что он страшно изменился, сильно постарел, стал совсем седым.

Помню то раннее сентябрьское утро 1918 года, когда мы — моя семья и А. В. Пешехонов, присоединившийся к нам в Киеве, — ехали по незнакомым пустынным полтавским улицам. Сердце как-то сжималось при мысли, что вдруг действительно старость уже наложила свою печать на Вл. Гал-ча, напоминая о приближающемся конце.

Но как только мы вошли на галлерею одноэтажного дома на М. Садовой, опасение это разом рассеялось. Перед нами был тот же полный жизни человек, с теми же густыми, немного больше поседевшими волнистыми волосами, с теми же светящимися глубоким мягким светом глазами, с той же спокойной бодростью движений с тем же живым интересом ко всему и заботливостью об окружающих.

В семье Вл. Гал-ча радужные и внимательная забота о тех, кого судьба закидывает в их гостеприимный дом, обилие всем. Но и тут Вл. Гал. умел найти, в чем проявить особую заботливость, правда, на этот раз связанную с его увлечением того времени.

У Вл. Гал-ча всегда бывали какие-нибудь очередные увлечения. То он увлекался велосипедом и не хотел верить, что злоупотребление им может быть вредно для сердца, то коньками, то чисткой снега, то романами Вальтера Скотта, то шикетом или пасьянсами. На этот раз это было сапожничество. Со времени ссылки, когда Вл. Гал. занимался шитьем сапог, как ремеслом для заработка, он почти не возвращался к этой работе. Но с тех пор, как вопрос об обуви стал вызывать затруднения, особенно в такой большой семье, как у Вл. Гал-ча, он решил снова взяться за дратву. И, по своему обыкновению, сейчас же увлекся новой работой.

Не успели мы разобраться в приготовленной для нас маленькой квартирке во дворе того же дома д-ра Будаговского, как пришел

Вл. Гал. и начал осматривать нашу обувь, отбирая те пары, какие требовали немедленного ремонта. Потом нам пришлось прибегать к некоторым хитростям, чтобы отвлечь Вл. Гал. от этого намерения, и все таки небольшую починку он сделал. Себе и членам своей семьи Вл. Гал. до последнего года сам чинил всю обувь. Ясно представляется его фигура, согнувшаяся на низком деревянном кресле в его кабинете перед письменным столом, где в отдельном ящике были сложены сапожные инструменты и материалы. Часто, не слыша зова к завтраку или к обеду, он с увлечением заколачивал гвозди в подметку или подкидывал заплатку на сапог.

С большим удовольствием Вл. Гал. также пилил и колол дрова, топил печи, разгребал снег и всегда уверял, что физическая работа не только полезна, но и прямо необходима для его здоровья. Попытки докторов несколько ограничить его в этом отношении всегда наталкивались на энергическое сопротивление с его стороны. Даже в последний год, когда он уже сам замечал, что всякое напряжение вредно отзывается на его состоянии, надо было постоянное заботливое наблюдение близких, чтобы не допускать его до опасных для него физических усилий, настолько его бодрый, полный жизненной энергии организм не мог победить в себе потребности и привычки к физическому труду.

Зимой 1918—19 года здоровье Вл. Гал. было относительно недурно, поэтому он мог, не возбуждая особых протестов со стороны близких, и чинить сапоги и разгребать снег. Делал он это в промежутки между литературной работой, которой он занимался также в ранние утренние часы, когда все в доме еще спали.

А по вечерам, когда все собирались за чайным столом, Вл. Гал. часто читал или понравившийся ему рассказ, из присланных ему на просмотр, или заинтересовавшую его статью, или отрывок из „Истории моего современника“. Когда предстояло чтение «Современника», приходило обыкновенно еще несколько более близких знакомых. Читал он очень хорошо, просто, отчетливо, еще усиливая голосом мягкий задушевный колорит своих очерков. Слушать его доставляло большое наслаждение. Когда, после его чтения, слышишь, как его вещи читают даже хорошие чтецы, в оттенках, в интонациях всегда чувствуется что то искусственное, нарочитое. Иногда, когда Вл. Гал. чувствовал себя утомленным, он принимался вечером за раскладывание пасьянсов. Даже и в это однообразное занятие Вл. Гал. умел вносить жизнь и увлечение. Он изобретал теории, предлагал состязания — у кого тот же пасьянс выйдет больше раз — и огорчался, если проигрывал.

По еще приятнее было, когда наведенный вопросом кого-нибудь из присутствовавших, Вл. Гал. забывал о пасьянсе и начинал рассказывать что-нибудь из своей жизни. Рассказчик он был удивительный. Глядя в его загоравшиеся внутренним светом глаза, слушая его мягкий, то глубокий, то звонкий, голос, воображение невольно переносилось в далекий Березовский починок или на веселую речку Нижегородской губернии, вставали живые, художественно намеченные образы, воскресали сцены энергичной общественной борьбы 1891-го года в Нижнем или 1905-го года в Полтаве.

Всего труднее было побудить Вл. Гал. рассказывать о тех эпизодах, в которых он сам играл выдающуюся роль. Мне очень хотелось узнать от самого Вл. Гал. подробности о его роли в предотвращении погрома в 1905 году в Полтаве. Я слышала об этом от тех, кто сам

не присутствовал на площади в то время, когда Вл. Гал. силой своего личного влияния удерживал толпу на границе озверения. Рассказывая об этом по своему обыкновению очень объективно, Вл. Гал. все же главным образом отмечал роль других, в особенности железнодорожных рабочих, явившихся сплоченной группой в тот момент, когда он чувствовал, что голос отказывается ему служить и скоро он уже не в силах будет больше подчинять себе этих одичавших людей, со всех сторон напавших на него. Но при всем том, в ярко начерченной картине разбушевавшихся стихии степной вражды, помимо воли Вл. Гал-ча в центре вставала спокойная фигура мужественного человека, никогда не искавшего, по никогда и не уклонявшегося от опасности и умевшего силой своего слова пробудить в людях человеческие чувства.

Эти вечера, когда Вл. Гал. читал или рассказывал что-нибудь, — лучшие воспоминания за три года Подтавской жизни. Двум квартирам Вл. Гал. осаждалась разного рода людьми, имевшими дело к нему. Начинающие писатели или поэты приносили ему свои произведения и спрашивали его мнения о них. И не бывало случая, чтоб он отказался принять и выслушать их. Иногда они просили его дать свой отзыв письменно, и он внимательно прочитывал все эти рукописи и давал обстоятельный отзыв, не скрывая правды, но умея облечь ее в мягкую, необидную форму. Когда среди этого потока приносимых и присланных рукописей попадалась талантливая вещь, Вл. Гал. испытывал большую радость. Помню, с каким удовольствием Вл. Гал. принес раз вечером рассказ Д. П. Якубовича, возбудивший его большой интерес.

Кроме авторов, к Вл. Гал. шли и всякого другого рода люди с самыми разнообразными делами и просьбами. Один просил совета в каком-нибудь или личном, или общественном, или юридическом деле, и Вл. Гал., если сам затруднялся в чем-нибудь, направлял к какому-нибудь специалисту в данной области, давая от себя письмо. Другому хотелось узнать мнение Вл. Гал. о каком-нибудь волнующем его вопросе. Были тут и приезжие или проезжие, которые, очутившись на время в Полтаве, не могли пропустить случая почитать Вл. Гал. Наряду с ними приходили люди и по гораздо более серьезным делам. Немецко-гетманская власть, соблюдавшая некоторые европейские формы в городах, по деревням обнаруживала себя, не стесняясь. Там хозяйничали люди, думавшие только о возмещении своих убытков, и в случаях столкновения с крестьянами налетали карательные экспедиции. Пострадавшие нередко присылали своих ходоков в Полтаву к Вл. Гал., прося у него заступничества. Вл. Гал. волновался, писал, старался выяснить, к каким результатам должна привести подобная политика. Но гетманская власть также мало была склонна принимать такие предупреждения, как и другие власти.

Все же в это время среди посторонних посетителей преобладали разного рода несчастные, выбитые современными событиями из нормальной колеи и искавшие у Вл. Гал. личной помощи. Перед ними дверь его никогда не закрывалась. У него было неоспоримое убеждение в своей обязанности помогать всякому нуждающемуся в помощи, убеждение, исходящее из присущего ему религиозного чувства ответственности за всякую человеческую жизнь. Если человек шел к нему, значит, на него и ложилась обязанность помочь. Малейшее сомнение в том, найдется ли на этот раз возможность помочь,

было ему тяжело. Правда, со стороны близких Вл. Гал. почти никогда и не встречал таких сомнений, точно тут был какой-то неисчерпаемый источник, а не скромная квартира человека, жившего исключительно своим трудом и никогда не имевшего излишков. В чем тут секрет я, право, не умею объяснить. Должно быть, в добром желании.

Точно так же мне трудно объяснить, каким образом эта самая небольшая квартира могла вместить столько людей, сколько в ней иногда жило. Порой казалось, что на этот раз уже все комнаты заняты, и больше уж ни для кого нет места. Но, придя через несколько дней, встречал кого-нибудь нового, и не гостя, а жильца.

Оказывалось, что это какой-нибудь приезжий, которому буквально негде остановиться, — не ночевать же ему на улице, — или вышедший из больницы и тоже не имеющий пристанища, вообще человек, попавший в какое-нибудь затруднение и естественно идущий к Короленко. И эта гуттаперчевая квартира как-то растягивалась и принимала нового пришельца.

Помню, в первую зиму, когда квартира была особенно густо заселена, кто-то сообщил, что в больнице находится один приезжий, попавший в Полтаву вследствие какого-то несчастного стечения обстоятельств. От тяжелого заболевания ему грозила полная утрата зрения. Надо было серьезно лечить глаза, а не было ни средств, ни близких, даже никого знакомого. Между тем, повидимому, в квартире на М. Садовой тоже не было ни одного свободного угла. Когда этот вопрос обсуждался, Вл. Гал. заявил, что у него в кабинете, где он спал, еще есть свободная кушетка, на которой можно временно пристроить постояльца. При этом Вл. Гал. замечал, что он не будет мешать тому спать, т. к., хотя он встает очень рано, но тихо и сейчас же садится за свой письменный стол работать.

Без сомнения, домашние отвергли такую комбинацию; кабинет Вл. Гал. всегда оставался неприкосновенным, но гуттаперчевая квартира как-то еще растянулась, и новый жилец, человек очень деликатный и не склонный злоупотреблять добротой, — временно поселился тут же, при чем его убедили, что он решительно никого не стеснит. И, — что всего удивительнее, — впечатление было такое, что и действительно это никого не стесняло. Так это всем казалось просто и естественно, что и новый гость сразу делался как бы новым членом семьи.

Первое время, когда и моя семья была почти в таком же положении, закинутая судьбой в Полтаву, мы хотя и не жили в квартире Вл. Гал-ча, но большую часть времени проводили там, тоже, конечно, мешая размеренному порядку жизни, мне казалось, что так невозможно жить, что нужно внести какие-нибудь реформы, как-нибудь упорядочить все это. Меня смущал этот людской поток, непрерывно проливающийся через дом Вл. Гал., иногда на время задерживавшийся там, но никогда не прекращавшийся. Мне думалось, что надо установить какие-нибудь приемные часы, какой-нибудь предварительный фильтр, или плотину, которая сдерживала бы этот поток и не весь пропускала в это привычное русло.

Но через некоторое время я пришла к убеждению, что это бы все испортило и ничего не исправило. Главная особенность отношения Вл. Гал. к людям, с которыми его сталкивала судьба, заключалась именно в непосредственной отзывчивости, в индивидуальном интересе и внимании к каждому отдельному человеку. А такое отношение не поддается никакому искусственному упорядочению. Вл.

Гал. ощущал отдельно, особенно каждого человека. Он чувствовал, что одному надо просто дать небольшую сумму, а другого надо пригреть; стакан чая, выпитый за семейным столом, будет для него больше значить, чем какое угодно пособие. Что тут упорядочить, когда люди и нужды их так разнообразны.

Внешним образом это, конечно, мешало иногда работе Вл. Гал., хотя домашние и старались охранять его покой в те часы, когда он сидел за письменным столом, но и это не всегда удавалось. Если дело было экстренное, то Вл. Гал. требовал, чтобы ему сообщали немедленно. Эти внешние помехи по существу гораздо меньше разрушали его настроение, чем если бы у него явилось сознание, что люди, которым он, быть может, необходим, уходят от его двери с тяжелым чувством.

Как бы то ни было, эти осенние месяцы 1918-го года были за эти три года самым спокойным временем для Вл. Гал. Именно тогда он бывал еще таким, каким я помню его в Нижнем Новгороде или в Петербурге. Потом уже редко удавалось улавливать на его лице ясное, жизнерадостное выражение.

В самой Полтаве в это время было довольно спокойно, хотя как раз для Вл. Гал. это спокойствие было весьма относительно. Незадолго перед тем зять его, К. Ив. Ляхович, был арестован и отправлен в немецкий лагерь и Вл. Гал. с дочерью Нат. Влад. пришлось ездить в Киев хлопотать о нем. Но хлопоты эти не привели ни к чему. Только в ноябре 1918 г., когда в Германии произошла революция, К. Ив. Ляхович мог вернуться домой.

Приезд К. Ив. внес очень много в жизнь семьи Короленко. К. Ив. был человек богато одаренный, с кипучим темпераментом борца, неистребимой жаждой общественной деятельности и открытым, жизнерадостным характером. По убеждениям он был последовательный социал-демократ (меньшевик). При всех режимах, какие были за эти три года в Полтаве, он был всегда в ярко выраженной оппозиции, но всегда умел найти себе общественную работу и всегда вокруг него кипела жизнь.

Поглощенный множеством дел, К. Ив. мало бывал дома; но когда он возвращался, часто в сопровождении кого-нибудь из товарищей, казалось, что вместе с ним в дом врывается сама жизнь, с ее шумом, движением и борьбой.

Со свойственным ему бодрым юмором он рассказывал о событиях дня, о своих встречах и столкновениях, спрашивал мнения Вл. Гал. и часто тут между ними вспыхивали горячие споры, касавшиеся не столько оценки совершившегося, сколько методов борьбы с ним и перспектив ближайшего будущего. При искренней взаимной любви, носившей со стороны К. Ив-ча, оттенок глубокого преклонения перед личностью Вл. Гал-ча, споры эти никогда не носили резкого, раздражающего характера. Напротив, они вносили много оживления. К. Ив. всегда был в самом водовороте событий, всегда знал все, что происходит в городе и вокруг него, первый приносил сведения о назревающих событиях, о наступающем кризисе, хотя сам он ни в одном из них не принимал участия, так как они не имели ничего общего с его партией (меньшевиков).

Впрочем, и независимо от К. Ив., как только в городе поселялась тревога, она начинала усиленно стучать в двери дома на М. Садовой. И те, кто предпочитал укрыться от уходящей власти.

и те, кто имел основание опасаться приходящей, — все шли к Вл. Гал., уверенные, что найдут у него и совет и помощь, и всегда находили и то и другое.

В этом не было ни тени прекраснодушного безразличия. Много и многие вокруг возбуждало горячее негодование Вл. Гал., и он не переставал бороться с этим. Помню, с какой краской гнева в лице рассказывал Вл. Гал. об одном чине петлюровской разведки, который заявил ему, ударяя по кобуре, что он собственноручно, этим самым револьвером, уложил, помнится, тридцать, если не больше, человек и каждому прикалывал на грудь свою визитную карточку. Так он считал себя вправе мстить за злодейство, жертвой которого погибли его близкие.

Это стремление рассчитаться, отомстить во что бы то ни стало, Вл. Гал. считал самым губительным в наши дни. Именно оно и порождает самые страшные жестокости и вовлекает нас в тот заколдованный круг, из которого нет больше выхода. Он понимал рожающее его чувство, но считал долгом человека бороться с ним.

Я не собираюсь здесь излагать политические взгляды Вл. Гал. и его теоретическое отношение к сменявшимся властям. Основы его идейных разногласий с советской властью известны из широко распространенных „писем к Луначарскому“. Моя цель только рассказать, хотя бы в общих чертах, как складывалась жизнь самого Вл. Гал. в эти тревожные годы.

Постепенно атмосфера вокруг Вл. Гал. начинала сгущаться, реже выпадали мирные вечера с чтением и рассказами, текущая жизнь мешала уходить в прошлое. А между тем, именно воспоминания были лучшим отдыхом от настоящего. Я писала в это время биографию Вл. Гал., и мне случалось иногда приходить к нему с просьбой помочь мне вспомнить тот или другой эпизод или разъяснить какое-нибудь недоумение. И когда мне удавалось отвлечь Вл. Гал. от текущих дел и забот и вызвать на рассказ о прошлом, лицо у него постепенно прояснялось, взгляд утрачивал напряженное выражение, голос звучал спокойнее. Но, конечно, это продолжалось недолго. Стоило притти кому-нибудь и рассказать про какую-нибудь очередную неприятность, и Вл. Гал. был уже весь тут, в сегодняшнем дне с его злобами и тревогами.

К тревогам других, которые никогда не были для Вл. Гал. чужими тревогами, присоединилась в это время и личная. В конце осени, еще во время гетманства, Евдокия Семеновна должна была поехать ненадолго в Крым. Но в наше время рассчитывать вперед очень трудно, и вернуться, когда она надеялась, оказалось невозможным. Вл. Гал. страшно тревожился, не получая долго известий, боялся, что Евд. Сем. поедет, несмотря на опасность, и в то же время нетерпеливо ждал ее каждый день, даже когда не было никаких шансов на ее приезд. Когда кому-нибудь из домашних удавалось уговорить Вл. Гал. прибегнуть для успокоения нервов к обычному лекарству — разложить пашьяне, он неизменно загадывал — приедет ли сегодня Евд. Сем. Если пашьяне не выходил, он загадывал то же на завтра и ни за что не соглашался отодвигать срок дольше, чем на неделю. А Евд. Сем. смогла вернуться только весной, на Пасху.

Весна начиналась тревожная. Везде шли военные действия. Полтава была отрезана от всяких правильных сношений, питалась слухами, только усиливавшими тревогу. В городе участились гра-

бежи, разбой и смертные казни. Незадолго до прихода добровольцев на квартиру Вл. Гал. тоже был произведен налет.

Перед эвакуацией дочь Вл. Гал.-ча С. Вл., служившая в социальном обеспечении, получила оттуда 2 миллиона, предназначавшиеся для приютов „Лиги спасения детей“. Повидимому, слух об этом распространился в городе. В тот же самый день, вечером, в квартиру Вл. Гал. постучали с улицы и, когда дверь открыли, в нее вошло два человека с револьверами у пояса. Один из них подошел прямо к Вл. Гал., вышедшему на стук, и сказал ему: „Мы денкинские агенты. Нам известно, что у вас в доме 2 миллиона, отдайте их нам“. — Другой в это время крикнул стоявшей тут же дочери Вл. Гал., Нат. Влад., чтобы она не трогалась с места. Она, обратив на это внимания, пошла в комнаты, чтобы предупредить домашних, а он побежал за ней с револьвером и выстрелил в нее, но, к счастью, промахнулся. Вл. Гал., оттолкнув говорившего с ним бандита, бросился следом за другим, погнав его в ту минуту, когда он собирался вторично выстрелить в Нат. Вл., и успел схватить его за руку.

Между ними завязалась борьба, в которой приняли участие и Нат. Вл. и Евд. Сем., прибежавшая на шум. Во время борьбы револьвер, который бандит старался направить на Вл. Гал., выстрелил, но, по счастью, никого не ранил. Не ожидавшие такого сопротивления бандиты, видимо, побоялись, что на шум сбегутся соседи и бросились бежать, при чем один из них не успел даже вытащить из кобуры свой револьвер.

Все это произошло так быстро, что, когда сбегались остальные домашние, грабители уже скрылись. Вл. Гал. рассказывал потом, что в минуту борьбы он чувствовал такое бешенство, что, если бы ему удалось овладеть револьвером, он, не колеблясь, выстрелил бы в грабителя. Когда тот вырвался из его рук, он бросился к себе в кабинет, где у него был небольшой револьвер, схватил его и побежал следом за грабителями. Домашним пришлось силой не пускать его на улицу.

Потом, конечно, он был даже рад, что его остановили, но в ту минуту он хотел во что бы то ни стало захватить дерзких налетчиков.

Особенно глубоко возмущал В. Г. усилившийся последнее время террор, принимавший уже характер системы.

Между тем события быстро развивались, и 28-го июля нов. ст. (день рождения В. Г., когда должен был состояться вечер в честь него) большевики выступили из Полтавы.

Помню этот тревожный день: непрерывные цепи обозов на улицах, доносящиеся откуда-то звуки стрельбы, испуганные лица жителей, прячущихся по домам, слухи, что на вокзалах идет бой.

Утром я была у Короленко, видела Вл. Гал., расстроенного, взволнованного толками о новых арестах, о возможных расстрелах, с усилившейся одишкой и сердцебиением. Потом мне пришлось уйти по разным делам. Только что я вернулась домой, как мимо нас на извозчике проехал Вл. Гал. с Нат. Вл. Я выбежала на улицу и окликнула их.

Вид у Вл. Гал. был измученный и огорченный; оказалось, ему сообщили, что отступающие власти собираются взять с собой заложниками несколько десятков арестованных полтавцев, — и уже их повезли на вокзал. Родственники арестованных прибежали по обыкно-

вению к Вл. Гал., как к последнему прибежищу. Предпринять что-нибудь было очень трудно, почти невозможно. Неизвестно было даже, к кому обращаться, так как власти уже начали эвakuироваться.

Вл. Гал. решил сам поехать на вокзал и попытаться на месте что-нибудь сделать. На вокзале царил обычная, при снежной эвakuации, суматоха. Никто не мог дать точных указаний о судьбе арестованных, отсылали друг к другу... В конце концов, пришлось вернуться без уверенности в участии заложников. Это глубоко расстроило Вл. Гал.

В тот же день, поздно вечером, в город вступили добровольческие части. И опять в городе началась полоса грабежей, разгромов и бессудных убийств. Опять к В. Г. потянулись пострадавшие и их близкие с просьбами о защите. Только теперь вместо Ч. К. и исполкома В. Г-чу приходилось ходить в контрразведку и к военному губернатору. Первое его впечатление от этих посещений было очень тяжелое. Его глубоко возмущало преобладавшее надо всем желание мести, ослеплявшее большинство новых администраторов. Первые политические акты новой власти тоже не внушили ему доверия к ней. Как при всех режимах, он и тут был убежден, что только широкая самодеятельность и обеспечение гражданских свобод может упрочить режим. В частности, особенно важным он считал восстановление свободы печати.

Редакция начавшей выходить в Полтаве газеты „Полтавский День“ обратилась к В. Г. с просьбой дать туда какие-нибудь статьи.

В. Г. воспользовался случаем высказаться в печати по поводу того, что его больше всего волновало, и послал в „Полтавский День“ две статьи о текущих событиях. Во второй из них под заглавием „Ищут комиссара“ он изображал печальные картины травли людей, казавшихся подозрительными по большевизму. „Полт. День“ не напечатал этих статей.

Таким образом и на этот раз В. Г-чу не была дана возможность принять участие в общественной борьбе тем оружием, к которому он исключительно прибегал.

Помню, что В. Г. сильно огорчало это вынужденное безмолвие, особенно в такие моменты, когда он считал своим долгом предостерегать общество от культивирования вредных, даже опасных чувств.

Поневоле и тут ему приходилось ограничивать свою деятельность хлопотами за пострадавших.

Волнения, вызванные переменой власти, сильно отозвались на здоровье В. Г-ча. Ему необходим был отдых, а устроить его в Полтаве не было никакой возможности. Всякий разговор о текущих событиях, всякое новое нарушение права и справедливости глубоко волновали В. Г-ча особенно при невозможности открыто, в печати отозваться на него.

А всякая попытка оградить В. Г. от внешних событий, не допускать до него посторонних посетителей, только еще больше волновала его.

Наконец, доктора решили настоять на поездке В. Г-ча в санаторию д-ра Яковенко в Шишаках, близ ст. Ерьськи, в двух часах езды от Полтавы по жел. дороге.

В конце августа 19-го года Вл. Г. с Евд. Сем. поехали в Шишаки, с тем, чтобы пробыть там неделю шесть.

Поездку эту нельзя было назвать особенно удачной. Только

первое время прошло там спокойно. Потом вокруг Полтавы начались сильные волнения, отрезавшие ст. Ереськи от Полтавы.

Очень тревожило Вл. Гал-ча, конечно, отсутствие известий из Полтавы, о которой в Шишаках ходили разные страшные слухи.

За время отсутствия В. Г. Полтава действительно подверглась два раза (17 и 24 окт.) нападению банд, но квартира В. Г. и его домашние не пострадали. 11 дек. нов. ст. добровольческие части очистили Полтаву.

Вскоре после отъезда В. Г-ча уехали в Крым К. Пв. и Нат. Вл. Ляховичи с дочерью. Здоровье их обоих тоже требовало лечения и отдыха. Оставшиеся в Полтаве члены семьи В. Г.—его старшая дочь С. Вл., тетюшка Е. О. и племянница М. Н. Лошкарева и близкие им люди, конечно, тоже сильно тревожились о нем и Евд. Сем. Известия стали получаться только в последнее время. Как только железнодорожное сообщение было восстановлено, дочь В. Г., С. Вл., поехала за ними в Ереськи. Через день все они вернулись в Полтаву.

Когда я первый раз увидела В. Г. после его возвращения, к моей радости примешалась большая доля грусти и новой тревоги. Что-то еле уловимое, но все-таки заметное для близко его знавших людей, изменилось в нем. В его походке, раньше такой уверенной и бодрой, появилась как будто легкая задержка, чуть заметная замедленность. В речи тоже чувствовалось легкое затруднение, точно что-то немного мешало В. Г. говорить так легко и свободно, как всегда. Трудно передать, как больно и страшно было замечать эти первые, еще совсем слабые признаки того, что сильный организм В. Г. начинает подаваться под чрезмерными испытаниями, какие посылала ему жизнь. Прошел еще целый год, раньше чем эти явления стали заметны для людей, не знавших прежде В. Г., и мучительны для него самого. Но его близкие с этих пор с болью отмечали, что его физический организм уже не прежний. Правда, это ни в малейшей мере не отзывалось на его духовных силах и ничем не сказывалось на его умственной работе, но следить за едва заметным, но неуклонным ухудшением его физического состояния было очень тяжело.

Несомненно, именно теперь ему нужно было бы создать спокойную, не терзающую нервов обстановку и, быть может, окруженный неунынными заботами близких, занимаясь любимой работой, он мог бы еще несколько лет сохранять силы для этой работы и для тех, кому он был так бесконечно дорог.

Но жизнь не давала возможности создать такие условия, а устранившись от жизни, пока сохранялся хоть маленький остаток физических сил, В. Г. органически был не в состоянии.

Трудно себе представить человека более мягкого и деликатного в отношении не только с посторонними, но, что еще реже бывает, и со своими. Единственные случаи, когда мне приходилось видеть проявление некоторого раздражения с его стороны, это когда близкие, опасаясь вредного влияния волнений на В. Г., пытались не всех приходящих допускать до него. Он боялся, что при передаче может быть случайно упущено что-нибудь, чем бы он мог воспользоваться для помощи человеку. Между тем число посетителей не только не уменьшалось, а все росло, и дела, с которыми они приходили, становились, к несчастью, все более однообразны. Это были все просьбы о письмах к Раковскому, о письмах к Петровскому, об обращении в Ч. К., в исполком.

Весна и лето 20-го года были, пожалуй, самым тяжелым временем в этом отношении. В. Г. чувствовал себя неважно. Врачи запрещали ему всякие физические усилия, даже сколько-нибудь отдаленные прогулки и советовали больше сидеть спокойно на воздухе и, конечно, избегать всяких волнений.

В. Г. послушно сидел на своей террасе с книгой или пасьянсом, вместе с кем-нибудь из домашних. Но вот на дорожке сада от ворот показывалась какая-нибудь фигура, по большей части с взволнованным, иногда заплаканным лицом. Несомненно, это разыскивали В. Г.-ча. Попытки домашних отвлечь внимание В. Г. и прежде расспросить пришедшего, необходимо ли ему во что бы то ни стало говорить с самим В. Г., почти никогда не удавались. У В. Г. было какое-то особенное настороженное внимание в этом направлении. Чем бы он ни был занят, он сейчас же замечал человека, искавшего его, немедленно же он поднимался и приглашал посетителя в свой кабинет. Там у него была особая записная тетрадь, в которую он тщательно записывал обстоятельства каждого дела, не забывая напомнить рассказывающему, чтобы он сообщал только то, в чем совершенно уверен, только чистую правду, так как он может хлопотать, только когда он убежден, что даже невольно, даже ради защиты кого-нибудь, он не утверждает неправды. И настолько сильно было его влияние на людей, что я не слышала ни разу, чтобы кто-нибудь, по крайней мере, намеренно, ввел его в заблуждение. И сейчас же, выслушав рассказ, если дело было серьезное, В. Г. старался сделать все возможное. Он писал письма в Харьков, давал рекомендации, к кому его просили, чаще же всего сам отправлялся в те учреждения, от которых зависела участь человека.

Мучительно тяжелы были для В. Г. эти хождения и долго он не мог оправиться после них, но никогда, пока он в силах был двигаться, он не считал себя в праве уклоняться от них; все-таки это был шанс, пусть небольшой, спасти человека.

И когда человек, по большей части совершенно раньше неизвестный В. Г., обращался к нему со своей просьбой, он мог быть уверен, что с этого момента его дело станет личным делом В. Г. и он будет следить за ним с напряженным неослабным вниманием. Он не забудет дня, когда оно будет разбираться в суде, если оно шло через суд, сам напомнит о нем адвокату, не забудет и раз и два справиться в других инстанциях, часто склонных забывать о людях, числящихся за ними.

Если были у него за эти тяжелые годы радостные дни,—то это были дни, когда какие-нибудь из его хлопот увенчивались успехом.

Зато какой мрак, какая гнетущая атмосфера воцарялась во всем доме, когда туда приходило известие, что все хлопоты оказались напрасными. Помню затуманенный, отсутствующий взгляд В. Г., его частую одишку, невозможность отвлечь ничем его мысли от одного гнетущего впечатления.

Только если в это время приходил кто-нибудь новый, с новым, не терпящим отлагательства делом, В. Г. побеждал свою мрачную рассеянность. Опять появлялась записная книжка и опять туда внимательно заносились данные для новой мучительной эпопеи.

Конечно, не один В. Г. хлопотал в Полтаве по этим тяжелым делам. Здесь существует О-во Полит. Красного Креста, энергично действующее в том же направлении, и одним из наиболее деятель-

них его работников является близкий В. Г. человек, сестра Евл. Сем. — Пр. Сем. Ивановская, во многом облегчавшая эту работу В. Г., а в последние месяцы его жизни взявшая ее почти целиком на себя. Но часто случалось, что человек, обращавшийся к В. Г.-чу, был уверен, что только его личное участие, его личная просьба может спасти близких ему людей. Хотя сам В. Г. и не разделял этого убеждения, но у него не хватало духу отказывать людям в этой последней, пусть даже призрачной надежде, и он, не обращая внимания на тяжелую одышку и сердцебиение, шел, куда оказывалось необходимым, писал письма, посылал телеграммы.

Помню последний приезд А. В. Луначарского в Полтаву. Это было в начале июня 1920 г. В. Г. чувствовал себя в это время особенно плохо и врачи категорически запретили ему всякие волнения и предписали вообще не выходить из дому. Но как раз в эти дни состоялось 3 смертных приговора и хлопоты В. Г. о их отмене не привели к благоприятному результату.

Приезд Луначарского подавал новую надежду. Вмешательство народного комиссара могло остановить казнь. Но Луначарский должен был пробывать в Полтаве лишь несколько часов и уехать сразу после митинга, на котором он должен был выступать.

И вот, не обращая внимания на запрещение врачей, В. Г., борясь с одышкой, отправляется в городской театр на митинг, прослушивает речь Луначарского и после ее окончания говорит ему:

„Я прослушал всю вашу речь. Она проникнута уверенностью в силе. Но силе свойственна справедливость и великодушие, а не жестокость. Докажите же в этом случае, что вы действительно чувствуете себя сильными: пусть ваш приезд ознаменуется не актом жестокости, но актом милосердия“.

В это же тяжелое время в семье В. Г. тоже царил тревожное настроение. Ляховичи, уехавшие из Полтавы осенью 1919 г. ненадолго, в целях лечения, были отрезаны там совершившимся переворотом и лишены возможности не только вернуться, но даже дать о себе какую-нибудь весть. Это страшно волновало всю семью, тем более, что К. Ив., Нат. В. и дочь их Соня никогда не отличались крепким здоровьем, а тут кроме того не было известно, удалось ли им как-нибудь устроиться в материальном отношении, что по слухам было очень трудно в Крыму.

К этой постоянной тревоге в середине лета присоединилась еще острая. Заболела тяжелой дизентерией жившая у Вл. Г. другая внучка, дочь его покойной племянницы, прелестная двухгодовалая девочка, которую В. Г. нежно любил. Ее болезнь страшно волновала В. Г. Правда, при своем всегдашнем оптимизме он долго не хотел верить в серьезную опасность, но когда врачи принуждены были предупредить домашних, что нет никакой надежды, я помню, что В. Г. горько плакал.

Но усилия врачей, неусыпный, исключительный уход и жизне-способный организм ребенка сделали чудо, и она стала поправляться.

Помню, как накануне 15-го июля я пришла к Короленкам и на галлерее увидела В. Г., сидевшего с Маринкой на руках. Ребенок еще еле держал головку, худенький, бледный, и В. Г. нежно под-держивал его, старательно закутывая ножки одеяльцем.

Выздоровление внучки было лучшим подарком, который могла послать судьба ко дню его рождения.

На фоне тяжелых впечатлений, которыми так богато было лето 1920 г., этот день 15/28 июля выделяется светлой точкой.

В. Г. всегда был врагом всякого рода торжеств, особенно связанных с ним. Помню, сколько он всегда употреблял уловок, чтобы уклониться от празднования своего 50-ти-летия в 1903 и 60-ти-летия в 1913 годах. Он смотрел на это, как на самую тяжкую обузу, и начинал волноваться при первом намеке на какое-нибудь готовящееся чествование его. В 1903 г. в Петербурге удалось устроить юбилей его, буквально застигнув его врасплох, когда он, уверившись, что все опасные даты прошли, наконец, в ноябре месяце приехал туда по делам „Русского Богатства“.

Теперь, ввиду болезненного состояния В. Г-ча, все было заранее предупреждено, что В. Г. ни в каком случае не сможет принять участие ни в каком общественном чествовании. Вечер, устроенный в этот день в Городском театре, привлёк массу публики и прошёл с большим подъёмом, хотя было известно, что В. Г. не явится туда. Но особенно глубоко неизгладимое воспоминание оставило то, что происходило в этот день в доме самого В. Г. Полтава в этот день показала, что она умеет ценить такого человека, как В. Г., и сердцем отзываться на его отношения к людям, среди которых проходила его жизнь.

С утра до вечера в квартиру В. Г. непрерывным потоком шли люди, желавшие одного—просго, без приготовлений, без всякой искусственной формы выразить В. Г., как глубоко они его уважают и как горячо любят. Ни речей, ни адресов, ни торжественных приветствий тут не было. Большинство только с несколькими простыми, от души сказанными словами, или даже молча, пожимали руку В. Г., а когда его, растроганного и утомленного, уговаривали уйти на время к себе отдохнуть, передавали свой привет Евд. Сем. или дочери, прося не беспокоить В. Г-ча. Тут были представители всех профессиональных союзов Полтавы, всех обществ и учреждений, русские, евреи, украинцы, поляки, учащиея, дети, люди, не входящие ни в какие организации, пришедшие просто от себя выразить то, чем переполнено сердце.

Это было время, когда продовольственная нужда уже начала сильно чувствоваться в Полтаве. Большая семья В. Г. должна была при таких обстоятельствах испытывать большие лишения; запасов и излишков у них никогда не бывало, а литературный заработок В. Г., ввиду затруднений с бумагой и печатаньем, отсутствие частных издательств, газет и журналов, где бы он мог писать,—сводился почти к нулю.

Правда, власть, как только начались эти затруднения, предложила В. Г. самую широкую государственную помощь и прежде всего зачислила его с семьёй в списки академического пайка. Но В. Г. со свойственной ему всегда мягкой твердостью, поблагодарив за доброе желание, решительно отказался от всех форм правительственной помощи. Он написал в исполком, что никогда ни при каком режиме не считал для себя возможным пользоваться официальной помощью. Он не состоит ни на какой государственной службе и потому не считает себя вправе получать плату от правительства. Он независимый писатель и хочет сохранить до конца полную независимость от кого бы то ни было. Так оставалась и до конца жизнь В. Г. Имя его

продолжало стоять во главе списка на академический паек, но паек этот ни разу не брался.

В Полтаве это, конечно, было известно, но полтавские жители не могли допустить, чтобы человек, отдававший за них свои силы, борющийся за жизнь каждого из них, когда ему грозила беда, всю душу вкладывавший в эту борьбу, сам со своими близкими страдал от нужды.

И вот в день 15-го июля полтавцы пожелали так же от души помочь В. Г-чу. Странный вид представляла в этот день галлерея дома В. Г-ча. Там стояли мешки с мукой, с крупой, с солью, бачки с маслом, корзины с яйцами, бруски мыла и многое другое, необходимое для жизни. В разных учреждениях и производствах служащие и рабочие заранее выделяли, сколько кто мог и хотел из своего пайка, и собирали таким образом необходимые продукты, чтобы обеспечить семью В. Г-ча.

Никогда ни на каком юбилее никакие торжественные речи, адреса и подарки не производили на меня такого впечатления, как эти приношения, вызванные тревогой за жизнь любимого писателя. В этом было что-то такое простое, естественное, человеческое, так гармонизировавшее с истинно-человеческим отношением к другим самого В. Г-ча.

Когда я смотрела тогда, как люди со смущенным видом втаскивали на галлерею эти мешки и тор пливо, сказав кому-нибудь из домашних что это и от кого, спешили скорее уйти, часто не повидавав даже самого В. Г-ча, — мне казалось, как прав В. Г. в своей неослабевающей вере в человека. Истинно хорошее чувство люди всегда умеют ценить. Это было, конечно, проявление отношения не к писателю только, а к человеку. Едва ли писатель, хотя бы он обладал и более крупным талантом, пробудил бы в людях такую непосредственную заботу о себе. Так относятся люди к близким, родным.

Это сказывалось не только в желании устранить от человека материальную нужду, но и в самой форме, в какой это делалось, и в некоторых маленьких оттенках. Чувствовалось, что людям хочется не только отвлечь от грядущей беды, но и доставить хоть небольшое удовольствие, если не самому В. Г., то хоть маленьким членам его семьи. Рядом с мукой, крупой и салом тут были и баночки с вареньем, мармелад, яблоки.

Как ни боялся В. Г. всяких публичных проявлений, на этот раз и он был тронут простотой и безыскусственностью сказавшегося тут чувства, хотя его должно смущало, не лишали ли себя чего-нибудь делившегося с ним люди. Но он понимал, конечно, что отказ был бы незащищенной обидой.

Прошел праздничный день и опять потянулись мрачные будни с их все теми же тяжелыми впечатлениями. Здоровье В. Г. заметно ухудшалось, а между тем жизнь продолжала предъявлять ему все такие же непомерные требования. Теперь уже всем стало заметно, что речь В. Г. не течет так свободно, как раньше, что продолжительный разговор утомляет его, что походка его потеряла упругость и ноги как будто с усилием отделяются от пола.

И все-таки В. Г. не прекращал посещения все тех же учреждений, с которыми так неразрывно были связаны последние годы его жизни.

Сам больной и слабеющий, он не переставал упорно и настойчиво бороться за каждую человеческую жизнь.

К моему большому сожалению, моя память сохранила мало отдельных эпизодов, характерных для В. Г.

Надеюсь, что другие, встречавшиеся с ним за эти годы, окажутся счастливее меня в этом отношении и поделятся ими со всеми, кому дорога память В. Г., но, когда я восстанавливаю в памяти это время, характернее отдельных, быть может, ярких эпизодов, кажется мне его упорное напряженное однообразие. Когда просматриваешь дневники В. Г. за 18-й, 19-й и 20-й годы, в них поражает это же красноречивое однообразие. Это повесть непрерывного „хождения по мукам“. Менялись только названия учреждений — разведка, Ч. К., контр-разведка, опять Ч. К., — а по существу все та же борьба за жизнь против вражды и мести.

В ноябре 20 го года семья Вл. Гал. испытала большую радость. Вернулись из Крыма Ляховичи, не мало перенесшие там тяжелого, но все-таки здоровые и даже как будто окрепшие. Особенно поправилась внучка Вл. Гал., уехавшая слабым, болезненным ребенком и вернувшаяся, через полтора года, живой и бойкой шестилетней девочкой. Ее появление в доме было настоящим лучом света и жизни, разгонявшим угнетающую атмосферу и неизменно вызывавшим улыбку на лице Вл. Гал.

Он захотел сам начать учить читать девочку и некоторое время уроки продолжались к обоюдному удовольствию учителя и ученицы.

Приезд Ляховичей имел очень большое значение для Вл. Гал. Нечего говорить о радости свиданья с любимой внучкой, дочерью и зятем, но К. И. Ляхович сразу значительно облегчил работу Вл. Гал. Ему уже становилось трудно вести одному свою обширную корреспонденцию, разбираться в массе накопившихся рукописей, своих и чужих, делать заметки о текущих делах и принимать посетителей, беседы с которыми начинали сильно утомлять Вл. Гал.

Несмотря на большую потребность в живой, общественной деятельности, К. Ив. решил не брать на себя никакой специальной работы и посвятить большую часть времени исполнению секретарских обязанностей при Вл. Гал-че.

Работа кипела у него в руках. Он быстро вошел в курс всех дел Вл. Гал-ча, выучился писать на машинке и сделался буквально необходим для Вл. Гал-ча. При этом всякое дело он делал спокойно, без суеты и как-то особенно бодро и весело, поднимая настроение и самого Вл. Гал., и всех в доме.

Наряду с этим он, конечно, не устранялся от участия в общественной жизни, и его появление сразу почувствовалось не только в доме на М. Садовой, но и во всей Полтаве. Он был избран железнодорожными рабочими в Сов. Раб. Деп., и его выступления там всегда производили большое впечатление. И отзывы этой живой общественной работы слышались теперь и в доме Короленко, несколько разряжая сгустившуюся там атмосферу. В отсутствии К. Ив. к Вл. Гал., как к магниту, тянуло последнее время главным образом выбывших из строя, и невольно получалось впечатление, что вокруг только пострадавшие в общественной борьбе, а борцов нет. Теперь появились и деятели, а это всегда поднимает настроение.

Конечно, чтобы не утомлять Вл. Гал-ча, К. Ив. не затевал уже с ним, как 2 года тому назад, споров на принципиальные темы, но

КОПИ-ЦЕНТРАЛЬ
ВНБ

все же он рассказывал ему о текущих событиях полтавской общественной жизни и своими живыми и остроумными рассказами умел отвлекать Вл. Гал-ча от исключительного сосредоточения на тех тяжелых заботах, которые продолжали обступать Вл. Гал-ча.

Так шла зима 1920—21 г. К концу ее болезненные симптомы у Вл. Гал-ча настолько усилились, что лечащий его в течение 15 лет доктор Харечко не раз приглашал на консилиум врачей специалистов по внутренним и нервным болезням, а также ушным и глазным, чтобы всесторонне исследовать причины болезненного состояния Вл. Гал-ча. В это же время впервые приезжали на консилиум и лучшие харьковские доктора, тоже специалисты и по внутренним и по нервным болезням.

Диагноз, поставленный этими докторами, был очень тревожен. Они нашли у Вл. Гал-ча ярко выраженный склероз артерий и первые признаки начинающегося паралича мозговых нервов, заведующих двигательными нервами, в особенности нервами, управляющими плотательными движениями, движениями языка и ног. Но во всяком случае этот болезненный процесс был еще в начальной стадии и мог протянуться на более или менее продолжительное время.

Наступавшая весна готовила Вл. Гал-чу тяжелый удар, с последствиями которого уже не мог справиться его ослабленный организм.

В начале марта 1921 го года в ряде городов были произведены массовые аресты меньшевиков. В Полтаве самым видным меньшевиком был К. Ив. Ляхович. Можно было опасаться, что и он будет арестован. Сам по себе арест не смущал никого в семье Королевко. И сам Вл. Гал. в молодости, и К. Ив. при старом режиме и при гетманской власти не раз подвергались этой неприятности и никогда не смотрели на нее трагически. Но в данном случае были особые обстоятельства, совершенно менявшие дело. Во-первых, К. Ив. стал крайне необходим Вл. Гал-чу при его болезненном состоянии, во-вторых, именно во время своего заключения при царской власти К. Ив. получил ревматизм, вызвавший тяжелую форму сердечной болезни.

При нормальных условиях эта сердечная болезнь сказывалась лишь от времени до времени острыми припадками. Когда они проходили, К. Ив. чувствовал себя совершенно здоровым и мог работать без устали. Но доктора предупреждали его и родных, что при состоянии его сердца он совершенно не может вынести серьезной инфекции болезни, в особенности сыпного тифа. Между тем в Полтавской тюрьме именно в это время появилась эпидемия сыпного тифа.

17-го марта на квартиру В. Гал-ча явился посланный из чрезвычайной комиссии с письмом к К. Ив. Ему сообщалось, что он подлежит аресту. Но так как чрезвычайная комиссия не желает беспокоить Вл. Гал., производя арест в его квартире, то К. Ив. предлагается явиться самому в помещение чрезвычай. комиссии.

На это К. Ив. ответил письмом, в котором он благодарил за деликатность, но сообщал, что его арест будет очень тяжел для Вл. Гал., хотя бы и в такой форме, т. к. он ведет все его дела, и он отказывается сам являться.

Вл. Гал. с своей стороны написал, что для К. Ив. заключение в настоящее время крайне опасно, т. к. он рискует заразиться тифом, а при его сердце тиф для него смертелен, кроме того он по своим делам не может обойтись без К. Ив. По изложенным мотивам он

просил заменить для К. Из. заключение в тюрьме домашним арестом.

Через два часа из чрезвычай. ком. явились агенты с предписанием арестовать К. Из.

К величайшему несчастью, предвиденье Вл. Гал-ча оправдалось. Через 2 1/2 недели после ареста, К. Из. действительно заболел тифом и вскоре его разрешено было взять домой.

Несмотря на совершенно исключительное отношение полтавских докторов, установивших у постели К. Из. непрерывное дежурство и по 2 раза в день собиравшихся на консилиум; несмотря на все средства, какие были применены ими; несмотря на неуслынный любовный уход, болезнь не поддавалась. Пока шла борьба и страх сменялся надеждами, чтобы снова уступить место отчаянию, Вл. Гал. не хотел верить в возможность трагического исхода. Действительно, трудно было допустить, чтоб этот молодой, полный сил человек, ушел из жизни. Жила надежда, что вопреки всему он восторжествует над болезнью. Но сейчас же опять вставала мучительная тревога.

Накануне последнего дня наступило неожиданное улучшение. Это был теплый, почти летний день. Я пришла к Короленкам узнать последние вести. В саду, под голыми еще деревьями, у окон кабинета надвух вынесенных из дома стульях сидели Вл. Гал. и Евд. Сем. Не знаю почему, когда я увидела их двух, сидевших так одиноко на непривычном месте (на террасе часто совещались тогда доктора), у меня как-то сжалось сердце и, хотя Евд. Сем. сообщила мне довольно утешительные сведения, я ушла с самым тяжелым чувством.

На другой день К. Из-ча не стало.

Его похороны показали, какое значение он имел для Полтавы, несмотря на то, что после 1905-го года он провел в ней в сущности немного времени*). Таких похорон в ней до тех пор не бывало.

Трудно дать почувствовать, что значила смерть К. Из. для всей семьи Короленко. Вл. Гал-чу она нанесла последний удар, окончательно сломивший его силы. Болезнь его после того стала быстро прогрессировать. Речь он утратил почти совершенно, так что только близкие могли понимать его, с остальными же ему приходилось объясняться письменно, — слабость увеличивалась с каждой неделей.

Но и это, пожалуй, было не самое худшее. Тяжелее всего было глубокое изменение настроения. Присущий Вл. Гал-чу оптимизм, как будто, совершенно покинул его. Как будто на него спустилась какая-то тень мрака и окутала его всего. Взгляд, исполненный скорби, смотрел куда-то вдаль. Черты лица утратили прежнюю мягкость; в них появилась какая-то далекость, порой, как будто, даже суровость. Улыбка появлялась редко и в ней чувствовалась какая-то напряженность, так что от нее становилось еще большее.

Новый консилиум установил с полной определенностью тяжелую форму так называемого бульбарного паралича, не подававшую надежды на выздоровление.

Теперь уже нельзя было и думать о каких-либо физических усилиях, которые могли быть непосредственно опасны для жизни. Всякая напряженная работа, волнующие разговоры были категорически воспрещены.

*) Он эмигрировал юной, вернулся после революции, весной 1917-го г., летом 1918-го был арестован, вернулся в ноябре 1918-го г., в сентябре 1919-го уехал в Крым и вернулся в ноябре 1920-го г., чтобы погибнуть в апреле 1921-го г.

Но и после этого Вл. Гал. не утратился от той деятельности, которая наполняла за эти годы его жизни. Принимать лично всех, приходивших к нему, он уже, конечно, не был в состоянии, его крайне стесняла невозможность говорить. Большая часть тех людей, какие искали у него помощи, направлялась теперь к Пр. Сем. Иваницкой.

Но многие все-таки не могли отказаться от надежды, что именно Вл. Гал. и только он может спасти их близких. В таких случаях семья Вл. Гал. не считала себя в праве становиться между ним и тем, что было для него дороже жизни, — возможностью борьбы за чужую жизнь.

Помощницей Вл. Гал. во всех его делах стала теперь его старшая дочь, С. Вл., отказавшаяся тоже от большей части своей общественной работы. Она принимала посетителей, записывала их дела и сообщала о них Вл. Гал-чу. Хлопотать по ним лично он уже теперь не мог, но он писал письма и внимательно следил за исходом дел.

И малейшее подозрение, что, щадя его, от него скрывают что-нибудь, в чем бы он мог еще помочь, глубоко волновало его.

Между тем к хроническим причинам волнений Вл. Гал-ча в это последнее лето прибавилась еще новая. Доходившие до него сведения о голоде в Поволжье сильно тревожили его. Его мучило сознание, что он уже не может принять активного участия в борьбе с этим пародным бедствием, как в 1891 году. Тем не менее, когда он получил сообщение, что избран почетным председателем общественного комитета помощи голодающим в Москве, и просьбу оказать содействие его работе составлением воззвания к Западной Европе, он не считал себя в праве отказаться.

Эта работа сильно волновала Вл. Гал. Он начал писать воззвание, писал иногда даже по ночам, так что, под влиянием волнения и напряженных мыслей, направились бессонницы. В конце концов, он принужден был приостановить эту работу. Потом уже он не возвращался к ней.

Осенью мне пришлось на время уехать из Полтавы и, когда я через месяц вернулась, меня тяжело поразила перемена, происшедшая во Вл. Гал-че. Когда видишь кого-нибудь каждый день, изменения в нем не так заметны. Теперь уже Вл. Гал. с трудом ходил, часто придерживаясь за мебель, и не говорил даже с домашними.

Всегда у него была в кармане книжечка и карандаш, и он писал, что хотел сказать. До какой степени это ему было тяжело, понятно каждому.

Помню, когда я первый раз по приезде из Харькова, была у Вл. Гал-ча, он написал мне: „Видите, я теперь совсем перестал говорить, а скоро, пожалуй, и писать не смогу. У меня уже сильно изменился почерк“. Я постаралась успокоить Вл. Гал-ча, тем более, что в его почерке действительно, по-моему, не было заметной перемены. Разумеется, когда он писал торопливо, карандашом, иногда держа книжечку на весу, выходило не так разборчиво, как обыкновенно, но, когда он писал у себя за письменным столом, почерк у него был прежний, прекрасный и благородный.

За письменным столом В. Г. попрежнему проводил много времени и, вероятно, это были его лучшие часы. До самого последнего

времени он продолжал писать „Историю моего современника“, и эта работа действовала лучше всего на его настроение. В те дни, когда его состояние позволяло ему работать, он чувствовал себя спокойнее и лицо его было менее мрачно.

Помню свой последний, более продолжительный разговор с В. Г. Это было уже зимой, незадолго до самого последнего острого заболевания Вл. Гал-ча.

Я пришла во время завтрака, одного из наиболее трудных для Вл. Гал-ча моментов в течение дня. Глотание становилось для него все более затруднительным, часто пища попадала не в то горло, и каждый раз можно было опасаться, что В. Г. захлебнется. Несколько раз в такие моменты приходилось посылать за доктором. И все близкие переживали мучительную тревогу.

В этот день завтрак прошел благополучно и Вл. Гал. со своим обычным радушием непременно настаивал, чтобы я взяла чего-то приговоренного специально для него.

После завтрака В. Г. пошел немного прилечь в кабинет и разрешил мне посидеть около него—„развлечь меня“, как он написал в книжечке.

Я старалась рассказать В. Г. что-нибудь, не возбуждающее и не требующее ответов, он внимательно, как прежде, слушал, потом пришла Евд. Сем. и Вл. Гал. написал мне: „Прочтите нам, что я написал сегодня“. Я взяла со стола Вл. Гал. его рукопись и, правду сказать, у меня сильно забило сердце. Я боялась, что, если потерю В. Г. стал менее разборчивым, я не смогу сразу читать бегло, а это будет неприятно Вл. Гал-чу, т. к. он знал, что я легко читаю его почерк, и мои замечки наведут его на мысль, что его почерк действительно изменился.

По счастью, этого не оказалось, я могла читать свободно, и мне так приятно было чувствовать, что на литературной работе Вл. Гал-ча его болезнь совсем не сказывается. Но потом мне стало очень тяжело. Окончив чтение, я сказала Вл. Гал-чу:

— Как я рада, что вы пишите уже о возвращении из Амеи. Теперь скоро вы доедете до Нижнего-Новгорода, я с нетерпением жду, когда вы будете писать об этом времени.

Вл. Гал. взял книжечку и написал:

— Едва ли я до него доеду. Мне уже, вероятно, не придется писать о нем.

Я стала, конечно, возражать, но тяжелое предчувствие не проходило.

На каждый день Вл. Гал. в состоянии был писать „Современника“, и не только болезненное состояние мешало этому,—иногда какое-нибудь текущее событие так захватывало его, что он не в силах был уйти в прошлое. Он возмущался, собирался писать по этому поводу, обличивал, это лишило его сна и еще ухудшило самочувствие.

Особенно мучила его судьба детей, погибших от голода или по истребительным предосторожностям. Помню, как то раз, в последнее время, я пришла утром. Вл. Гал. чувствовал себя хуже, чем все предыдущие дни. На мой вопрос, не случилось ли чего-нибудь нового, Евд. Сем. сообщила мне, что накануне что-то писало В. Г. на мысль о положении несовершеннолетних заключенных. Ночью Вл. Гал. не мог спать, просматривал статьи по этому вопросу и намечал план того, что собирался написать сам.

С большим интересом и вниманием следил он за работой „Лиги Спасения Детей“, почетным председателем которой он состоял, и в которой главную работу несла его дочь С. Вл. и самый близкий семье Короленко человек, М. Л. Кривинская.

В последнее время к основной болезни Вл. Гал-ча не раз присоединялись острые заболевания. Еще в октябре он был болен катаральным воспалением легких, которое, к счастью, уступило лечению, но, повидимому, оставило какие-то следы в легком. Во всяком случае температура стала нормальной, В. Г. встал с постели и даже мог снова выходить в другие комнаты.

В конце ноября повидаться с Вл. Гал-чем приехал из Москвы близкий друг Вл. Гал-ча со времени студенчества, В. Н. Григорьев, и вместе с ним специалист по первым болезням доктор Хорошко, подтвердивший диагноз полтавских и харьковских врачей.

Приезд В. Н. Григорьева в эти тяжелые дни был большим утешением для всей семьи Короленко, в особенности для старших ее членов, знавших В. Н-ча с ранней молодости.

Для Вл. Гал-ча радость свидания была омрачена тем, что на другой же день по приезде В. Н. заболел воспалением легких и страшно встревожил всех. По счастью, болезнь приняла благоприятный оборот, и В. Н. смог встать, пролежав в постели около трех недель. В. Г. в это время был тоже не совсем здоров, так что д-р Харечко не позволял ему вставать с постели. Но около 10 декабря все простудные явления прошли, температура установилась нормальная. В. Г. начал опять выходить в другие комнаты и снова принялся за работу.

Казалось, что настало хоть маленькое облегчение, В. Н. был здоров и В. Г. чувствовал себя лучше, что всегда бывало, когда проходило острое заболевание, присоединявшееся к его основной болезни. Но недолго продолжалась эта передышка.

18-го декабря В. Г. опять почувствовал себя плохо, температура повысилась, и д-р Харечко констатировал возобновление процесса в легких. Сейчас же были приняты самые энергичные меры — банки, горчичники, горчичные ножные ванны, но прервать процесс не удалось. Температура держалась высокая, выше 38°. Общее состояние В. Г. было тяжелое. Вл. Гал-ча мучил почти непрерывный кашель, одышка, боли в груди. Но сознание было совершенно ясное. В. Г. продолжал интересоваться событиями и делами, обычно волновавшими его. Забота о других не покидала его даже в эти дни последней борьбы за жизнь, которую так любил В. Г. Он просил сообщать ему о делах, которые интересовали его, и даже тут старался еще приходить на помощь другим. В эти самые дни он подписал поручительство за одного сельского священника, находившегося в заключении в Полтаве, и просьбу об освобождении другого заключенного.

Болезнь между тем развивалась со страшной быстротой. Все лучшие медицинские силы Полтавы принимали участие в консультациях, происходивших по два раза в день. У постели В. Г. непрерывно дежурил один из врачей и сестра милосердия. Но никакие средства не помогали. Состояние его все ухудшалось. Сна не было, воздуха не хватало, сердце слабело, приходилось все время делать впрыскивания камфары и давать дышать кислородом.

Несмотря на то, что за последние полгода врачи не подавали уже надежды на выздоровление и предупреждали, что надо быть

все время готовым к внезапному и быстрому повороту к самому худшему, только теперь все ощутили вполне эту страшную возможность. До сих пор она все-таки казалась еще далекой, так страшно было о ней думать, что невольно отгонял от себя эти мысли. И потому, когда опасность оказалась такой неотвратимой, она поразила, как что-то невозможное, невероятное и неожиданное.

Страдания Вл. Гал-ча усиливались с каждым днем, почти с каждым часом, мучительный кашель, тяжелое удущье, высокая температура, боли, совершенно измучивали его, часто слабость лишала его возможности писать, и тогда он не в состоянии был даже выразить, что ему было нужно. Особенно тяжела была ночь с 23-го на 24-е, когда началось бредовое состояние. В. Г. непрерывно метался и пытался подняться с постели. День 24-го был тоже чрезвычайно тяжел. К вечеру наступило некоторое успокоение и ночь с 24-го на 25-е прошла относительно спокойно. Вл. Гал. даже спал несколько часов подряд, чего давно уже не было. Его близкие, конечно, тоже не спали все эти страшные ночи. В эту последнюю ночь все могли немного отдохнуть. Раннее утро 25-го декабря было самым спокойным моментом за все эти страшные дни. В. Г. проснулся отдохнувший, успокоенный, кашель не мучил его более, температура слала до 37°, даже дыхание стало как будто легче. Он мог выпить немного кофе и съесть несколько ложечек бульону с яйцом. Так как при этом несколько капель попало на рубашку, то доктор и сестра милосердия переодели Вл. Гал. Помню, что сестра милосердия случайно взяла из комода рубашку не Вл. Гал. Он сейчас же заметил и пожелал, чтобы ему непременно дали его рубашку, хотя Евд. Сем. уговаривала его не утомляться новым переодеванием, рубашка эта В. Н. Григорьева и все равно, если Вл. Гал. некоторое время полежит в ней. Но Вл. Гал. настаивал, чтобы рубашку переменили, и эта настойчивость как-то радовала всех окружающих. Рубашку переменили и Вл. Гал. лежал спокойно на высоко поднятых подушках с похудевшим, измученным, но таким ясным лицом, что не хотелось ни о чем спрашивать докторов. Так сильно хотелось верить, что настало улучшение и, может быть, непосредственная опасность миновала. В эти минуты возврат к тому состоянию, которое было до этого острого заболевания, казался уже выздоровлением. Таким счастьем представлялась возможность видеть В. Г. на ногах, за письменным столом, хотя бы и слабого, с записной книжкой и карандашом в руке.

Записная книжка и карандаш были и теперь в руках у Вл. Гал. и он переписывался с Евд. Сем. и дочерью, почти не отходившими от его постели.

Это были такие хорошие минуты, что трудно оторваться от них памятью. Из кабинета Вл. Гал. по всему дому распространилась как будто волна успокоения. Не доносились непрерывные звуки напряженного откашливания, такие тревожные и мучительные. Все было тихо, но это была светлая, почти радостная тишина. Во всех комнатах виднелись проявившиеся лица. Никто не спрашивал, прочно ли это, можно ли надеяться, что это действительно начало улучшения, так верилось в чудо.

Но недолго продолжалось это затишье. Часов в 11 температура вдруг начала быстро повышаться, дыхание стало затрудненным, появился опять мучительный кашель. По лицам собравшихся докторов уже без слов видно было, что опасность растет с каждой минутой.

Но, хотя температура поднялась выше 39°, Вл. Гал. на этот раз не бредил и сознание не покидало его.

Он еще написал в своей книжечке: „Прошу докторов и всех моих доброжелателей взять мои интересы в свои руки“. Потом он писал еще: „Я хочу встать с постели“.

Доктора продолжали энергично бороться, делали впрыскивания камфары и дигалена, горчичные ножные ванны, давали лекарства, но, видимо, надежда уже покинула их.

Потом оказалось, что уже с 11 ч. утра они установили начавшийся отек легких.

Как прошел этот день, трудно установить. Он тянулся бесконечно, а потом казалось, что он промелькнул, как одна минута.

В памяти осталась только непрерывно нараставшая тревога, ощущение надвигающегося, неотвратимого удара.

В 10½ часов вечера Владимира Галактионовича не стало.

Т. Богданович.

25 января 1922 г.

13161-

Издатель—Кооперативное Издательское Т-во „Былое“.

Редактор П. Е. Щеголев.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „БЫЛОЕ“.

ВЫШЛИ В СВЕТ НОВЫЕ ИЗДАНИЯ:

ДЕНАБРИСТ

М. И. Муравьев-Апостол.

Воспоминания и письма.

Предисловие и примечания С. Я. Штрайха.

Петроград—1922. 8°. Стр. 96.

Френсис Бэкон.

НОВАЯ АТЛАНТИДА.

Перевод, введение и примечания проф. С. Я. Лурье.

Москва—1922. 8°. Стр. 64.

Вл. Иохельсон и Р. Кантор

ГЕСЯ ГЕЛЬФМАН.

Материалы для биографии и характеристики.

Москва—1922. 8°. Стр. 48.

В. П. Семенников.

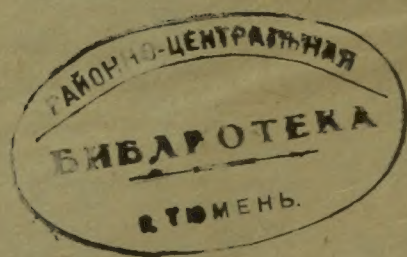
Новый текст „Путешествия из Петербурга в Москву“ Радищева.

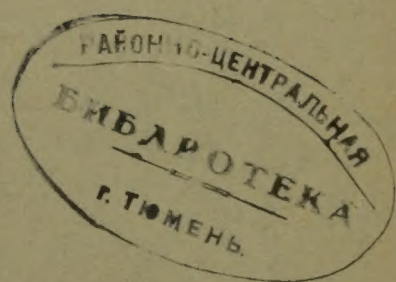
СОДЕРЖАНИЕ: 1. Пронесение рукописи и особенности ее текста.
2. Дополнения к печатному тексту „Путешествия из Петербурга в
Москву“. 3. Обзор рукописи (по главам).

Москва—1922. 8°. Стр. 48.

1973

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
С. ПЕТЕРБУРГА





ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТОВАРИЩЕСТВО
„БЫЛОЕ“

Исторический журнал.

Издание возобновлено с 1 июля 1917 г.

Подписка на журнал временно не принимается. Номера журнала поступают в розничную продажу во всех книжных магазинах.

Адрес редакции и издательства «БЫЛОЕ»:

Петербург, Литейный пр., 21. Телеф. 26-69.

Московское отделение—Петровка, 7.

Редакция и контора открыты ежедневно от 10 до 12 утра; редактор принимает по пятницам от 4 до 6 час. дня.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

кооперативного издательского товарищества
„БЫЛОЕ“

Петербург, Литейный пр., 46.

Склад журнала „БЫЛОЕ“ и всех изданий издательства „БЫЛОЕ“. Продажа и покупка старых и новых книг, художественных изданий, рукописей и т. п.

Издатель—Кооперативное Издательское Т-во «БЫЛОЕ».

Редактор—П. Е. Щеголев.